

SOCIOLOGY OF POWER

[Sociologiâ vlasti]

Vol. 35. № 1 (2023)

SOCIOLOGY OF CONFLICTS

**PUBLISHER: THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY
AND PUBLIC ADMINISTRATION**

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

Социология ВЛАСТИ

Издается с 1989 года
Выходит четыре раза в год

Том 35 № 1 2023

Редколлегия журнала:

К.соц.н. Смолькин А. А. (*и.о. главного редактора*), Напреенко И. В. (*научный редактор*), Степанцов П. М. (*научный редактор*), Кловайт Н. (*редактор англоязычных материалов*), Крощенко Е. В. (*администратор*)

Научный совет:

Анкерсмит Ф. Р. (Нидерланды)
Мау В. А. (РАНХиГС, Москва)
Михель Д. В. (СГТУ, Саратов)
Моррис Дж. (Орхусский университет, Дания)
Соколов М. М. (Европейский Университет, СПб)
Сперо Э. (Массачусетский технологический институт, США)
Столярова О. Е. (ИФ РАН, Москва)
Титков А. С. (РАНХиГС, Москва)
Утехин И. В. (Европейский Университет, СПб)
Филиппов А. Ф. (НИУ ВШЭ, Москва)
Фрумин И. Д. (НИУ ВШЭ, Москва)
Хиггс П. (Университетский Колледж Лондона, Великобритания)
Чалаков И. (Университет Пловдива, Болгария)
Шеховцов А. (Университет Вены, Австрия)

Дизайн Трушина Е. В.
Корректурa Кроль И. Е.
Верстка Меерсон А. В.

Адрес редакции:

119545, г. Москва, пр. Вернадского, 84, корпус 9, комн. 2503
<http://socofofpower.ranepa.ru>
soc.of.power@gmail.com
Отпечатано в типографии ИД «Дело»
Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС 77 — 47715 от 23.09.2011
Входит в Перечень ведущих рецензируемых научных изданий
ВАК России
Публикуемые материалы прошли процедуру рецензирования
и экспертного отбора

ISSN 2074-0492

Социология
ВЛАСТИ
Том 35
№ 1 (2023)

ABOUT THE JOURNAL

Sociology of Power [Sociologîa vlasti]

Vol. 35. #1, 2023

Russian Presidential Academy of National Economy and Public
Administration

Published since 1989

Quarterly edition

Editorial board:

Smol'kin A. A. (acting editor-in-chief), Napreenko I. V. (scientific editor),
Stepantsov P. M. (scientific editor), Klowait N. (editor of the English con-
tent), Kroshchenko E. V. (manager)

Academic board:

Ankersmit F. R. (Netherlands)
Higgs P. (University College London, UK)
Filippov A. F. (NRU — HSE, Moscow, Russia)
Frumin I. D. (NRU — HSE, Moscow, Russia)
Mau V. A. (RANEPA, Moscow, Russia)
Mikhel D. V. (SSTU, Saratov, Russia)
Morris J. (Aarhus University, Denmark)
Shekhovtsov A. (University of Vienna, Austria)
Sokolov M. M. (EU, St. Petersburg, Russia)
Spero E. (MIT, USA)
Stolyarova O. E. (Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia)
Tchalakov I. (University of Plovdiv, Bulgaria)
Titkov A. S. (RANEPA, Moscow, Russia)
Utekhin I. V. (EU, St. Petersburg, Russia)

Design Trushina E. V.

Proofreading Krol I. E.

Layout Meyerson A. V.

Editorial address:

119 545, Moscow, pr. Vernadskogo, 84
building 9, office 2503

<http://socofpower.ranepa.ru>

soc.of.power@gmail.com

Printed at “Delo” printing house

Содержание

Слово редактора-составителя

-
- 8 АРСЕНИЙ Д. КУМАНЬКОВ. Социология как теория конфликта

Статьи. Теория.

-
- 11 НИКОЛАЙ Н. ПРОЦЕНКО. Источники социальной власти, разновидности капитала и типы стратификации: эвристический потенциал многофакторного макроанализа социального конфликта
-
- 31 ОЛЬГА А. ГУЛЕВИЧ, ЕВГЕНИЙ Н. ОСИН. Психологические факторы отношения к войне: теоретический обзор
-
- 51 ЕВГЕНИЙ В. КАРЧАГИН. Археология городского конфликта: от Платона к Анри Лефевру
-
- 71 ДАРЬЯ Н. ЧАГАНОВА. Понятия насилия и мира в феминистской критике войны
-
- 93 АЛЕКСАНДР О. АРХИПОВ. К социальной философии геноцидов

Статьи. Исследования

-
- 118 АНДРЕЙ В. КОРОТАЕВ, АНДРЕЙ И. ЖДАНОВ. Количественный анализ экономических факторов революционной дестабилизации: результаты и перспективы
-
- 160 ВЛАДИМИР С. МАЛАХОВ, НИНА А. БАГДАСАРОВА, ГУЛЬНАРА К. ИБРАЕВА, САОДАТ К. ОЛИМОВА. Трансформации политического воображаемого в постсоветской Центральной Азии: случаи Кыргызстана и Таджикистана
-
- 190 ИРИНА А. СКАЛАБАН, ЮРИЙ С. ЛОБАНОВ, ЗОЯ Н. СЕРГЕЕВА, СВЕТЛАНА Ю. ВОЛЧЕНКО. «Уровень опасений зашкаливает!»: как изменения становятся триггерами городских конфликтов. Кейс г. Новосибирска
-
- 219 АЛЕКСАНДР А. НИКИФОРОВ. Особенности формирования гибридных рисков в российской публичной сфере

Рецензии

-
- 242 Федор В. Николаи. Деконструкция образа врага: по ту сторону «реалистического» и функционального подходов. Рецензия на книгу: «Враг номер один» в символической политике кинематографий СССР и США периода холодной войны / Под ред. О.В. Рябова. М.: Аспект Пресс, 2023

Table of Contents

Contributing Editor's Foreword

-
- 8 ARSENY D. KUMANKOV. Sociology as a Theory of Conflict

Articles. Theory

-
- 11 NIKOLAY N. PROTSENKO. Sources of Social Power, Varieties of Capital, and Types of Stratification: the Heuristic Potential of Multivariate Macroanalysis of Social Conflict
-
- 31 OLGA A. GULEVICH, EVGENY N. OSIN. Psychological Factors Underlying Attitudes toward War: A Theoretical Review
-
- 51 EVGENY V. KARCHAGIN. The Archaeology of Urban Conflict: From Plato to Henri Lefebvre
-
- 71 DARIA N. CHAGANOVA. The Concepts of Violence and Peace in Feminist Critiques of War
-
- 93 ALEXANDER O. ARKHIPOV. Towards a Social Philosophy of Genocide

Articles. Investigations

-
- 118 ANDREY V. KOROTAEV, ANDREW I. ZHDANOV. A Quantitative Analysis of Economic Factors of Revolutionary Destabilization: Results and Prospects
-
- 160 VLADIMIR S. MALAKHOV, NINA A. BAGDASAROVA, GULNARA K. IBRAEVA, SAODAT K. OLIMIVA. Transformations of the Political Imaginary in Post-Soviet Central Asia: The Cases of Kyrgyzstan and Tajikistan
-
- 190 IRINA A. SKALABAN, YURI S. LOBANOV, ZOYA N. SERGEEVA, SVETLANA Y. VOLCHENKO. 'The Level of Fears Is off the Scale!': Triggers of Urban Conflicts in the Context of Municipal Management (Novosibirsk Case Study)
-
- 219 ALEXANDER A. NIKIFOROV. Specificities of Hybrid Risk Formation in the Russian Public Sphere

Book Reviews

-
- 242 FEODOR V. NIKOLAI. Deconstruction of the Enemy Image: Beyond the “Realistic” and Functional Approaches. Book Review: “Enemy Number One” in Symbolic Politics of the USSR and the USA Cinema During the Cold War / Ed by O. Riabov. Moscow: Aspect Press, 2023

Социология как теория конфликта

doi: 10.22394/2074-0492-2023-1-8-10

8

Конфликт — неотъемлемая часть человеческого общества, присутствующая в различных формах и с разной интенсивностью на протяжении всей истории. Независимо от того, проявляется ли он в виде межличностных споров, столкновений поколе Beissinger ний или культур, крупномасштабных социальных волнений или войн, конфликт влияет на динамику обществ и формирует их траекторию. Специальная социологическая дисциплина — социология конфликтов — изучает общественные структуры, властные отношения и идеологии, которые способствуют возникновению, развитию и воспроизведению конфликтов. Исследуя социальные аспекты конфликта, социология конфликта стремится пролить свет на его истоки, динамику и потенциальные решения. Примеры такого рода исследований могут дать работы Льюиса Козера, Ральфа Дарендорфа или Карла Дойча (отметим, что сама попытка составления канона той или иной дисциплины обречена на порождение противоречий и ссор).

Однако в каком-то смысле социология всегда была социологией конфликтов, равно как и многие смежные социальные и гуманитарные дисциплины также были ориентированы на теоретическое или эмпирическое исследование конфликтов. Частные коллизии и общественное напряжение находились в фокусе внимания теоретиков государства и общества на том этапе, когда социологии как науки еще не существовало. Задачей протосоциологических теорий модерна (условно от Гоббса до Руссо) было обосновать зна-

¹ Арсений Дмитриевич Куманьков — кандидат философских наук, исследователь департамента Политики, Принстонский университет. Научные интересы: этика войны и мира, глобальная справедливость, история политической мысли. E-mail: adkumankov@gmail.com

Arseniy D. Kumankov — PhD in philosophy, research scholar, Politics Department, Princeton University. Research interests: ethics of war and peace, global justice, history of political theory. E-mail: adkumankov@gmail.com

чимость социального порядка и объяснить перспективы его устойчивости вопреки естественным или приобретенным склонностям к вражде и насилию. Вся классика социологической мысли от Маркса, Дюркгейма, Вебера и Зиммеля до Парсонса, Лумана и Бурдьё была занята анализом конкурирующих интересов, расхождений в ценностях, нехватки ресурсов, борьбы за власть и исправления несправедливости.

Современная социология работает с целым спектром социальных вызовов: классовые и гендерные отношения, общественные движения, война, терроризм, глобальные проблемы. Исходя из этого, мы предложили авторам осветить ряд вопросов. Почему мы враждуем и воюем? Насколько естественны и неизбежны массовые конфликты и насилие? Как можно ими управлять и можно ли избавиться от них? Как мы их осмысляем и как это осмысление формирует нас? Какие теоретические инструменты приложимы для исследования современных конфликтов?

Номер открывается статьей Николая Проценко, который, опираясь на анализ социального взаимодействия Майкла Манна, переосмысляет марксистское классовое видение конфликта. Принимая во внимание не только экономические источники неравенства, мы можем получить более сложное и точное описание как структуры социальных конфликтов, так и, в частности, современного капитализма. Поиску разрешения гражданского конфликта посвящен текст Евгения Карчагина. В его тексте показано, как идеал социального единства и целостности позволяет преодолеть «естественность» вражды. В исследовании эмансипирующей практики городской жизни Анри Лефевр, таким образом, оказывается продолжателем теории полиса Платона.

Теоретические обзоры Дарьи Чагановой и Александра Архипова представляют современные социальные и социально-философские концептуальные подходы к исследованию конфликта. Оба текста имеют методологическую ценность. Они проясняют ключевые концепты феминистской критики насилия (гендер, насилие, мир) и социальной философии геноцида (ее предмет, метод и цель). Помимо этого, полезна сама попытка осветить относительно новые и недостаточно проработанные сферы социальной теории конфликта.

В исследовании Ольги Гулевич и Евгения Осина сопоставляются различные уровни отношения к войне и возможные направления их социально-психологического анализа. Особенно любопытно при этом прояснение влияния на эти отношения ряда социальных факторов (восприятие своей страны и власти, национальная идентичность). Вместе с этим разбираются ограничения психологических программ по изучению восприятия войны.

Помимо этого, одновременно теоретического и эмпирического исследования целый ряд статей предлагают количественные анализы и кейс-стади современных конфликтов. В статье Андрея Коротаева и Андрея Жданова в контексте пятого поколения теорий революции дается кросс-национальное сопоставление экономических факторов революционной дестабилизации. Совместная работа Владимира Малахова, Нины Багдасаровой, Гульнары Ибраевой и Саодат Олимовой проясняет место России в политическом воображаемом Кыргызстана и Таджикистана. Отчасти продолжает тему города как пространства борьбы, заданную текстом Евгения Корчагина, статья исследовательского коллектива Ирины Скалабан, Юрия Лобанова, Зои Сергеевой и Светланы Волченко, посвященная конфликтам в Новосибирской городской агломерации. Авторы интерпретируют собранные данные, применяя теорию триггерных ситуаций и критического эпизода, и обосновывают необходимость поддержания местных социальных порядков как ключевого средства сдерживания насилия. Рассматривая общественные акции 2019–2020 гг. и реакцию на пандемию COVID-19, пытается выделить различные модели гибридизации рисков Александр Никифоров. Наконец, стоит обратить внимание на рецензию Федора Николаи на сборник статей «“Враг номер один” в символической политике кинематографий СССР и США периода холодной войны», которая представляет собой серьезную критику гегемонии бинарных репрезентаций врагов и прагматизации нормативного взгляда, заданного художественным произведением.

Журнальный номер о конфликте как социальном феномене не может дать исчерпывающего теоретического и эмпирического исследования конфликта. Мы ставили перед собой цель дать обзор значимых новейших теорий конфликта и отразить некоторые аспекты современной социальной практики. Результаты этой работы мы предлагаем вашему вниманию.

Рекомендация для цитирования:

Куманьков А. Д. (2023) Социология как теория конфликта. *Социология власти*, 35 (1): 8-10.

For citations:

Kumankov A. D. (2023) Sociology as a Theory of Conflict. *Sociology of Power*, 35 (1): 8-10.

Поступило в редакцию: 29.03.2023; принято в печать: 30.03.2023

Received: 29.03.2023; Accepted for publication: 30.03.2023

Статьи. Теория

НИКОЛАЙ Н. ПРОЦЕНКО¹

Независимый исследователь, Нови Сад, Сербия

Источники социальной власти, разнообразности капитала и типы стратификации: эвристический потенциал многофакторного макроанализа социального конфликта

doi: 10.22394/2074-0492-2023-1-11-30

В статье дается набросок многофакторного подхода к анализу социальных конфликтов, основанного прежде всего на работах Макса Вебера и таких ключевых исторических макросоциологов конца XX — начала XXI века, как Майкл Манн, Ричард Лахман и Иван Селеньи. Заявленный подход создает возможности для преодоления разрыва между двумя ключевыми направлениями социологической традиции конфликта — марксистской и веберовской. В действительности они не исключают друг друга, а работают по принципу дополнительности, оперируя аналогичным набором терминов (прежде всего класс и капитал) и сводя многообразие социальных феноменов к общему знаменателю — конфликту. Теория источников социальной власти Майкла Манна, которой посвящена первая часть статьи, предостерегает о принципиальной односторонности интерпретации любого конфликта, имеющего отношение к власти (к таковым может быть отнесен любой конфликт, попадающий в периметр макросоциологии) исключительно как политического, экономического, идеологического или военного. Для полноценного описания такого конфликта требуется задействовать все четыре указанных аспекта социальной власти, даже если какие-то из них не проявляются в конкретном конфликте в достаточной мере. На эту первоначальную разметку поля конфликта

11

¹ Проценко Николай Петрович — переводчик литературы по социальным и гуманитарным дисциплинам, член ассоциации профессиональных переводчиков IAPTI (Нови Сад, Сербия). Научные интересы: мир-системный анализ, историческая макросоциология, теория элит, социальные конфликты, капитализм, классовый анализ, рациональность. E-mail: pro-tzman1979@gmail.com

ложатся очерченные во второй части статьи подходы к анализу его непосредственных участников — социальных классов с их ресурсами (капиталом в его различных формах), которые в конечном итоге и определяют специфическую конфигурацию неравенства — движущей силы любого конфликта. Такой комплексный подход позволяет преодолеть догматизм марксистских схем, в то же время не отказываясь от теоретического наследия марксизма: переосмысление его ключевых терминов в веберовской парадигме обогатило социологическую традицию конфликта, сформировав необходимый калейдоскопический взгляд на этот социальный феномен.

Ключевые слова: конфликт, капитал, власть, рациональность, элиты, классы, стратификация, Макс Вебер, Майкл Манн, Иван Селеньи, Ричард Лахман

Nikolay N. Protsenko¹

independent researcher, Novi Sad, Serbia

Sources of Social Power, Varieties of Capital, and Types of Stratification: the Heuristic Potential of Multivariate Macroanalysis of Social Conflict

12

Abstract:

This article sketches out a multifactorial approach to the analysis of social conflict, based primarily on studies by Max Weber and prominent contemporary historical macrosociologists such as Michael Mann, Richard Lachman, and Ivan Szelenyi. The approach offers opportunities to bridge the gap between two key strands of the sociological tradition of conflict — Marxist and Weberian. It is argued that they do not exclude each other but work on the principle of complementarity, operating on a similar set of terms (primarily class and capital) and reducing the diversity of social phenomena to a common ground — conflict. Michael Mann's theory of sources of social power, to which the first part of the article is devoted, warns against the fundamental one-sidedness of interpreting any conflict related to power (any conflict falling within the perimeter of macrosociology can be classified as such) exclusively as political, economic, ideological, or military. A complete description of such a conflict requires engaging all four of these aspects of social power, even if some of them do not manifest themselves sufficiently in a particular conflict. The approaches outlined in the second part of the article to the analysis of its direct participants — social classes with their resources (capital in its various forms), which ultimately determine the specific configuration of inequality — the driving force of any conflict — are based on this initial marking of the conflict field. Such a comprehensive approach allows

1 Nikolay Protsenko is a translator of studies in social sciences and humanities, a member of the IAPTI association of professional translators (Novi Sad, Serbia). Scientific interests: world-system analysis, historical macrosociology, theory of elites, social conflicts, capitalism, class analysis, rationality. E-mail: protzman1979@gmail.com

us to overcome the dogmatism of Marxist schemes without abandoning the theoretical legacy of Marxism: the reinterpretation of its key terms in the Weberian paradigm thus enriches the sociological tradition of conflict, forming the necessary kaleidoscopic view of this social phenomenon.

Keywords: conflict, capital, rationality, elites, classes, stratification, Max Weber, Michael Mann, Pierre Bourdieu, Richard Lachmann

Изучение социального конфликта во многом тождественно изучению общества как такового. Рэндалл Коллинз, один из живых классиков современной социологии, в перечне выделяемых им четырех важнейших социологических традиций ставит на первое место именно традицию конфликта, отмечая, что ее последователи не просто постулируют, что общество состоит из конфликтов, а настаивают, что «даже происходящее вне открытого конфликта включает в себя элементы господства» [Коллинз 2009: 61]. Последнее понятие является одним из важнейших терминов социологии Макса Вебера, определявшего господство (*Herrschaft*) как «вероятность того, что определенные люди повинуются приказу определенного содержания» [Вебер 2016–2019: I, 109]. Сама эта ситуация указывает на неравномерное распределение тех или иных ресурсов: отдающий приказ обладает чем-то отсутствующим у повинующихся, которые видят в этом отсутствии основание для подчинения — либо повод для овладения этим ресурсом. Поскольку неравномерная обеспеченность ресурсами преследует человечество на протяжении всей его истории (достаточно вспомнить библейский сюжет об Авеле и Каине), конфликт оказывается неотъемлемой составляющей любого общества. Тот же Рэндалл Коллинз в качестве эпиграфа к работе «Социология философий» использует следующий фрагмент Гераклита: «Гомер ошибался, говоря: “Да сгинет вражда как между богами, так и между людьми”. Потому что, если бы случилось это, то сгнуло и исчезло бы все» [Коллинз 2002: 4].

13

В этой статье, не претендующей на новизну теоретического подхода к проблематике социального конфликта, дается набросок многофакторного подхода к его анализу, основанного прежде всего на работах Вебера и таких ключевых представителей социологической традиции конфликта конца XX — начала XXI века, как Майкл Манн, Ричард Лакман и Иван Селеньи. Эвристическая ценность предлагаемого подхода заключается в демонстрации того, что анализ конфликта как комплексного социального феномена по определению требует многофакторного подхода. В частности, такой подход создает возможности для преодоления разрыва или по меньшей мере «наведения мостов» между двумя ключевыми направлениями традиции конфликта — марксистской и веберовской, которые в действительности

не исключают друг друга, а работают по принципу дополнительно-сти, оперируя аналогичным набором терминов (прежде всего «класс» и «капитал») и сводя многообразие социальных феноменов к общему знаменателю — конфликту. Кроме того, обращение к конфликту как феномену, который обнаруживается на всех уровнях изучения общества — синхронном и диахроническом, на глобальной шкале и в масштабе отдельно взятого общества вплоть до самых малых групп, — позволяет диалектически снять еще одну небезызвестную дилемму в познании общества и истории: «Изменение вечно. Ничто не меняется» [Валлерстайн 2016–2018: I, 3].

Четыре источника социальной власти как неисчерпаемая среда социального конфликта

В фундаментальном труде Майкла Манна «Источники социальной власти» [Манн 2018] предлагается универсальная матрица для анализа диспозиций конфликта в любом обществе, включающая четыре важнейших типа сетей социального взаимодействия — идеологический (И), экономический (Э), военный (В) и политический (П). Эти источники социальной власти, указывает Манн, выступают в качестве «путеводчика», который прокладывает железнодорожные колеи разной ширины через социальную и историческую местность — «они придают коллективную организацию и единство бесконечному разнообразию социального существования» [Манн 2018: 67]. Развивая тезис Манна о том, что «необходимость институционализации ведет к их частичному объединению в одну или более доминирующих сетей власти» [Манн 2018: 68], можно представить континуум теоретически возможных конфигураций источников социальной власти — от их полной автономизации до монополизации — в следующем виде: И // Э // В // П <...> ИЭВП¹.

Обе крайние точки континуума выглядят образцовыми случаями среды, порождающей социальный конфликт. В качестве эмпири-

1 В общей сложности возможны 19 промежуточных конфигураций: И//Э//ВП; И//В//ЭП; И//П//ЭВ; И//ЭВП; Э//И//ВП; Э//В//ИП; Э//П//ИВ; Э//ИВП; В//Э//ИП; В//П//ЭИ; В//И//ПЭ; В//ЭИП; П//Э//ВИ; П//И//ЭВ; П//В//ЭИ; П//ЭВИ; ПЭ//ВИ; ПВ//ЭИ; ПИ//ЭВ. Для дальнейшего изложения следует сделать два важных уточнения: 1) в целях упрощения модели мы не будем обращаться к таким важным для работы Манна категориям, как авторитетная, диффузная, интенсивная и экстенсивная, а также инфраструктурная власть; 2) четыре источника социальной власти у Манна определенно выступают в качестве веберовских идеальных типов, что следует учитывать при их использовании в анализе эмпирических примеров. Аналогичным образом идеальными типами следует считать социальные классы, о которых речь пойдет ниже.

ческих примеров можно рассмотреть такие исторические сюжеты, как кризис III века в Римской империи и распад СССР (И//Э//В//П), с одной стороны, и восхождение, и крах режимов наподобие германского фашизма (ИЭВП).

Кризис Римской империи в середине III века н.э., как свидетельствуют историки, наступил вследствие чрезвычайного расширения ее границ, не соответствовавшего уровню тогдашних технологий обеспечения связности территории — от строительства путей сообщения до социальных коммуникаций и регенерации производительных сил¹. Наиболее явным симптомом фрагментации империи стало обособление экономической власти (Э) — возникновение крупных автономных земельных владений (латифундий), фактически неподконтрольных центральной власти, что привело к радикальной демонетизации экономики. Как указывает Манн, в промежутке 235–284 годов «обрушение римской фискально-военной системы оказало катастрофическое воздействие на экономику в целом. Содержание серебра в монетах упало с 40% в 250 г. до менее чем 4% в 270 г.» [Манн 2018: 420]. Наиболее явным симптомом автономизации военной власти (В) стал феномен быстро сменявших друг друга либо правивших одновременно солдатских императоров при появлении временных имперских столиц на окраинах империи (в особенности на Балканах, откуда происходила значительная часть этих императоров), где требовалось максимальное присутствие армий для отражения атак варваров. Между тем в самом Риме и «старых» провинциях империи политическая власть (П) по-прежнему принадлежала местным аристократическим семействам, которые благополучно сохраняли свои регалии долгое время и после формального низложения последнего западного римского императора в 476 году². Наконец, кризис III века был отмечен полнейшим

- 1 Анализ истоков экономических проблем поздней Римской империи см., например, в работе Перри Андерсона «Переходы от античности к феодализму»: «На протяжении почти двух веков безмятежное великолепие городской цивилизации Римской империи скрывало ограниченность и противоречия производственной базы, на которой оно покоилось. В отличие от феодальной экономики, которая пришла ему на смену, рабовладельческий способ производства античности не обладал естественным внутренним механизмом самовоспроизводства... Традиционно поставки рабов зависели прежде всего от завоеваний за рубежом... Республика, чтобы установить римскую имперскую систему, награбила рабочую силу по всему Средиземноморью. Принципат прекратил дальнейшую экспансию... С окончательным закрытием имперских границ после Траяна источники военнопленных неизбежно иссякли» [Андерсон 2007: 77].
- 2 Как отмечает историк Средневековья Крис Уикхем, «от провинции к провинции местная римская знать... попросту находила способы уживаться

хаосом в области идеологической власти (И), когда все попытки синтеза античных религий и учений в некий синкретичный официальный культ потерпели крах, после чего императору Константину пришлось признать официальной религией христианство, еще недавно занимавшее маргинальную позицию в идеологическом поле. В лице христианства, отмечает Манн, «империи противостояла альтернативная организация власти» [Манн 2018: 469], и для средневековой Западной Европы конфликт между политической и идеологической (П//И) властью окажется магистральным.

Взгляд на социальные процессы в Римской империи в III веке сквозь оптику теории Майкла Манна демонстрирует *системный* характер кризиса. Дивергенция четырех источников социальной власти оказалась настолько существенной, что преодоление его последствий заняло по меньшей мере несколько столетий, получивших в исторической науке наименование темных веков. Именно в этот момент на территории распавшейся Римской империи и ее периферий возникает множество политий, правители которых пытаются комбинировать собственно политическую власть с остальными ее разновидностями — например, с экономической в средневековых городах-государствах (ПЭ) или идеологической в многочисленных княжествах-епископствах (ПИ). Как указывает Чарльз Тилли, для существовавших в Европе на рубеже I и II тысячелетий «расползавшихся, эфемерных государств, где сотни княжеств, епископий, городов-государств и других форм власти, перекрывая общие территории, осуществляли также контроль во внутренних районах страны», был характерен раздробленный (фрагментарный) суверенитет [Тилли 2009: 72]. Иными словами, эти политии не имели ничего общего ни с Римской империей, распад которой обусловил их появление, ни с современными национальными государствами. Характерное для Средневековья состояние войны всех против всех представляется именно результатом предельной фрагментации социальной власти.

Второй пример, распад СССР в 1989–1991 годах, является еще более наглядным случаем полной автономизации четырех источ-

с соседями-“варварами”, будущими правителями этих земель, устраивалась при дворе... и участвовала в управлении — разумеется, в максимальном соответствии с римским обычаем... Можно считать, что в событиях V века ничего сверхъестественного не было» [Уикхем 2019: 60]. О неспособности варварских (в частности, франкских) королей полноценно осуществлять политическую власть свидетельствует и такая деталь, как распад римской системы налогообложения — точнее, короли использовали освобождение от податей как стандартную политическую привилегию, а их собственной экономической основой становилось владение землей (см. [Уикхем 2019: 63–64]).

ников социальной власти, поскольку это событие прогнозировалось лишь в условной «долгосрочной перспективе»¹, а на деле произошло за незначительный по историческим меркам срок (хотя, учитывая продолжающиеся конфликты на постсоветском пространстве, по-прежнему нельзя с уверенностью утверждать, что оно является завершенным). Представляется, что принципиальная эрозия в декларируемой претензии КПСС на монополию на все источники социальной власти, воплощенной в формуле «Народ и партия едины», возникла в зазоре между политической и экономической властью (П//Э) с последующим расколом в политической структуре СССР, «обнулением» идеологии и параличом военной власти. Поздний период советской истории (1960–1980-е годы) по-прежнему требует досконального исследования, однако в нем отчетливо прослеживаются следующие общие тенденции:

— Политика сплошной коллективизации в СССР привела к тотальной неэффективности советской экономики в таком базовом секторе, как производство продовольствия и других сельхозтоваров наподобие хлопка, что привело к появлению масштабных неформальных сетей («продуктовой мафии»), которые базировались прежде всего в южных регионах. В сложившейся в брежневскую эпоху ситуации, когда тотальные репрессии против элит были невозможны, это способствовало экономической автономизации местной номенклатуры от центральной политической власти, а в конечном итоге и ползучей приватизации государства (см. [Ливен 2019: 199–202]).

— Руководство СССР на рубеже 1960–1970-х годов продемонстрировало неспособность к проведению экономических реформ, однако потребность в них стала ощущаться существенно меньше после того, как советская экономика стала все больше ориентироваться на экспорт природных ресурсов, прежде всего нефти и газа (см. [Гайдар 2006: 179–190]). При этом за распоряжение экспортной выручкой шла межведомственная борьба с участием партийных и правительственных структур, а также органов госбезопасности, что готовило почву для последующей инсайдерской приватизации этих потоков².

1 Основой одного из таких прогнозов, представленного Рэндаллом Коллинзом, была геополитическая теория (см. [Collins 1978]). В 1980 году, когда в ходе президентской кампании Рональда Рейгана в США активно обсуждалась проблема отставания американского ядерного арсенала от советского, Коллинз выступил с серией докладов, где утверждал, что дезинтеграция СССР из-за геополитического перенапряжения наступит еще до того, как начнется ядерная война, однако не рассматривал такой исход как дело ближайших нескольких лет (см. подробно в [Collins 1995]).

2 Весьма характерно, что карьера ряда будущих представителей российского сырьевого олигархата начиналась в советских ведомствах (например,

— Номенклатура после прекращения сталинских репрессий окончательно превратилась в «новый класс» (термин югославского политолога Милована Джиласа), а точнее, используя терминологию Вебера, в статусную группу, обладавшую неотчуждаемыми привилегиями (см. [Восленский 1991: 267-352]) — но не гарантированными правами частной собственности. Последнее обстоятельство, безусловно, внесло свою лепту в добровольный отказ номенклатуры от идеологической власти, выразившийся в отмене 6-й статьи Конституции СССР о Коммунистической партии как верховном институте власти в стране. Однако незамедлительным последствием этой меры стал кризис уже в сфере политической власти, поскольку центром принятия решений в ней были именно партийные органы.

Таким образом, к концу 1980-х годов в СССР также возник системный кризис всех четырех источников власти. Идеологическая власть потерпела фиаско: после объявления курса гласности «ликвидность» коммунистической идеологии обвалилась практически сразу. Политическая власть с исчезновением ее сердцевины в виде «руководящей и направляющей роли» партии стремительно фрагментировалась — начался пресловутый «парад суверенитетов». Одновременно были запущены процессы «явочной» приватизации в сфере экономической власти — симптомом утраты монопольного контроля в этой сфере стало внезапное исчезновение с полок магазинов даже элементарных товаров. Наконец, военная власть дискредитировала себя сначала во время авантюры в Афганистане, а затем при попытках подавления протестов в национальных республиках СССР и продемонстрировала свою дисфункциональность во время августовского путча 1991 года. В таких условиях прекращение существования Союза было лишь вопросом времени, хотя виной тому была отнюдь не геополитика и уж тем более не происки «недружественных стран», а в первую очередь внутренние процессы¹.

Владимир Потанин работал в объединении «Союзпромэкспорт», а Вагит Алекперов был заместителем министра нефтяной и газовой промышленности СССР), внутри или под эгидой которых во второй половине 1980-х годов стали активно создаваться коммерческие структуры, перетягивавшие на себя внешнеторговые потоки. Гипотезу о закулисной подготовке приватизации советских активов задолго до распада СССР см. в: [Привалов 2005], а также значительный материал о борьбе за контроль над доходами от экспорта сырья в позднем СССР представлен в работе [Фельштинский, Попов 2021].

- 1 Одной из лучших недавних работ о внутренних механизмах распада СССР является книга американского историка и политолога Стивен Коткина «Предотвращенный Армагеддон. Распад Советского Союза, 1970–2000». Коткин делает акцент на особой роли идеологической власти в этом процессе, отмечая «тонкую иронию судьбы» в том, что «очень ригидные политиче-

Для ситуаций наподобие кризисов III века или распада СССР (модель И // Э // В // П) характерно доминирование внутренних конфликтов, тогда как образцы противоположной модели (ИЭВП) демонстрируют «экспортный потенциал» конфликта: монополизация всех источников социальной власти с высокой долей вероятности породит ситуацию, когда для поддержания внутреннего равновесия системе потребуется внешняя агрессивная экспансия. Особая роль при этом, как правило, принадлежит военной власти и военной элите, которая, активно задействуя механизмы идеологической власти, стремится подчинить себе все остальные элитные группы. Исторический социолог Ричард Лахман в качестве такого предельного случая рассматривает нацистскую Германию, предполагая, что если бы ей удалось выстоять, то «она стала бы единственной империей, имеющей одну-единственную элиту, что устранило бы конфликт между элитами как основу структурных изменений в обозримом будущем. В этом отношении, а также в своем стремлении устроить в своих владениях настоящий “конец истории” нацистская империя была уникальной для мировой истории» [Лахман 2022: 64].

Акцент на роли элит в анализе конфликта в масштабе отдельно взятого общества/государства необходим прежде всего потому, что именно элиты, как правило, контролируют дефицитные ресурсы, борьба за распределение которых не прекращается в обществе. Элита, согласно определению Лахмана, «представляет собой группу наделенных властью лиц, составляющих особый организационный аппарат, который обладает способностью изымать ресурсы у тех, кто не является элитой» [Лахман 2022: 36]. Между тем элита, как правило, не является однородной: ее структура проявляет тенденцию к изоморфности структуре источников социальной власти¹. При этом

19

ские и экономические структуры были до основания потрясены именно коммунистической идеологией», в которую горбачевская перестройка попыталась вдохнуть новую жизнь. В результате марксизм-ленинизм «вдруг стал источником необычайного, хотя и разрушительного динамизма»: «И в решении начать перестройку, и, что еще важнее, в том, какую форму она приняла, проявилось не только соперничество сверхдержав, но и глубокое желание осуществить социалистические идеи, возродить партию и вернуться к воображаемым идеалам Октября» [Коткин 2018: 50].

- 1 Эту мысль подтверждает вышедшая в 1956 году, задолго до появления работ Манна и Лахмана, книга американского социолога Чарльза Райта Миллса «Властвующая элита» [Миллс 1959], где анализируются отношения между политической, военной и экономической элитами США. Концепция Миллса определенно возникла под влиянием Вебера, чьи работы Миллс переводил на английский, а у Манна разделение экономической, политической и идеологической власти коррелирует с известным веберовским разграничением класса, статуса и партии с добавлением военной власти как отдель-

динамика отношений внутри элиты (включая конфликты между разными элитами и элитными группами) определяется не только борьбой за ресурсы, но и разными мотивациями акторов. Используя веберовскую терминологию, можно, например, утверждать, что для идеологической власти (элиты) характерны, скорее, ценностно-рациональные установки, тогда как экономическая власть (элита) представляется сферой, где доминирует целерациональность.

Возникновение современного (модерного) мира в «долгом шестнадцатом веке» можно рассматривать именно как разрешение уже упомянутого магистрального для средних веков конфликта между политической и идеологической властью, когда представителям старых элит в итоге пришлось стать, по определению Лахмана, «капиталистами поневоле» (см. [Лахман 2010]). Принципиальный для капитализма альянс экономической и политической власти (осознанный еще авторами «Манифеста Коммунистической партии», которые указывали, что «современная государственная власть — это только комитет, управляющий общими делами всего класса буржуазии» [Маркс и Энгельс 1955: 426]) предполагал также инкорпорацию власти военной, которая с завершением европейского Средневековья в целом перестает быть делом независимых акторов. Однако идеологическая власть принципиально отделяется от этой триады (И // ЭВП), что первоначально находит воплощение в процессах секуляризации в западном мире, а затем закрепляется в конституциях либеральных демократий в виде запрета на установление единой идеологии в пределах того или иного государства.

Тем не менее уже упомянутый германский нацизм, а также опыт ряда других (в том числе формально демократических) режимов XX–XXI веков демонстрируют, что при отсутствии развитой системы институциональных сдержек и противовесов капитализм всегда балансирует на грани монополизации всех источников власти в виде автаркии одной элиты, которая руководствуется скорее ценностно-рациональными, чем целерациональными соображениями¹. Наиболее опасным с учетом современного технологического

ного источника, вычленяемого из политической власти. В связи с этим следует повторить, что описываемые Манном источники социальной власти, несомненно, представляют собой разновидность веберовских идеальных типов — как и любая обобщающая теория, эта концепция требует особого внимания в приложении к эмпирическому материалу.

1 Лахман в качестве еще одного подобного примера выделяет Францию эпохи Наполеона, хотя и признает, что в случае победы над противниками единственная элита этого режима, в отличие от гитлеровской Германии, вряд ли смогла бы удерживать монополию на власть и в метрополии, и в завоеванных территориях [Лахман 2022: 64]. Стоит также отметить, что обращение

уровня вооружений и возможностей массовой пропаганды «гибридом» представляется сращивание военной и идеологической власти (ИВ). Майкл Манн в монографии о фашизме, вышедшей в оригинале в 2004 году, предположил, что «сегодня фашисты мертвы, и воскрешение их в ближайшее время вряд ли возможно» [Манн 2023: 536], однако спустя всего два десятилетия такая оценка представляется слишком оптимистичной. Исходя из определения Манном фашизма как «попытки создать трансцендентное национальное государство, при помощи парамилитаризма проведя народ через чистки» [Там же], можно утверждать, что в сегодняшнем мире достаточно «ингредиентов» для возникновения новых фашистских режимов, претендующих на монополизацию всех источников власти¹.

Неравенство как источник конфликта: переосмысление категории класса

Восходящая к теории господства Макса Вебера матрица четырех источников социальной власти детально размечает поле конфликта, однако оставляет на заднем плане его механизмы, рассмотрение которых находится в фокусе другого ключевого направления традиции конфликта — классового анализа, так или иначе ассоции-

21

к анализу взаимоотношений внутри элиты/элит в рамках конфигурации источников социальной власти типа ИЭВП представляется более продуктивным, нежели ее сведение к расхожей формулировке «персоналистская диктатура». При более детальном рассмотрении в режимах подобного типа присутствует авторитарная элита, без которой реализация единоличных решений «вождя» в принципе невозможна — используя терминологию Вебера, элита выступает в роли управленческого штаба, «группы надежных доверенных лиц, специально действующих в направлении как общих указаний, так и конкретных приказов господствующего» [Вебер 2016–2019: I, 396].

- 1 Социолог Георгий Дерлугьян формулирует проблему в виде риторического вопроса: «Что может быть решительнее, круче военизированного фашизма?» (см. <https://www.ponarseurasia.org/8156/>). Помимо многократно описанной в СМИ и научных исследованиях тенденции к возобновлению агрессивного национализма в XXI веке, среди признаков фашизма, перечисленных в определении Манна, следует особо отметить парамилитаризм, активно возрождающийся в виде так называемых «частных военных компаний». Их нарастающая активность стирает грань между характерным для военных конфликтов эпохи Модерна различием между организованными и криминализованными боевыми действиями (см. [Mueller 2004]), выступая еще одним признаком тенденции к «рефеодализации» социальных отношений в XXI веке, которая будет рассмотрена ниже. Сам Манн в одном из недавних интервью констатировал усиление позиций «крайне правых конспирологов», см. <https://gorky.media/context/krajne-pravye-konspirologi-edinstvennaya-sila-kotoruyu-ukrepil-koronavirus/>

рующегося с фигурой Карла Маркса¹. Классовый подход предполагает, что неотъемлемой особенностью большинства известных из истории обществ является не просто неравномерность распределения ресурсов, а неравенство различных групп, определяющее специфику отношений между ними. Однако следует уточнить, что это неравенство далеко не всегда имеет экономическую природу, в связи с чем чистый классовый конфликт в марксистском смысле (наподобие антагонизма буржуазии и пролетариата) представляется достаточно условной конструкцией. В реальных социальных конфликтах, как правило, задействовано сразу несколько видов капитала, описанных в работах Пьера Бурдьё (помимо капитала экономического, он выделяет политический, культурный, человеческий и символический капитал, см. [Бурдьё 2005]), а группы-антагонисты не обязательно являются классами в «чистом» марксистском — экономическом — смысле².

22

Венгерский социолог Иван Селеньи и его коллега-экономист Петер Михайи [Szelényi and Mihályi 2020] предлагают двумерную модель описания ключевых типов современных (модерных) обществ, основанную на противопоставлении классового и рангового типов стратификации у Вебера, с одной стороны, и различных видах капитала у Бурдьё — с другой. В классических условиях капитализма, отмечают они, «командует экономика» — как следствие, в таком обществе доминирует целерациональность, а преобладающий режим стратификации является классовым: основным фактором социального неравенства оказывается обладание экономическим капиталом, ориентированное на получение дохода в виде прибыли. Напротив, в «классической» (ленинской/сталинской или маоистской) системе социализма доминируют социальная или политическая формы капитала, предполагающие другую разновидность дохода — рентную, а обладание экономическим капиталом, если это вообще

1 Р. Коллинз предлагает рассматривать идеи Маркса как «скорее символ, чем труд одного человека», отмечая, что в некоторых отношениях мыслителем более значительной оригинальности и широты был его соавтор Энгельс. Тем не менее именно Маркс остается «центром той традиции, которая драматизирует конфликт более, чем какая бы то ни было другая» (см. [Коллинз 2009: 63, 71]).

2 Одно из наиболее известных определений класса как чисто экономической категории принадлежит Ленину: «Классами называются большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению (большей частью закрепленному и оформленному в законах) к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают» [Ленин 1970: 14].

возможно, создает затруднения и является не источником могущества, а его следствием (см. [Szelényi, Mihályi 2020: 55])¹. Поэтому в социалистических/коммунистических обществах, утверждают Селеньи и Михайи, руководящим принципом социальной классификации выступает не класс, а тот феномен, который у Вебера именуется термином *Stand* — сословие или ранг. При этом сам Вебер указывал, что даже при классическом капитализме классовое образование не всегда происходит на основании экономического неравенства (неравенства доходов) — свою роль играют и другие виды капитала: в частности, в перечне «социальных классов», отличающемся от перечня «классов доходов», Вебер выделяет «классы, занимающие привилегированную позицию благодаря собственности и образованию» [Вебер 2016–2019: I, 336–337].

Такое осмысление истоков социального неравенства актуализируется в контексте последних тенденций к «рефеодализации» капитализма, которая проявляется не только в сверхконцентрации капитала (см. [Пикетти 2015]), но и в резком увеличении доли рента в структуре доходов. Как указывают Селеньи и Михайи, самый острый социально-экономический вопрос современности — «это не столько невероятные богатства 1 или 0,1% населения, сколько нарастающее почти феодальное, сословное расслоение, отделение высшего среднего класса от остального общества» [Михайи, Селеньи 2020: 93]². Такая феодализация — или рефеодализация — социального порядка, указывают венгерские исследователи, имеет и политические последствия: «Если подъем западной либеральной демократии сопровождался созданием мощной системы сдержек и противовесов, то теперь мы наблюдаем растущее отторжение либеральных идей, оправдываемое необходимостью сильного лидерства, <...> потому что сдержки и противовесы осложняют принятие быстрых радикальных решений» [Михайи, Селеньи 2020: 94–95]. К сказанному можно лишь добавить, что эти решения зачастую

- 1 Помимо «ренды редкости», описанной еще классиком политэкономии Давидом Рикардо, авторы выделяют такой феномен, как «рента солидарности», приводя в качестве одного из ее примеров членство в профсоюзе, позволяющее получать рентную («незаработанную») прибавку к заработной плате благодаря коллективным действиям. Однако рента солидарности может распространяться и на «безбилетников», например, тех, кто не является членом профсоюза, но получает выгоды в виде более высоких заработков или иных возможностей (см. [Михайи, Селеньи 2020: 62–63]).
- 2 Следует также отметить, что венгерские авторы обнаруживают эти тенденции в глобальном масштабе, не ограничиваясь отдельными странами, как, к примеру, российский социолог Симон Кордонский, доказывающий, что формирование нового «сословного общества» — это характерная черта именно России (см. [Кордонский 2008]).

имеют ценностно-рациональный характер, т. е. мотивируются соображениями идеологической власти — о соответствующих рисках уже говорилось выше.

В качестве примера того, как работают описанные модели, обратимся к российскому материалу, проанализировав такой сравнительно недавний сюжет, как протесты в Москве конца 2011 — начала 2012 года, получившие также название «болотных митингов».

В интерпретации событий на Болотной площади и проспекте Сахарова различными комментаторами практически сразу возник некий коллективный субъект, которому приписывалась отчетливая классовая природа. Участников протестов, выходивших на улицы по собственной воле, именовали представителями «креативного класса» (вошедший на тот момент в интеллектуальную моду термин социолога Ричарда Флориды, см. [Флорида 2005]), «нового городского класса» или — наиболее распространенное определение — попросту «среднего класса», противопоставляя их «бюджетникам», которых свозили на организованные властями митинги по разрядке. Александр Бикбов, выполнивший, вероятно, наиболее полный социологический анализ протестов 2011–2012 годов, делает акцент на существенной роли медиа в конструировании «среднего» и «креативного» класса в качестве основного субъекта условной «Болотной», указывая, что собственные повестка и лозунги московского протестного движения не просто избегали мобилизующего понятия «средний класс», а структурно отличали российские уличные выступления от мобилизации классового типа (см. [Бикбов 2014: 144–162]). В то же время — в особенности в свете последующих трендов в российском обществе — важно разобраться, какая «классовая» реальность стояла за этой классовой риторикой.

В 2000-х годах, на волне роста российской экономики, дискуссия о среднем классе велась, как правило, на страницах научных и деловых изданий и сводилась преимущественно к тому, какую долю в населении страны занимала эта группа, исходя из разных критериев личного дохода ее представителей. При таком сугубо экономическом подходе разброс оценок был предельно широк — от «среднего класса в России не существует» до «к среднему классу уже относится значительная часть россиян»¹. Появление (пусть даже с подачи медиа) «среднего класса» в качестве субъекта политического протеста,

1 Одной из попыток выйти за пределы сугубо экономического представления о среднем классе был публиковавшийся в 2000-х годах в журнале «Эксперт» цикл материалов под рубрикой «Стиль жизни среднего класса», где предпринималась попытка расширительной интерпретации феномена со смещением акцента от размера доходов к гипотетическим общим ценностям, которые, впрочем, тоже так или иначе сводились к потребитель-

причем в виде группы, противостоящей другому «классу» — условным «бюджетникам», выводило дискуссию о структуре российского общества на иной уровень.

Очевидно, что при наделении двух предполагаемых «классов-антагонистов» исключительно экономическим содержанием, противопоставление незамедлительно теряло смысл, поскольку среди «бюджетников» легко обнаружить лиц с доходами, соответствующими тем или иным представлениям о «среднем классе» как «классе дохода». Поэтому понятие «средний класс» в контексте протестов 2011–2012 годов выступало вместилищем не только экономического, но и культурного, социального и символического капитала. Предполагалось, что обладание таким набором разновидностей капитала позволяет людям, вышедшим на улицы, претендовать на долю в капитале политическом, которой они были лишены в результате фальсификаций результатов выборов в Госдуму 2011 года, ставших поводом для протестов. Неоднократно звучавший в ходе митингов лозунг «Мы здесь власть» означал не что иное, как попытку репривации политического капитала в пользу нового коллективного субъекта. И даже если этот потенциально классовый конфликт был преимущественно искусственно сконструирован, конструкция нашла отклик с обеих сторон — некоторые участники протестов называли своих оппонентов с условной Поклонной «анчоусами» и «быдлом», получая в ответ заверения «мужиков» с «Уралвагонзавода» в готовности «отстоять свою стабильность».

25

В дальнейшем власти отреагировали на появление нового субъекта, претендующего на собственную долю в политическом капитале, при помощи неоднократных попыток осуществить «перехват повестки». Уже в декабре 2012 года в послании президента Владимира Путина Федеральному Собранию присутствовала следующая дефиниция: «Креативный класс, а если использовать более традиционное слово “интеллигенция”, — это прежде всего врачи, учителя, работники культуры»¹. А в марте 2020 года Путин, сославшись на методику Всемирного банка, согласно которой к среднему классу относятся лица с доходами в полтора раза больше минимального размера оплаты труда, заявил, что «у нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%» — понятно, что при таком подходе в ряды среднего класса автоматически попадает значительная часть пресловутых «бюджетников».

Безусловно, такая благостная для властей оценка доли среднего класса лишь маскирует непрекращающийся рост социального не-

ским стандартам. См., например, один из материалов серии: https://expert.ru/expert/2010/04/stil_zhizni_srednego_klassa/

1 См. <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/17118>

равенства в стране. Как отмечается в докладе World Inequality Report-2022, подготовленном группой авторов, включающей знаменитого французского экономиста Томаса Пикетти, доля верхних 10% в национальном богатстве РФ превышает 70%, что делает российское общество одним из самых поляризованных в мире по доходам жителей¹. Впрочем, существуют и иные оценки. Примечательно, что незадолго до процитированного выступления Путина в одном из исследований с использованием другой методологии доля населения РФ, соответствующая «всем характеристикам среднего класса», была оценена лишь в 7%². Иными словами, дискуссия о среднем классе вернулась в исходную точку: при отсутствии единых критериев выделения этой группы оценка ее доли в рамках отдельного общества может быть какой угодно. Но куда делся средний класс как политический проект, заявленный в ходе протестов 2011–2012 годов?

26

Как указывал Иммануил Валлерстайн, один из первых макросоциологов, предпринявших попытку синтеза марксистского и веберовского подходов к социальному конфликту, «в действительности классы существуют лишь в конфликтных ситуациях», когда «многочисленные общественные фракции имеют тенденцию сокращаться до двух основных групп путем формирования альянсов» — именно при наличии двух классов «ситуация наиболее взрывоопасна» [Валлерстайн 2015: 432]. Однако наиболее распространенным положением дел, отмечал Валлерстайн, является наличие лишь одного доминирующего класса — в этом случае социальный конфликт не обязательно имеет межклассовую природу, он может представлять собой «столкновение между одним классом, воспринимающим себя в качестве универсального, и всеми прочими социальными стратами». Как представляется, это рассуждение с поправкой на сказанное выше о различии между «классами дохода» и «социальными классами» дает ключ к интерпретации российских реалий второй половины 2010-х — начала 2020-х годов.

Как уже говорилось выше, важным моментом в классовом анализе является не только размер доходов, но и их источники — заработные платы, прибыли или ренты, — определяющие не только экономический капитал их получателей, но и специфику принадлежащего им социального и человеческого капитала (см. [Bourdieu 1984]). С этой точки зрения основной тенденцией стратификации российского общества последних лет стало увеличение доли рентных доходов в виде различных социальных выплат из бюджета. Если в 2017 году

1 См. https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2023/03/D_FINAL_WIL_RIM_RAPPORT_2303.pdf, pp. 215–216 (последний доступ 23.04.2023).

2 См. <https://www.rbc.ru/economics/04/10/2019/5d95e0b99a79470a6a29a042>

на них приходилось 19% доходов россиян, то, согласно данным Росстата на начало 2023 года, выплаты от государства получали уже 33%, на зарплату жили 45% граждан, 25% являлись иждивенцами, а предпринимательские доходы (прибыли) имели лишь 2%¹.

Такая динамика безошибочно свидетельствует о стремительном формировании в России нового класса рентополучателей, значительно превосходящего по численности пресловутых «бюджетников», которых, в сущности, также можно включить в состав этого нового рентного класса. Основной характеристикой этой группы является социальная пассивность, дающая право на своеобразную ренту солидарности в виде бюджетных отчислений, чем, по-видимому, и объясняется отсутствие массовых протестов в ответ на прогрессирующие с 2018 года (с момента пенсионной реформы) действия властей по сворачиванию гражданских прав и свобод. На фоне монолитности этого растущего нового класса группы, заявлявшие о претензиях на политический капитал, оказались в явном меньшинстве, после всплеска протестов в 2011–2012 годах их консолидации так и не произошло, а в текущих российских реалиях они оказались предельно атомизированными. «Окна возможностей», открывшиеся в момент системного кризиса источников социальной власти в СССР, похоже, захлопнулись надолго.

27

Представленные подходы к анализу социального конфликта и иллюстрирующие их примеры свидетельствуют прежде всего о неотъемлемой многогранности конфликта. Теория источников социальной власти Майкла Манна, которой посвящена первая часть статьи, предостерегает о принципиальной однобокости интерпретации любого конфликта, имеющего отношение к власти (а к таковым может быть отнесен любой конфликт, попадающий в периметр макросоциологии), исключительно как политического, экономического, идеологического или военного. Для полноценного описания такого конфликта требуется задействовать все четыре указанных аспекта социальной власти, даже если какие-то из них не проявляются в конкретном конфликте в достаточной мере (как известно из семиотики, отсутствие знака — тоже знак). На эту первоначальную разметку поля конфликта ложатся очерченные во второй части статьи подходы к анализу его непосредственных участников — социальных классов с их ресурсами (капиталом в его различных формах), которые в конечном итоге и определяют специфическую

¹ Данные 2017 года см. <https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/15/677712-naselenie-zavisit-ot-viplat>, данные 2023 года — <https://www.rbc.ru/economics/12/01/2023/63be83e59a794786222dfa6a>

конфигурацию неравенства — движущей силы любого конфликта. Такой комплексный подход позволяет преодолеть догматизм марксистских схем, в то же время не отказываясь от теоретического наследия марксизма: переосмысление его ключевых терминов в веберовской парадигме обогатило социологическую традицию конфликта, сформировав необходимый калейдоскопический взгляд на этот социальный феномен.

Библиография / References:

Андерсон П. (2007) *Переходы от античности к феодализму*. М.: Издательский дом «Территория будущего».

— Anderson P. (2007) *Transitions from antiquity to feudalism*. Moscow: Publishing House "Territory of the Future". — in Russ.

Бикбов А. Т. (2014) *Грамматика порядка: Историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность*. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014.

— Bikbov A. T. (2014) *Grammar of order: A historical sociology of concepts that change our reality*. М.: Ed. house of the Higher School of Economics. — in Russ.

28

Валлерстайн И. (2016-2018) *Мир-система Модерна*. В 4 тт. М.: Русский фонд содействия образованию и науке.

— Wallerstein I. (2016-2018) *World-system Modern*. In 4 vols. Moscow: Russian Foundation for Distribution and Science. — in Russ.

Восленский М. С. (1991) *Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза*. М.: Советская Россия.

— Voslensky M. S. (1991) *Nomenclature. The ruling class of the Soviet Union*. М.: Soviet Russia. — in Russ.

Бурдьё П. (2005) Формы капитала. *Экономическая социология*, 6(3): 60-74.

— Bourdieu P. (2005) Forms of capital. *Economic sociology*. 6(3): 60-74. — in Russ.

Вебер М. (2016-2019) *Хозяйство и общество*. В 4 тт. М.: Издательский дом Высшей школы экономики.

— Weber M. (2016-2019) *Economy and society*. In 4 vols. М.: Publishing House of the Higher School of Economics. — in Russ.

Гайдар Е. Т. (2006) *Гибель империи. Уроки для современной России*. М.: РОССПЭН.

— Gaidar E. T. (2006) *The death of an empire. Lessons for modern Russia*. М.: ROSSPEN. — in Russ.

Коллинз Р. (2002) *Социология философий. Глобальная теория интеллектуального изменения*. Новосибирск: Сибирский хронограф.

— Collins R. (2002) *Sociology of philosophies. Global theory of intellectual change*. Novosibirsk: Siberian Chronograph. — in Russ.

Коллинз Р. (2009) *Четыре социологических традиции*. М.: Издательский дом «Территория будущего».

- Collins R. (2009) *Four sociological traditions*. М.: Publishing House “Territory of the Future”. — in Russ.
- Кордонский С. Г. (2008) *Сословная структура постсоветской России*. М.: Институт Фонда «Общественное мнение».
- Kordonsky S. G. (2008) *Class structure of post-Soviet Russia*. Moscow: Institute of the Public Opinion Foundation. — in Russ.
- Коткин С. (2018) *Предотвращенный Армагеддон. Распад Советского Союза, 1970–2000*. М.: Новое литературное обозрение.
- Kotkin S. (2018) *Prevented Armageddon. Collapse of the Soviet Union, 1970–2000*. Moscow: New Literary Review. — in Russ.
- Лахман Р. (2010) *Капиталисты поневоле. Конфликт элит и экономические преобразования в Европе раннего Нового времени*. М.: Издательский дом «Территория будущего».
- Lachman R. (2010) *Capitalists involuntarily. Elite Conflict and Takeovers in Early Modern Europe*. М.: Publishing House “Territory of the Future”. — in Russ.
- Лахман Р. (2022) *Пассажиры первого класса на тонущем корабле. Политика элиты и упадок великих держав*. М.: Издание книжного магазина «Циолковский».
- Lachman R. (2022) *First Class Passengers on a Sinking Shipbuilding. Elite politics and the decline of the great powers*. М.: Edition of the Tsiolkovsky bookstore. — in Russ.
- Ленин В. И. (1970) *Полное собрание сочинений*. Изд. 5-е. Т. 39. М.: Издательство политической литературы.
- Lenin V. I. (1970) *Full composition of writings*. Ed. 5th. Vol. 39. М.: Publishing house of political literature. — in Russ.
- Ливен А. (2019) *Чечня: трагедия российской мощи. Первая чеченская война*. М.: Университет Дмитрия Пожарского. Русский фонд содействия образованию и науке.
- Liven A. (2019) *Chechnya: the tragedy of Russian power. First Chechen war*. Moscow: Dmitry Pozharsky University. Russian Foundation for Distribution and Science. — in Russ.
- Манн М. (2018) *Источники социальной власти*. В 4 тт. М.: Издательский дом «Дело» РАНХИГС.
- Mann M. (2018) *Sources of social power*. In 4 vols. Moscow: Delo Publishing House RANHIGS. — in Russ.
- Манн М. (2023) *Фашисты*. СПб., М., Минск: Питер; Фонд «Историческая память».
- Mann M. (2023) *Fascists*. SPb., М., Minsk: Peter; Historical Memory Foundation. — in Russ.
- Миллс Р. (1959) *Властвующая элита*. М.: Иностранная литература.
- Mills R. (1959) *The ruling elite*. Moscow: Foreign Literature. — in Russ.
- Михайи (Михалы) П., Селеньи И. (2020) *Получатели ренты: прибыли, заработки и неравенство (верхние 20%)*. М.: Магистр.
- Mihalyi (Michaly) P., Selenyi I. (2020) *Rent Recipients: Profits, Earnings and Inequality (Top 20%)*. М.: Master. — in Russ.
- Пикетти Т. (2015) *Капитал в XXI веке*. М.: Ad Marginem.

- Piketty T. (2015) *Capital in the XXI century*. Moscow: Ad Marginem. — in Russ.
- Привалов А. (2005) Приговор по нераскрытому делу. *Эксперт*, 30(476).
- Privalov A. (2005) Sentence in an unsolved case. *Expert*, 30(476). — in Russ.
- Тилли Ч. (2009) *Принуждение, капитал и европейские государства. 990–1992 гг.* М.: Издательский дом «Территория будущего».
- Tilly C. (2009) *Coercion, Capital and European States. 990–1992*. М.: Publishing House “Territory of the Future”. — in Russ.
- Уикхем К. (2019) *Средневековая Европа. От падения Рима до Реформации*. М.: Альпина нон-фикшн.
- Wickham K. (2019) *Medieval Europe. From the fall of Rome to the Reformation*. Moscow: Alpina Nonfiction. — in Russ.
- Фельштинский Ю. Г., Попов В. К. (2021) *От Красного террора к мафиозному государству: спецслужбы России в борьбе за мировое господство (1917–2036)*. Киев.
- Felshtinsky Yu.G., Popov V. K. (2021) *From Red Terror to Mafia State: Russia's Secret Services in the Struggle for World Domination (1917–2036)*. Kyiv. — in Russ.
- Флорида Р. (2005) *Креативный класс: люди, которые меняют будущее*. М.: Классика-XXI.
- Florida R. (2005) *Creative class: people who change the future*. М.: Classics-XXI. — in Russ.
- 30 Bourdieu P. (1984) *Distinction — A Social Critique of Judgment of Taste*. Cambridge: Harvard University Press.
- Collins R. (1978) Long-Term Social Change and the Territorial Power of States. *Research in Social Movements, Conflicts, and Change*, (1): 1-34.
- Collins R. (1995) Prediction in Macrosociology: The Case of the Soviet Collapse, *The American Journal of Sociology*, 100(6): 1552-1593.
- Mueller J. (2004) *The Remnants of War*. Cornell University Press.
- Szelényi I., Mihályi P. (2020) *Varieties of Post-communist Capitalism. A Comparative Analysis of Russia, Eastern Europe and China*. Leiden, Brill, 2020.

Рекомендация для цитирования:

Проценко Н. Н. (2023) Источники социальной власти, разновидности капитала и типы стратификации: эвристический потенциал многофакторного макроанализа социального конфликта. *Социология власти*, 35 (1): 11-30.

For citations:

Protsenko N. N. (2023) Sources of Social Power, Varieties of Capital, and Types of Stratification: the Heuristic Potential of Multivariate Macroanalysis of Social Conflict. *Sociology of Power*, 35 (1): 11-30.

Поступила в редакцию: 29.01.2023; принята в печать: 03.03.2023

Received: 29.01.2023; Accepted for publication: 03.03.2023

ОЛЬГА А. ГУЛЕВИЧ¹

НИУ «Высшая школа экономики», Москва, Россия

ORCID: 0000-0003-3806-5064

ЕВГЕНИЙ Н. ОСИН²

НИУ «Высшая школа экономики», Москва, Россия

ORCID: 0000-0003-3330-5647

Психологические факторы отношения к войне: теоретический обзор

doi: 10.22394/2074-0492-2023-1-31-50

Резюме:

Люди демонстрируют разное отношение к военным действиям как способу разрешения международных конфликтов. В этой статье мы рассматриваем специфику психологического подхода к изучению этого отношения: (а) уровни отношения к войне (отношение к конкретным военным кампаниям vs общее отношение к войне как к способу разрешения международных конфликтов); (б) психологические (индивидуально-психологические, социально-психологические, ситуативные) факторы, предсказывающие это отношение; (в) ограничения проведенных исследований и направления дальнейшего изучения. Основное внимание мы уделим трем социально-психологическим факторам, предсказывающим отношение к военным действиям на территории других государств: социальной идентичности (общечеловеческой vs национальной идентичности, позитивной национальной идентичности vs национальному нарциссизму), отношению к власти (правому авторитаризму, отношению к действующей политической системе) и воспринимаемой угрозе от стран-противников. Мы покажем, что общечеловеческая идентичность негативно связана с отношением к военным кампаниям. В то же время национальная идентичность (особенно национальный нарциссизм), отношение к власти (прежде всего правый авторитаризм) и воспринимаемая межгрупповая угроза — позитивно связаны с отношением к войне. В данном обзоре будут рассмотрены результаты, полученные в разных странах, прежде всего, в США, некоторых европейских государствах и России.

31

1 Ольга Александровна Гулевич — доктор психологических наук, профессор департамента психологии, зав. НУЛ политико-психологических исследований, НИУ «Высшая школа экономики». E-mail: ogulevich@hse.ru

2 Евгений Николаевич Осин — кандидат психологических наук, доцент департамента психологии, НИУ «Высшая школа экономики». E-mail: evgeny.n.osin@gmail.com

Ключевые слова: отношение к войне, национальная идентичность, коллективный нарциссизм, политическое доверие, правый авторитаризм, воспринимаемая межгрупповая угроза

Olga A. Gulevich¹

HSE University, Moscow, Russia

Evgeny N. Osin²

HSE University, Moscow, Russia

Psychological Factors Underlying Attitudes toward War: A Theoretical Review

Abstract:

People have different attitudes toward military action as a way of resolving international conflicts. In this article we will examine the psychological approach to the study of these attitudes: (a) the levels of attitudes toward war (attitudes toward specific military campaigns vs. general attitude toward war as a way of resolving international conflicts); (b) psychological (individual, social-psychological, and situational) factors predicting these attitudes; (c) limitations of the existing research and directions for future research. We will focus on three social-psychological factors predicting attitudes toward military action on the territory of other states: social identities (common human identity vs national identity, secured national identity vs national narcissism), attitudes toward political authority (right-wing authoritarianism, political trust), and the perceived threat from adversary countries. We will show that common human identity is negatively related to the attitudes toward military companies, whereas national identity (especially national narcissism), positive attitudes toward political authorities (primarily right-wing authoritarianism), and perceived intergroup threat are positively related to them. In this review we will discuss the results obtained in various countries, primarily in the USA, several European countries, and Russia.

Keywords: attitudes toward war, military attitudes, national identity, collective narcissism, political trust, right-wing authoritarianism, perceived intergroup threat

Причины, протекание и последствия военных конфликтов рассматриваются в разных гуманитарных и социальных науках —

1 Olga A. Gulevich — Doctor of Sciences, professor at the department of psychology, head of Politics & Psychology Research Laboratory, HSE University

2 Evgeny N. Osin — Candidate of Sciences, associate professor at the department of psychology, HSE University

философии, политологии, социологии, психологии. Психологические исследования, посвященные этой теме, можно разделить на два типа. В исследованиях первого типа принимают участие солдаты, воюющие с оружием в руках, и мирные жители, которые стали жертвами военных действий. Исследователи анализируют психологические особенности, состояния и поведение этих людей во время и после войны. В исследованиях второго типа участвуют люди, которые не вовлечены в боевые действия, но, возможно, поддерживают одну из сторон. К ним относятся как жители воюющих стран, так и граждане других государств. Психологи изучают, каким образом эти люди воспринимают участников конфликта и как относятся к боевым действиям.

Цель этой статьи — провести обзор психологических исследований, посвященных отношению людей к военным действиям. Такие исследования появились в 70–80-х годах прошлого века и идут до сих пор. Ниже мы опишем основные направления изучения этого отношения, в том числе психологические факторы, предсказывающие отношение к войне у людей, которые не принимали непосредственного участия в боевых действиях. Как правило, это граждане страны, чья армия воюет на территории другого государства. Мы сфокусируемся на хорошо изученных факторах, которые были обнаружены сразу в нескольких странах, и сделаем акцент на исследованиях, которые были проведены в последние тридцать лет. Классификации и рисунки, использованные в статье, являются авторскими и созданы в рамках данного обзора.

33

Отношение к войне как направление психологического анализа

В психологии отношение к войне изучается на двух уровнях (рис. 1). Первый уровень — это отношение к конкретным военным кампаниям. Специалисты, работающие в этом направлении, изучают отношение людей к военным действиям, в которых принимают участие их страны. Как правило, речь идет о войнах, которые разворачиваются на территории других государств. Например, за последние сорок лет был проведен ряд исследований, в которых изучалось отношение людей к участию своей страны в военных действиях, идущих в Персидском заливе [например, Doty et al. 1997], Ираке [например, Crowson et al. 2005, 2006], бывшей Югославии [например, Cohrs, Moschner 2002], Сирии [например, Неврюев и др. 2018], Украине [например, Gulevich, Osin 2023] и некоторых других странах.

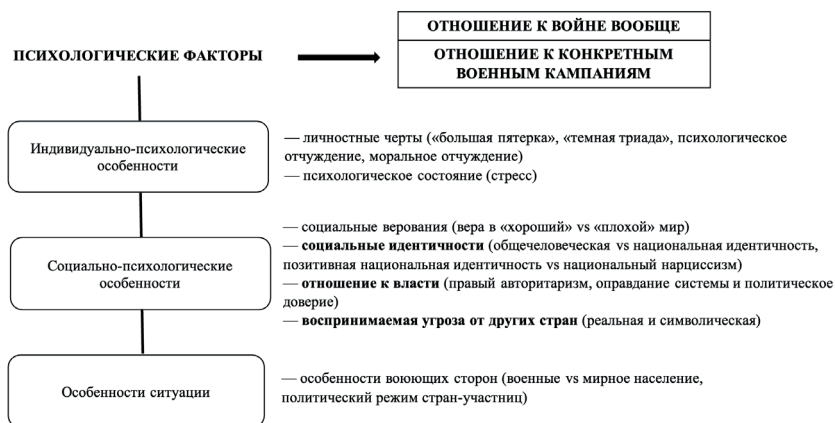


Рисунок 1. Психологические факторы отношения к войне
 Figure 1. Psychological factors of attitudes toward war

34

Второй уровень — это отношение к военным действиям в целом как к общему способу разрешения международных конфликтов. Одни ученые считают, что отношение к войне и к миру — это принципиально разные переменные, которые возникают при разных условиях и различным образом влияют на наше поведение [Bizumic et al. 2013]. Другие исследователи имплицитно полагают, что отношение к войне и миру — это два полюса одного континуума, и фокусируются на отношении к военным действиям [Неврюев 2018; Gulevich et al. 2020; Weise et al. 2008].

Два уровня отношения к войне связаны друг с другом. В частности, восприятие войны как эффективного и морально оправданного способа разрешения международных конфликтов улучшает отношение человека к военным кампаниям с участием своей страны [Jagodic 2000] и повышает готовность принять личное участие в подобных кампаниях [Bizumic et al. 2013]. Например, российское исследование, проведенное несколько лет назад, показало, что чем больше люди одобряли войну как способ решения международных конфликтов, тем больше они поддерживали оказание военной помощи, и тем меньше — оказание гуманитарной и политической помощи Сирии [Неврюев и др. 2018].

Исследования, проведенные за последние тридцать лет, позволили выделить некоторые факторы, которые предсказывают отношение людей к конкретным военным кампаниям и войне вообще. В целом эти факторы можно разделить на три группы: индивидуально-психологические особенности, социально-психологические особенности и характеристики ситуации (рис. 1).

К индивидуально-психологическим особенностям относятся личностные черты и психологическое состояние людей. Например, некоторые исследования продемонстрировали, что черты «большой пятерки» [Blumberg et al., 2017] и «темной триады» [Gulevich et al., 2023a; Linden et al., 2019], а также уровень стресса [Bizumic et al. 2013], психологическое отчуждение [Гулевич, Неврюев 2016] и отчуждение моральной ответственности (Gulevich et al 2023a) связаны с отношением к войне. Однако проведенные исследования имеют несколько ограничений. В частности, индивидуально-психологические особенности редко привлекают внимание ученых. Кроме того, эти характеристики больше связаны с отношением к войне как к способу разрешения международных конфликтов и к насилию против мирного населения, чем с отношением к конкретным военным кампаниям. И наконец, данные нестабильны: некоторые особенности связаны с отношением к войне в одних исследованиях [Bizumic et al. 2013; Blumberg et al., 2017], но не связаны в других [Gulevich et al., 2023b; Van der Linden et al., 2017].

К социально-психологическим особенностям относятся социальные верования [Crowson 2009; Gulevich et al. 2020; Gulevich, Osin 2023], ценности [Cohrs et al., 2005], общечеловеческая и национальная идентичность, отношение к власти и восприятие угрозы со стороны других стран. Причем некоторые исследования показывают, что вера в «хороший» (добрый, справедливый) и «плохой» (опасный, конкурентный) мир предсказывает идентификацию человека со своей страной и человечеством в целом [Неврюев и др. 2018; Gulevich, Osin 2023], а также отношение к власти [Crowson 2009; Gulevich et al. 2020]. Эти особенности, в свою очередь, предсказывают отношение к конкретным военным действиям¹.

К характеристикам ситуации относятся особенности участников военного конфликта. Например, американское исследование [Watkins, Laham 2020] показало, что люди считают убийство, совершенное солдатом (или убийство солдата), более допустимым, чем убийство, совершенное мирным жителем (или убийство мирного жителя). Кроме того, швейцарское исследование [Falomir-Pichastor

1 Парадоксально, что позитивное отношение к войне может стать результатом как позитивных, так и негативных социальных верований. В частности, люди, которые верят в «хороший» мир, сильнее идентифицируются со своей страной [Gulevich, Osin 2023]. Люди, которые верят в «плохой» (опасный) мир, более позитивно относятся к представителям власти [Gulevich et al. 2020]. Чем более позитивно люди относятся к своей стране и представителям власти, тем больше они поддерживают военные действия своей армии на чужой территории. Ниже мы поговорим об этих связях более подробно.

et al. 2012] продемонстрировало, что люди больше поддерживают военное вторжение, когда агрессором является придуманная демократическая, а жертвой — недемократическая страна, чем при трех других сочетаниях политических режимов. Однако это различие проявляется, только если, по мнению респондентов, жители придуманной демократической страны одобряют политику своего правительства. Тем не менее, в целом ситуативные характеристики привлекают мало внимания исследователей.

Ниже мы рассмотрим наиболее изученные социально-психологические факторы, которые предсказывают отношение людей к участию своей страны в конкретных военных кампаниях на территории других государств (первый уровень отношения). Решение об участии в таких военных конфликтах принимают представители действующей власти; военные действия так или иначе затрагивают всех жителей воюющей страны; мишенью этих действий являются другие государства. Вероятно, поэтому исследователи уделяют основное внимание трем психологическим факторам: (а) общечеловеческой и национальной социальной идентичности, (б) отношению к действующей власти и (в) отношению к стране, которая является потенциальным противником.

36

Социальная идентичность как фактор одобрения войны

Первый фактор, который предсказывает отношение к военным действиям, — это социальная идентичность. Психологи полагают, что люди могут воспринимать себя на трех уровнях: как уникальную личность (личная идентичность), как члена определенной социальной группы (частная групповая идентичность) и как члена более общей группы, объединяющей членов разных сообществ (общая групповая идентичность) [Turner, Reynolds 2012]. В данном случае нас интересуют второй и третий уровни самовосприятия, которые рассматриваются как социальная идентичность.

Социальная идентичность — это часть представления человека о себе, связанная с его или ее членством в определенной социальной группе. Чем больше люди идентифицируют себя с той или иной социальной группой, тем более позитивно они оценивают одноклассников, тем больше интересуются проблемами своего сообщества, тем чаще следуют его нормам, предпринимают действия, которые приносят пользу своей группе и защищают ее интересы. Однако интересы и нормы разных социальных групп отличаются друг от друга. Поэтому идентификация с разными группами приводит к разным, иногда противоположным последствиям.

Национальная идентичность vs общечеловеческая идентичность. В исследованиях, посвященных международным отношениям, проводится различие между национальной и общечеловеческой идентичностью человека. Национальная идентичность относится к восприятию человеком себя как гражданина конкретной страны, а общечеловеческая идентичность — как представителя человечества в целом [McFarland et al. 2019]. Таким образом, национальная идентичность — это второй уровень самовосприятия, а общечеловеческая идентичность — третий уровень.

Многочисленные исследования показали, что национальная и общечеловеческая идентичность приводят к разным последствиям. В частности, национальная идентичность положительно связана с поддержкой действий своей страны, оправданием ее политической и экономической систем [Luca et al. 2021; Vargas-Salfate et al. 2018], принятием официальных нарративов политических событий [Bilali 2014]. В то же время общечеловеческая идентичность положительно ассоциируется с озабоченностью глобальными проблемами и готовностью принимать меры для их решения [Katzarska-Miller et al. 2012; McFarland 2017; McFarland et al. 2012; McFarland, Hornsby 2015; Renger, Reese 2017; Reysen et al. 2013].

37

Кроме того, национальная идентичность связана с негативным отношением принимающего населения к «приезжим» (иностранцам, иммигрантам, беженцам). Этот эффект был обнаружен в разных странах мира — Франции [Adam-Troian et al. 2019], Австралии [Anderson, Ferguson 2018], Мальте [Bianco et al. 2022], Швейцарии [Dierckx et al. 2022] и Турции [Yitmen, Verkuyten 2018]. В то же время общечеловеческая идентичность ассоциируется с поддержкой прав человека [McFarland 2010, 2015, 2017; McFarland, Hornsby 2015; Reysen et al. 2013] и позитивным отношением к членам других этнических и национальных групп [McFarland et al. 2019].

В контексте международных отношений национальная и общечеловеческая идентичность по-разному связаны с отношением к войне. В частности, некоторые исследования показали, что национальная идентичность связана с одобрением военных действий против стран, которые воспринимаются как источник угрозы [Barnes et al. 2014]. Общечеловеческая идентичность, напротив, положительно связана с одобрением мирных переговоров и склонностью прощать другие страны [McFarland et al. 2019] и негативно связана с поддержкой участия своей страны в военных действиях на территории других государств [Reysen, Katzarska-Miller 2017].

Разное воздействие национальной и общечеловеческой идентичности становится особенно заметным, когда исследователи одновременно измеряют обе переменные. Например, в недавнем исследовании [Gulevich, Osin 2023a] российские респонденты заполняли

опросники для измерения российской и общечеловеческой идентичности, а затем выражали свое отношение к «специальной военной операции» на территории Украины и мобилизации. Результаты показали, что идентификация с Россией была позитивно связана с поддержкой военных действий, готовностью участвовать в них, а общечеловеческая идентичность — отрицательно, хотя первая связь была сильнее, чем вторая.

Позитивная национальная идентичность vs национальный нарциссизм. Некоторые исследователи проводят различие между двумя формами отношения людей к своей стране. Они выделяют позитивную (безопасную) национальную идентичность и национальный нарциссизм. Позитивная национальная идентичность — это ощущение человеком связи со своей страной и удовлетворенность принадлежностью к ней («моя страна — хорошая»). В то же время национальный нарциссизм — это вера в величие своей страны, которое недооценивается жителями других стран («моя страна — самая хорошая, но жители других стран этого не видят») [Golec de Zavala, Lantos 2020].

38

Психологические исследования показали, что в ряде стран (например, Польше, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландах, Португалии, США) национальный нарциссизм негативно связан с отношением к мигрантам и иностранцам. В то же время позитивная национальная идентичность позитивно связана с отношением к этим людям или вообще не связана с ним [Bertin et al. 2022; Cichocka et al. 2018; Golec de Zavala 2011; Golec de Zavala, Cichocka 2012; Golec de Zavala et al. 2013, 2020; Dyduch-Hazar et al. 2019; Górska et al. 2020, 2022; Guerra et al. 2022; Marchlewska et al. 2020; Verkuyten et al. 2022; Żemojtel-Piotrowska et al. 2020].

В международной сфере разница между позитивной национальной идентичностью и национальным нарциссизмом проявляется в отношении к другим странам. В частности, национальный нарциссизм негативно связан с готовностью к кооперации с другими странами в тяжелые периоды (например, во время массовых заболеваний) и с прощением других стран, которые ранее были врагами, но позитивно связан с одобрением военных действий против других стран, которые воспринимаются как источник угрозы для своей страны [Golec de Zavala et al. 2009; Gronfeldt et al. 2022; Hamer et al. 2018]. В то же время позитивная национальная идентичность не связана с прощением других групп [Hamer et al. 2018].

Однако, по-видимому, разница в эффектах позитивной национальной идентичности и национального нарциссизма в международной сфере изменяется от страны к стране. Например, в недавнем российском исследовании [Gulevich et al. 2023b] респонденты заполняли методики для измерения позитивной российской идентич-

ности и национального нарциссизма, а затем определяли степень, в которой они поддерживают проведение «специальной военной операции» и мобилизации. Результаты показали, что обе формы отношения к России — как позитивная идентичность, так и национальный нарциссизм — демонстрировали сопоставимые по силе позитивные связи с поддержкой военных действий и одобрением мобилизации.

Отношение к власти как фактор одобрения войны

Второй фактор, предсказывающий отношение к военным действиям, — это отношение к власти в стране. Исследователи измеряют это отношение двумя способами. С одной стороны, интерес вызывает относительно устойчивое отношение людей к власти как таковой. С другой стороны, ученые принимают во внимание отношение к власти, которая существует в данный момент. Психологические исследования показывают, что первый показатель связан с отношением к войне в разных странах, а второй показатель — по крайней мере, в некоторых государствах.

Отношение к власти как таковой: правый авторитаризм. Правый авторитаризм — это система представлений о том, как должно быть устроено общество. Он включает в себя три элемента: конвенционализм, авторитарное подчинение и авторитарную агрессию [Altemeyer 1988]. Конвенционализм — это одобрение и следование традиционным социальным нормам, которые якобы разделяются всем обществом; авторитарное подчинение — это готовность подчиняться любым представителям власти, которые считаются легитимными в той стране, в которой человек живет; авторитарная агрессия — это стремление наказать тех, кто не подчиняется власти, или тех, кого власть считает своими врагами¹.

Правый авторитаризм связан с оценками и поведением людей во внутренней и международной политике. С одной стороны, он позитивно связан с отношением к существующей в стране политической системе [Vargas-Salfate et al. 2018] и негативно — к политическим протестам [Lemieux, Asal 2010; Lemieux et al. 2017; Saeri et al. 2015; Sevi et al. 2021]. Кроме того, он негативно связан с соблюдением индивидуальных прав и свобод человека, но позитивно — с их ограничением, прежде всего при наличии внешней угрозы [Cohrs et al. 2007; Crowson, DeBacker 2008; Crowson et al 2005; Kossowska et al. 2011; McFarland, Mathews 2005; Swami et al. 2012].

1 В России этот компонент принимает форму «вера в сильную руку, которая может навести порядок в стране» [Гулевич и др. 2022].

С другой стороны, исследования, проведенные в разных странах, показали, что правый авторитаризм позитивно связан с отношением к участию своей страны в боевых действиях на территории других государств, например, к войне во Вьетнаме [Izzett 1971], Персидском заливе [Doty et al. 1997; Duncan, Stewart 1995], Ираке [Cohrs et al. 2005; Crowson et al. 2005, 2006; McFarland 2005], Югославии [Cohrs, Moschner 2002]. Аналогично серия наших исследований, проведенных летом 2022 года, продемонстрировала, что правый авторитаризм позитивно связан с отношением российских респондентов к «специальной военной операции» на территории Украины.

Отношение к действующей власти. Отношение к действующей власти — это широкий термин, который включает в себя целый ряд более узких конструктов, таких как «оправдание системы» [Jost 2020], «воспринимаемая политическая справедливость» [Tyler 2012], «политическое доверие» [Zmerli, Newton 2017], «политический популизм» [Gidengil, Stolle 2022]. Все эти показатели отражают отношение человека к тому, что происходит в политической сфере, но тем не менее изучаются по отдельности и в собственной логике. Основное внимание современных исследователей привлекают оправдание системы (вера в то, что дела в стране идут в правильном направлении) и политическое доверие (прежде всего доверие действующим политическим институтам).

Отношение к действующей власти предсказывает оценки и поведение людей в политической сфере. С одной стороны, чем больше люди доверяют политическим институтам своей страны, тем больше они поддерживают принятые ими решения. В частности, отношение к действующей власти положительно связано с явкой на выборы [Hooghe 2018; Hooghe, Marien 2013; Katsanidou, Eder 2016], голосованием за представителей действующей власти [Bélanger 2018; Hooghe 2018], но отрицательно связано с участием в политических протестах [Hooghe, Marien 2013; Hooghe, Quintelier 2013]. С другой стороны, чем позитивнее люди относятся к действующей власти, тем больше они одобряют ее действия в международных отношениях, в т.ч. военные действия [например, «специальную военную операцию в Украине» Gulevich et al., 2023a].

Воспринимаемая межгрупповая угроза как фактор одобрения войны

Воспринимаемая межгрупповая угроза — это вера людей в то, что другая группа представляет угрозу для сообщества, к которому они принадлежат [Stephan et al. 2009]. Исследователи выделяют две формы воспринимаемой угрозы — реальную и символическую. Реаль-

ная угроза — это вера людей в то, что другая группа может завладеть ресурсами, принадлежащими их сообществу, или нанести ему физический ущерб. Символическая угроза — это вера людей в то, что члены другой группы могут понизить статус, изменить ценности или образ жизни сообщества, к которому они принадлежат.

Воспринимаемая межгрупповая угроза оказывает негативное воздействие на отношение к другим сообществам [Riek et al. 2006]. Чем более сильную угрозу люди ощущают со стороны какой-либо группы, тем негативнее они относятся к ее представителям [Sagisati 2018]. Например, воспринимаемая реальная и символическая угроза от мигрантов негативно связана с отношением к ним в таких разных странах, как Австралия и Канада [Louis et al. 2013], Турция [Yitmen, Verkuyten 2018], Финляндия [Brylka et al. 2015], Франция [Badea et al. 2018] и Швейцария [Falomir-Pichastor, Frederic 2013]. Аналогично воспринимаемая угроза от других стран позитивно связана с одобрением военного вторжения на территорию этих государств [Gulevich et al. 2023b].

Обсуждение

41

Можно выделить два уровня, на которых психологи анализируют отношение людей к войне: отношение к конкретным военным кампаниям и к военным действиям как к общему способу разрешения международных конфликтов. Эти уровни, с одной стороны, отражают разные аспекты происходящего, но с другой — связаны друг с другом. В частности, восприятие войны как эффективного и морально оправданного способа разрешения международных конфликтов улучшает отношение человека к военным кампаниям на территории других государств и повышает готовность лично участвовать в них.

Психологические исследования показали, что факторы, которые предсказывают отношение к военным действиям, можно разделить на три группы: индивидуально-психологические особенности (например, личностные черты, психологическое отчуждение и отчуждение моральной ответственности), социально-психологические особенности и характеристики ситуации (участники — солдаты vs мирные жители, демократические vs недемократические страны). Наибольшее внимание ученых привлекли социально-психологические факторы: социальные верования (вера в «хороший» и «плохой» мир); отношение к человечеству (общечеловеческая идентичность); отношение к своей стране (позитивная национальная идентичность vs национальный нарциссизм); отношение к власти (правый авторитаризм, политическое доверие); восприятие реальной и символической угрозы со стороны других стран.

Тем не менее проведенные исследования имеют несколько разных ограничений (рис. 2). Во-первых, большинство исследователей полагают, что позитивное отношение к войне автоматически означает негативное отношение к миру, и наоборот. Однако некоторые исследования показывают, что отношение к войне и к миру — это принципиально разные переменные, которые возникают при разных условиях и приводят к разным последствиям. Например, психологическая основа отношения к миру — это стремление человека к международной гармонии и равенству, а основа отношения к войне — это стремление к национальной силе и порядку [Bizumic et al. 2013]. Поэтому сравнение психологических факторов и последствий отношения к войне и к миру может дать более полное представление о том, почему люди поддерживают военные действия.



Рисунок 2. Ограничения и направления будущих исследований
Figure 2. Limitations and directions for future research

Во-вторых, для разрешения международных конфликтов люди используют как военные действия, так и переговоры. Проведение переговоров — это популярная тема психологических исследований. Однако ученые фокусируются на поведении участников, а не на отношении наблюдателей, в данном случае — граждан, которые могут одобрять или не одобрять этот способ решения международных конфликтов. Как следствие, мы имеем представление о факторах и последствиях отношения к войне, но практически ничего не знаем о факторах и последствиях отношения к переговорам.

Изучение второй темы позволит понять, как люди делают выбор между войной и мирными переговорами.

В-третьих, психологи чаще изучают отношение людей к конкретным военным кампаниям, чем к войне как к способу решения международных конфликтов. С одной стороны, эти уровни взаимосвязаны друг с другом. С другой стороны, они зависят от разных факторов. Например, отношение к войне вообще может быть одним из проявлений отношения к насилию. В этом случае можно предположить, что оно больше зависит от индивидуально-психологических, но меньше — от социально-психологических и ситуационных факторов, чем отношение к конкретным военным кампаниям. Изучение отношения к войне вообще поможет лучше понять природу этого явления.

В-четвертых, психологи часто изучают отношение к военной кампании в целом или к насилию против людей, которые воюют с оружием в руках. В то же время они уделяют мало внимания отношению к действиям, которые направлены против мирных жителей (от мародерства до убийства). Между тем отдельные исследования показывают, что за одобрением разных действий стоят разные психологические факторы. Социально-психологические особенности предсказывают отношение к военной кампании в целом, а индивидуально-психологические — отношение к насилию против мирного населения [Gulevich et al 2023a]. Сравнение отношения к разным формам военного насилия даст возможность лучше понять, на чем строится отношение к войне.

В-пятых, психологи изучают разные факторы, предсказывающие отношение к военным действиям. В большинстве случаев они рассматривают эти факторы изолированно друг от друга. В то же время ситуация гораздо сложнее: некоторые исследования, проведенные в разных областях психологии, показали, что индивидуальные особенности людей могут взаимодействовать с характеристиками ситуации [Росс, Нисбетт 1999]. В нашем случае это означает, что одни и те же индивидуальные особенности могут по-разному предсказывать отношение к военным действиям против разных стран, при наличии разных причин и т. д. Таким образом, изучение взаимосвязей между факторами позволит уточнить условия, при которых люди одобряют или не одобряют военные действия.

Библиография / References

Гулевич О. А., Неврюев А. Н. (2016) Личностные детерминанты отношения к войне как способу решения международных конфликтов. *Вопросы психологии*, (3): 58-68.

— Gulevich O. A., Nevryuev A. N. (2016) Personal determinants of attitudes toward war as a way to resolve international conflicts. *Issues in Psychology*, (3): 58-68. — in Russ.

Гулевич О. А., Кривошеков В. С., Гусева В. В. (2022) Русскоязычный опросник для измерения правого авторитаризма: валидность и инвариантность. *Психологические исследования*, в печати.

— Gulevich O. A., Krivoshchekov V. S., Guseva V. V. (2022) Russian-language questionnaire for measuring right-wing authoritarianism: validity and invariance. *Psychological Research*, in press. — in Russ.

Неврюев А. Н. (2018) Разработка опросника для изучения аттитудов к войне как к способу разрешения международных конфликтов. *Психология. Журнал Высшей школы экономики*, 15 (3): 464-476.

— Nevryuev A. N. (2018) Development of a questionnaire to study attitudes towards war as a way to resolve international conflicts. *Psychology. Journal of the Higher School of Economics*, 15(3): 464-476. — in Russ.

Неврюев А. Н., Гулевич О. А., Некрасова Е. А. (2018) Вера в справедливый мир, гражданская идентичность и социальная установка по отношению к войне (на примере гражданской войны в Сирии). *Психологический журнал*, 39 (4): 17-26.

44

— Nevryuev A. N., Gulevich O. A., Nekrasova E. A. (2018) Faith in a just world, civic identity and social attitude towards war (on the example of the civil war in Syria). *Psychological Journal*, 39(4): 17-26. — in Russ.

Росс Л., Нисбетт Р. (1999) *Человек и ситуация. Перспективы социальной психологии*, М.: Аспект Пресс.

— Ross L., Nisbett R. (1999) *Person and situation. Perspectives of social psychology*, М.: Aspect Press. — in Russ.

Adam-Troian J., Arciszewski T., Apostolidis T. (2019) National identification and support for discriminatory policies: the mediating role of beliefs about laïcité in France. *European Journal of Social Psychology*, 49 (5): 924-937.

Anderson J., Ferguson R. (2018) Demographic and ideological correlates of negative attitudes towards asylum seekers: a meta-analytic review. *Australian Journal of Psychology*, 70 (1): 18-29.

Badea C., Iyer A., Aebischer V. (2018) National identification, endorsement of acculturation ideologies and prejudice: the impact of the perceived threat of immigration. *International Review of Social Psychology*, 31 (1): article 14.

Barnes C. D., Brown R. P., Lenes J., Bosson J., Carvallo M. (2014) My country, my Self: honor, identity, and defensive responses to national threats. *Self and Identity*, 13 (6): 638-662.

Bélanger É. (2018) Political trust and voting behaviour. S. Zmerli, T. W. G. van der Meer (eds) *Handbook on Political Trust*, Edward Elgar Publishing.

Bertin P., Marinthe G., Biddlestone M., Delouvée S. (2022) Investigating the identification-prejudice link through the lens of national narcissism: the role of defensive group beliefs. *Journal of Experimental Social Psychology*, 98: 104252.

- Bianco F., Kosic A., Pierro A. (2022) The mediating role of national identification, binding foundations and perceived threat on the relationship between need for cognitive closure and prejudice against migrants in Malta. *Community & Applied social Psychology*, 32 (2): 172-185.
- Bilali R. (2014) The downsides of national identification for minority groups in intergroup conflicts in assimilationist societies. *British Journal of Social Psychology*, 53 (1): 21-38.
- Bizumic B., Stubager R., Mellon S., Van der Linden N., Iyer R., Jones B. M. (2013) (In) compatibility of attitudes toward peace and war. *Political Psychology*, 34 (5): 673-693.
- Blumberg H. H., Zeligman R., Appel L., Tibon-Czopp S. (2017) Personality dimensions and attitudes towards peace and war. *Journal of Aggression, Conflict and Peace Research*, 9 (1): 13-23.
- Brylka A., Mähönen T. A., Jasinskaja-Lahti I. (2015) National identification and attitudes towards Russian immigrants in Finland: Investigating the role of perceived threats and gains. *Scandinavian Journal of Psychology*, 56 (6): 670-677.
- Caricati L. (2018) Perceived threat mediates the relationship between national identification and support for immigrant exclusion: a cross-national test of intergroup threat theory. *International Journal of Intercultural Relations*, 66: 41-51.
- Cichocka A., de Zavala A. G., Marchlewska M., Bilewicz M., Jaworska M., Olechowski M. (2018) Personal control decreases narcissistic but increases non-narcissistic in-group positivity. *Journal of Personality*, 86 (3): 465-480.
- Cohrs J. C., Maes J., Moschner B., Kielmann S. (2007) Determinants of human rights attitudes and behavior: a comparison and integration of psychological perspectives. *Political Psychology*, 28 (4): 441-469.
- Cohrs C., Moschner B. (2002) Antiwar knowledge and generalized political attitudes as determinants of attitude toward the Kosovo War. *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology*, 8 (2): 139-155.
- Cohrs J. C., Moschner B., Maes J., Kielmann S. (2005) Personal values and attitudes toward war. *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology*, 11 (3): 293-312.
- Crowson H. M. (2009) Right-wing authoritarianism and social dominance orientation: As mediators of worldview beliefs on attitudes related to the war on terror. *Social Psychology*, 40(2): 93-103.
- Crowson H. M., DeBacker T. K. (2008) Belief, motivational, and ideological correlates of human rights attitudes. *The Journal of Social Psychology*, 148 (3): 293-310.
- Crowson H. M., DeBacker T. K., Thoma S. J. (2005) Does authoritarianism predict post-9/11 attitudes? *Personality and Individual Differences*, 39 (7): 1273-1283.
- Crowson H. M., Debacker T. K., Thoma S. J. (2006) The role of authoritarianism, perceived threat, and need for closure or structure in predicting post-9/11 attitudes and beliefs. *Journal of Social Psychology*, 146 (6): 733-750.
- Dierckx K., Politi E., Valcke B., van Assche J., Van Hiel A. (2022) The “ironic” fair process effect: a perceived fair naturalization procedure spurs anti-immigration attitudes through increased host national identification among naturalized citizens. *Group Processes & Intergroup Relations*, 25 (2): 379-398.

Doty R. M., Winter D. G., Peterson B. E., Kimmelmeier M. (1997) Authoritarianism and American students' attitudes about the Gulf War, 1990–1996. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 23 (11): 1133–1143.

Duncan L. E., Stewart A. J. (1995) Still bringing the Vietnam War home: sources of contemporary student activism. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 21 (9): 914–924.

Dyduch-Hazar K., Mrozinski B., Golec de Zavala A. (2019) Collective narcissism and in-group satisfaction predict opposite attitudes toward refugees via attribution of hostility. *Frontiers in Psychology*, 10: article 1901.

Falimir-Pichastor J. M., Frederic N. S. (2013) The dark side of heterogeneous ingroup identities: National identification, perceived threat, and prejudice against immigrants. *Journal of Experimental Social Psychology*, 49 (1): 72–79.

Falimir-Pichastor J. M., Staerkle C., Pereira A., Butera F. (2012) Democracy as justification for waging war: the role of public support. *Social Psychological and Personality Science*, 3 (3): 324–332.

Gidengil E., Stolle D. (2022) Populism. D. Osborne, C. Sibley (eds) *The Cambridge Handbook of Political Psychology*, Cambridge University Press.

Golec de Zavala A. G. (2011) Collective narcissism and intergroup hostility: the dark side of “in-group love”. *Social and Personality Psychology Compass*, 5 (6): 309–320.

46

Golec de Zavala A., Cichocka A. (2012) Collective narcissism and anti-semitism in Poland. *Group Processes & Intergroup Relations*, 15 (2): 213–229.

Golec de Zavala A., Cichocka A., Bilewicz M. (2013) The paradox of in-group love: differentiating collective narcissism advances understanding of the relationship between in-group and out-group attitudes. *Journal of Personality*, 81 (1): 16–28.

Golec de Zavala A., Cichocka A., Eidelson R., Jayawickreme N. (2009) Collective narcissism and its social consequences. *Journal of Personality and Social Psychology*, 97 (6): 1074–1096.

Golec de Zavala A., Lantos D. (2020) Collective narcissism and its social consequences: the bad and the ugly. *Current Directions in Psychological Science*, 29 (3): 273–278.

Golec de Zavala A. G., Federico C. M., Sedikides C., Guerra R., Lantos D., Mroziński B., Cypryańska M., Baran T. (2020) Low self-esteem predicts out-group derogation via collective narcissism, but this relationship is obscured by in-group satisfaction. *Journal of Personality and Social Psychology*, 119 (3): 741–764.

Górska P., Stefaniak A., Malinowska K., Lipowska K., Marchlewska M., Budziszewska M., Maciantowicz O. (2020) Too great to act in solidarity: the negative relationship between collective narcissism and solidarity-based collective action. *European Journal of Social Psychology*, 50 (3): 561–578.

Górska P., Stefaniak A., Marchlewska M., Matera J., Kocyba P., Łukianow M., Malinowska K., Lipowska K. (2022) Refugees unwelcome: narcissistic and secure national commitment differentially predict collective action against immigrants and refugees. *International Journal of Intercultural Relations*, 86: 258–271.

Gronfeldt B., Cislak A., Sternisko A., Eker I., Cichocka A. (2022) A small price to pay: national narcissism predicts readiness to sacrifice in-group members to defend the in-group's image. *Personality and Social Psychology Bulletin*.

- Guerra R., Bierwiazzonek K., Ferreira M., Golec de Zavala A., Abakoumkin G., Wildschut T., Sedikides C. (2022) An intergroup approach to collective narcissism: intergroup threats and hostility in four European Union countries. *Group Processes & Intergroup Relations*, 25 (2): 415-433.
- Gulevich O., Nevruiev A., Sarieva I. (2020) War as a method of conflict resolution: the link between social beliefs, ideological orientations, and military attitudes in Russia. *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology*, 26 (2): 192-201.
- Gulevich O., Osin E. (2023) Generalized trust and military attitudes in Russia: the role of national and global human identification. *British Journal of Social Psychology*, 62 (3): 1566-1579.
- Gulevich O., Osin E., Chernov D. (2023a) Dark Triad and the attitude towards violence against civilians: the role of moral disengagement. *Journal of Personality and Social Psycholog.* Under review.
- Gulevich O., Osin E., Chernov D. (2023b). Perceived intergroup threat and military attitudes in Russia: The role of secure national identification and national narcissism. *Group Processes and Intergroup Relations*. Under review.
- Hamer K., Penczek M., Bilewicz M. (2018) Between universalistic and defensive forms of group attachment. the indirect effects of national identification on intergroup forgiveness. *Personality and Individual Differences*, 131: 15-20.
- Hooghe M. (2018) Trust and elections. E. M. Uslaner (ed.) *The Oxford Handbook of Social and Political Trust*, Oxford University Press.
- Hooghe M., Marien S. (2013) A comparative analysis of the relation between political trust and forms of political participation in Europe. *European Societies*, 15 (1): 131-152.
- Hooghe M., Marien S. (2010) Does political trust matter? An empirical investigation into the relation between political trust and support for law compliance. *European Journal of Political Research*, 50 (2): 267-291.
- Hooghe M., Quintelier E. (2014) Political participation in European countries: the effect of authoritarian rule, corruption, lack of good governance and economic downturn. *Comparative European Politics*, 12 (2): 209-232.
- Izzett R. R. (1971) Authoritarianism and attitudes toward the Vietnam War as reflected in behavioral and self-report measures. *Journal of Personality and Social Psychology*, 17 (2): 145-148.
- Jagodic G. K. (2000) Is war a good or a bad thing? The attitudes of Croatian, Israeli, and Palestinian children toward war. *International Journal of Psychology*, 35: 241-257.
- Jost J. T. (2020) *A theory of system justification*, Harvard University Press.
- Katsanidou A., Eder C. (2016) Vote, party, or protest: the influence of confidence in political institutions on various modes of political participation in Europe. *Comparative European Politics*, 16: 290-309.
- Katzarska-Miller I., Reysen S., Kamble S. V., Vithoji N. (2012) Cross-national differences in global citizenship: comparison of Bulgaria, India, and the United States. *Journal of Globalization Studies*, 3 (2): 166-183.

Kossowska M., Trejtowicz M., Goodwin R. (2011) Relationships between right-wing authoritarianism, terrorism threat, and attitudes towards restrictions of civil rights: a comparison among four European countries. *British Journal of Psychology*, 102 (2): 245-259.

Lemieux A. F., Asal V. H. (2010) Grievance, social dominance orientation, and authoritarianism in the choice and justification of terror versus protest. *Dynamics of Asymmetric Conflict*, 3: 194-207.

Lemieux A. F., Kearns E. M., Asal V., Walsh J. I. (2017) Support for political mobilization and protest in Egypt and Morocco: an online experimental study. *Dynamics of Asymmetric Conflict*, 10 (2-3): 124-142.

Lindén M., Björklund F., Bäckström M., Messervey D., Whetham D. (2019). A latent core of dark traits explains individual differences in peacekeepers' unethical attitudes and conduct. *Military Psychology*, 31 (6): 499-509.

Louis W. R., Esses V. M., Lalonde R. N. (2013) National identification, perceived threat, and dehumanization as antecedents of negative attitudes toward immigrants in Australia and Canada. *Journal of Applied and Social Psychology*, 43 (S2): E156-E165.

Luca C., Kevin O. C., Chiara B. (2021) Do superordinate identification and temporal/social comparisons independently predict citizens' system trust? Evidence from a 40-nation survey. *Frontiers in Psychology*, 12.

48

Marchlewska M., Cichocka A., Jaworska M., Golec de Zavala A., Bilewicz M. (2020) Superficial ingroup love? Collective narcissism predicts ingroup image defense, outgroup prejudice, and lower ingroup loyalty. *The British Journal of Social Psychology*, 59 (4): 857-875.

McFarland S. (2010) Personality and support for universal human rights: a review and test of a structural model. *Journal of Personality*, 78 (6): 1735-1763.

McFarland S. (2015) Culture, individual differences, and support for human rights: a general review. *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology*, 21 (1): 10-27.

McFarland S. (2017) Identification with all humanity: the antithesis of prejudice, and more. S. G. Sibley, F. K. Barlow (eds) *Cambridge Handbook on the Psychology of Prejudice*, New York, NY: Cambridge University Press: 632-654.

McFarland S. G. (2005) On the eve of war: authoritarianism, social dominance, and American students' attitudes toward attacking Iraq. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 31 (3), 360-367.

McFarland S., Hackett J., Hamer K., Katzarska-Miller I., Malsch A., Reese G., Reysen S. (2019) Global human identification and citizenship: a review of psychological studies. *Political Psychology*, 40 (Suppl 1): 141-171.

McFarland S. G., Hornsby W. (2015) An analysis of five measures of global human identification. *European Journal of Social Psychology*, 45 (7): 806-817.

McFarland S., Mathews M. (2005) Who cares about human rights? *Political Psychology*, 26 (3): 365-385.

Renger D., Reese G. (2017) From equality-based respect to environmental activism: antecedents and consequences of global identity. *Political Psychology*, 38 (5): 867-879.

Reysen S., Katzarska-Miller I. (2017) Superordinate and subgroup identities as predictors of peace and conflict: the unique content of global citizenship identity. *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology*, 23 (4): 405-415.

Reysen S., Pierce L., Spencer C., Katzarska-Miller I. (2013) Exploring the content of global citizenship identity. *Journal of Multiculturalism in Education*, 9 (1): 1-31.

Saeri A. K., Iyer A., Louis W. R. (2015) Right-wing authoritarianism and social dominance orientation predict outsiders' responses to an external group conflict: implications for identification, anger, and collective action. *Analyses of Social Issues and Public Policy*, 15: 303-332.

Sevi B., Altman N., Ford C. G., Shook N. J. (2021) To kneel or not to kneel: right-wing authoritarianism predicts attitudes toward NFL kneeling protests. *Current Psychology*, 40: 2948-2955.

Swami V., Nader I. W., Pietschnig J., Stieger S., Tran U. S., Voracek M. (2012) Personality and individual difference correlates of attitudes toward human rights and civil liberties. *Personality and Individual Differences*, 53 (4): 443-447.

Turner J. C., Reynolds K. J. (2012) Self-categorization theory. P. A. M. Van Lange, A. W. Kruglanski, E. T. Higgins (eds) *Handbook of Theories of Social Psychology*, Sage Publications Ltd.: 399-417.

Tyler T. R. (2012) Justice theory. P. A. M. Van Lange, A. W. Kruglanski, E. T. Higgins (eds) *Handbook of Theories of Social Psychology*, Thousand Oaks, CA: Sage.

Van der Linden N., Leys C., Klein O., Bouchat P. (2017) Are attitudes toward peace and war the two sides of the same coin? Evidence to the contrary from a French validation of the Attitudes Toward Peace and War Scale. *PLoS One*, 12 (9): e0184001.

Van Hiel A., Onraet E., Bostyn D. H., Stadeus J., Haesevoets T., Van Assche J., Roets A. (2020) A meta-analytic integration of research on the relationship between right-wing ideological attitudes and aggressive tendencies. *European Review of Social Psychology*, 31: 183-221.

Vargas-Salfate S., Paez D., Liu J. H., Pratto F., Gil de Zúñiga H. (2018) A comparison of social dominance theory and system justification: the role of social status in 19 nations. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 44 (7): 1060-1076.

Verkuyten M., Kollar R., Gale J., Yogeeswaran K. (2022) Right-wing political orientation, national identification and the acceptance of immigrants and minorities. *Personality and Individual Differences*, 184: article 111217.

Watkins H. M., Laham S. M. (2020) The principle of discrimination: investigating perceptions of soldiers. *Group Processes & Intergroup Relations*, 23: 3-23.

Weise D. R., Pyszczynski T., Cox C. R., Arndt J., Greenberg J., Solomon S., Kossloff S. (2008) Interpersonal politics: the role of terror management and attachment processes in shaping political preferences. *Psychological Science*, 19 (5): 448-455.

Yitmen S., Verkuyten M. (2018). Feelings toward refugees and non-Muslims in Turkey: the roles of national and religious identifications, and multiculturalism. *Journal of Applied Social Psychology*, 48 (2): 90-100.

Żemojtel-Piotrowska M., Sawicki A., Jonason P. K. (2020) Dark personality traits, political values, and prejudice: testing a dual process model of prejudice towards refugees. *Personality and Individual Differences*, 166: article 110168.

Zmerli S., Newton K. (2017) Objects of political and social trust: scales and hierarchies. S. Zmerli, T. W. G. van der Meer (eds) *Handbook on Political Trust*, Edward Elgar Publishing.

Рекомендация для цитирования:

Гулевич О. А., Осин Е. Н. (2023) Психологические факторы отношения к войне: теоретический обзор. *Социология власти*, 35 (1): 31-50.

For citations:

Gulevich O. A., Osin E. N. (2023) Psychological Factors Underlying Attitudes toward War: A Theoretical Review. *Sociology of Power*, 35 (1): 31-50.

Поступила в редакцию: 16.02.2022; принята в печать: 15.03.2022

Received: 16.02.2022; Accepted for publication: 15.03.2022

Археология городского конфликта: от Платона к Анри Лефевру

doi: 10.22394/2074-0492-2023-1-51-70

Резюме:

Статья представляет собой анализ западной традиции, связанной с проблемой конфликта в городском контексте. В ней анализируется проблематика городской справедливости, исходя из топизации, связанной с политической философией Платона. В статье обосновывается естественность состояния войны и конфликта в городской среде. Город показан как первичное политическое поле, примордиальный политический локус, внутри которого зашит гражданский конфликт. Согласно Платону, конфликт пронизывает не только полисы, но и индивидов, домохозяйства и деревни. Лекарством от этой всеохватной войны является правильная организация конфликтующих частей на основе справедливости, так как она представляет собой состояние реализованного всеобщего блага как идеала целостности. Как показало историко-антропологическое исследование Н. Лоро, вспомогательными культурными механизмами преодоления городского конфликта служат клятва и учреждение общегородского праздника. Промежуточным звеном анализируемой цепочки идей служит политическая философия Т. Гоббса, в рамках которой политическое выносятся за пределы города, но город продолжает оставаться потенциально конфликтным. А. Лефевр показан как неочевидный наследник Платона в урбанистической теории. Концепция права на город Лефевра, актуальная и в настоящее время, оказывается тесно связанной с политической эстетикой. Жители города противопоставляются мобильной элите, фактически не живущей в городе, но обладающей на него всей полнотой прав. Город понимается как художественное произведение, а подлинная городская жизнь может быть создана только практическим коллективным усилием горожан и выражается в виде Праздника, абсолютного события, исключающего принуждение капиталистической логики. Для современных академических дискуссий характерно напряжение между дискурсивным (С. Файнштейн) и практическим (Д. Харви) пониманиями справедливости в городе.

51

1 Карчагин Евгений Владимирович — доктор философских наук, заведующий кафедрой философии, социологии и психологии ВолгГТУ. Область научных интересов: теоретические и прикладные исследования справедливости, социальные исследования города. E-mail: evkarchagin@gmail.com

Ключевые слова: город, справедливость, конфликт, Анри Лефевр, Платон, Томас Гоббс, антропология, политическая философия

Evgeny V. Karchagin¹

Volgograd State Technical University, Russia

The Archaeology of Urban Conflict: From Plato to Henri Lefebvre

Abstract:

The article provides an analysis of the Western tradition related to the problem of conflict in the urban context. It analyzes problems of urban justice based on the topization associated with Plato's political philosophy. The article substantiates the naturalness of the state of war and conflict in the urban environment. The city is shown as a primary political field, a primordial political locus, within which civil conflict is embedded. According to Plato, conflict permeates not only poleis, but also individuals, households and villages. The cure for this all-encompassing war is the correct organization of the conflicting parts based on justice, since it represents a state of realized universal good based on the ideal of integrity. As N. Loraux's historical and anthropological research has shown, the oath and the establishment of a citywide fest serve as auxiliary cultural mechanisms for overcoming urban conflict. The intermediate link of the chain of ideas is the political philosophy of Thomas Hobbes, in which the political is taken out of the city, but the city continues to be potentially conflictual. Henry Lefebvre is shown as an unobvious heir of Plato in urban theory. The concept of the right to the city, which is still relevant today, turns out to be closely related to political aesthetics. Residents of the city are opposed to the mobile elite, who do not actually inhabit the city, but have full rights to it. The city is understood as an oeuvre, while genuine urban life can be created only by the practical collective effort of citizens and is expressed in the form of a Fest, an absolute event that excludes the coercion of capitalist logic. Contemporary academic discussions are characterized by tension between discursive (S. Feinstein) and practical (D. Harvey) understandings of justice in the city.

Keywords: city, justice, conflict, Henry Lefebvre, Plato, Thomas Hobbes, anthropology, political philosophy

Введение

От начала теоретического осмысления справедливости в древне-греческой философии город выступал как важная теоретическая рамка, а представления о справедливо устроенном обществе

1 Karchagin Evgeny Vladimirovich — Doctor of Philosophy Sciences, Head of the Department of Philosophy, Sociology and Psychology, VolgGTU. Research interests: theoretical and applied studies of justice, social studies of the city. E-mail: evkarchagin@gmail.com

локализовались в пространстве города. Самый известный пример — сочинения Платона. Город Солнца Т. Кампанеллы и Утопия Т. Мора как конфедерация городов продолжают логику платоновской утопии «Государства» и Атлантиды «Тимея» и «Крития». Для этих проектов характерно отождествление города и государства, а город выступал моделью мира¹. При этом Атлантида представляет собой не эутопию, а реалистическую утопию, давшую начало и традиции дистопии.

Тема города значима не только для эллинской традиции, но и для библейской, что выражает одно из оснований единства европейской иудео-христианской традиции. В библейском нарративе город выступает исходной точкой для человеческой цивилизации. Братоубийца Каин основывает первый город², затем он и его потомки создают ремесла, искусство и т. д. Можно привести также величественные образы Иерусалима, Вавилона, имеющие исторический и аллегорический смысл. Так, Вавилон олицетворяет предельный смысл мирского разложения, тогда как Небесный Иерусалим представляет собой образ совершенного и бесконфликтного города. Таким образом, хрестоматийное тертуллиановское противопоставление Афин и Иерусалима, с одной стороны, подсвечивает идеологическую разницу традиций, а с другой стороны, в сущности, демонстрирует смысловой размах европейской цивилизации, появившийся благодаря римским завоеваниям. Кроме того, и сам Рим, получивший под свое начало и Афины и Иерусалим, есть империя одного города.

53

Политика и сегодня описывается в логике государственных столиц. Тем самым городской контекст не досужая вещь. Городская проблематика стоит за политикой, этикой и социальной философией в самом широком смысле слова и составляет прошлое и будущее политической жизни и политической философии.

В статье содержится анализ западной философской традиции, связанной с проблемой конфликта в городском контексте. В ней прослеживается связь философской рефлексии античного полиса и эффектов урбанизации новейшего времени. Промежуточным звеном данной цепочки идей служит политическая философия Т. Гоббса. Задача текста — показать город как примордиальный локус

1 В научной литературе еще не получили достаточного осмысления градостроительные аспекты указанных утопических проектов, включая вопросы социально-пространственного устройства городских территорий в классических произведениях европейской утопической литературы.

2 Урбогенетические мифы, то есть повествования об основании городов, зачастую содержат рассказ о каком-либо конфликте. История Города всегда при этом связана «с бездной» [Топоров 1980: 5].

(не)справедливости, и тем самым обрисовать глубинные антропологические истоки конфликта на городском материале.

Политическая философия городской справедливости

Урбанистические истоки конфликтов за счет обращения к теме справедливости неизбежно приобретают политический акцент. Л. Штраус показывает, что Человек и Город — это исток политической философии, притом что: «В своей изначальной форме политическая философия в широком понимании есть ядро философии, или, скорее, “первая философия”» [Штраус 2021: 108]. Сократ объявляется основателем политической философии, а Аристотель «основателем политической науки — как одной из ряда дисциплин» [Там же: 109].

54

Штраус сосредотачивается на анализе произведений Платона, Аристотеля и что менее ожидаемо — Фукидида. Отметим два места данного анализа. Так, по мысли Аристотеля: «город — это естественное объединение *rag excellence*. Город от природы, иначе говоря, он естественен для человека; основывая города, люди только исполняют то, к чему их подталкивает природа. Люди по природе склонны к городу, потому что по природе склонны к счастью, к такому совместному образу жизни, который удовлетворяет потребности их природы пропорционально естественному рангу этих потребностей» [Там же: 147]. Однако эта естественность жизни в городах имеет изнанку. Для Аристотеля проблемой оказывается, к примеру, смена политического режима, которая преобразует данный город в другой город. «Разнообразие особых общественных моралей или режимов неизбежно поднимает вопрос о лучшем из них, поскольку каждый режим претендует на то, что он самый лучший» [Там же: 161]. Фукидид показывает и другую изнанку естественности городской жизни. «Город не является ни самодостаточным, ни, в сущности, частью хорошего или справедливого порядка, состоящего из многих или всех городов: отсутствие порядка, чем с необходимостью характеризуется “сообщество” городов, иными словами, вездесущность Войны, задает значительно более низкий потолок высочайшим устремлениям любого города в направлении справедливости и добродетели, чем может допускать классическая политическая философия» [Там же: 498].

Иными словами, соперничество режимов или политических моралей есть лишь производное естественного состояния войны. Удел человеческий, *human condition* — в том, чтобы всегда находиться в перспективе конфликта. Лекарством против естественного состояния конфликта и разлада будет воплощенная справедливость. У Д. Юма есть прекрасная формулировка «обстоятельств» справед-

ливости: «Увеличьте до известной степени благожелательность людей или же щедрость природы, и вы сделаете справедливость бесполезной, заменив ее гораздо более благородными добродетелями и более ценными благами... <...> справедливость обязана своим происхождением только эгоизму и ограниченному великодушию людей, а также той скупости, с которой природа удовлетворила их нужды» [Юм 1996: 258, 259]. Тем самым мы получаем условия для ситуаций, в которых возникает потребность в справедливости: дефицит благ и великодушия. Далее мы рассмотрим город как пространство реализации данных обстоятельств.

Греческая политейя, или О справедливости

Аристотель определяет человека как «политическое или общественное животное» (πολιτικὸν ζῷον) [Аристотель 1253a]. При всех различиях люди тяготеют друг ко другу и нуждаются в совместной жизни и общении (κοινωνία), которое составляет сущность человеческой жизни [Там же 1252a]. В этом смысле реализация человеческой природы — это создание таких конгломератов, созданных из людей. Каким же должен быть полис? Согласно греческой этике, чтобы функционировать правильным образом, он должен иметь особую добродетель (ἀρετή), должен быть добротным. Полис должен обладать определенным свойством, которое как раз выступает в подзаголовке полного названия центрального диалога Платона: «Государство (Политейя), или О справедливости». Соответственно, базовой добродетелью, ценностью, смыслом, целью или свойством, совместной жизни людей является справедливость. Тем самым справедливость составляет ключевое понятие и политической, и моральной, и социальной философии. Люди должны жить справедливо — это базовый принцип того, что такое совершенная совместная жизнь людей и что такое совершенный человек.

55

Для Платона главный вопрос — это справедливость человеческой души, но этот вопрос масштабируется до уровня полиса: «отдельный человек бывает таким же образом, каким осуществляется справедливость в государстве» [Платон 441d]. Город выступает как проекция души, и в целом идея и образ миропорядка строится на антропологической основе. Конфликт — это столкновение самостоятельных начал на общем поле. Городской конфликт имеет антропологическое измерение, поскольку внутри него, аналогично индивиду, происходит борьба разных начал (вожделения, гнева и разума). Только справедливость позволяет сделать человека и город целостным. Справедливость — это идея организации целого. Основание государства производится исходя из целостного видения и «...непрерывно во имя целого. Так вот это целое и есть справедливость или

какая-то ее разновидность». Справедливость — это такое положение дел, каждая часть целого находится на своем месте, занимается своим и не переходит за границу своего и чужого. Справедливость: это «заниматься своим делом и не вмешиваться в чужие», когда «каждый делает свое, не разбрасываясь и не вмешиваясь в посторонние дела», «...справедливость состоит в том, чтобы каждый имел свое и исполнял тоже свое» [433], «и каждый из нас только тогда может быть справедливым и выполнять свое дело, когда каждое из имеющих в нас [начал] выполняет свое» [441e].

Платоновский полис должен быть счастлив в целом, то есть речь не идет об особенном счастье отдельного сословия, то есть высшего и правящего [420bc]. При этом у такого счастья есть своего рода количественные пределы: «Государство можно увеличивать лишь до тех пор, пока оно не перестает быть единым, но не более этого» [423c]¹. Правильно организованная жизнь высших сословий не приводит к раздорам: «они не будут склонны к распрям, которые так часто возникают у людей из-за имущества или по поводу детей и родственников» [464e]. Наилучшее устройство государства, где граждане единодушны в распознавании своего и чужого: «где большинство говорит <...> об одном и том же: “Это — мое!” или “это — не мое!”» [462c], у них «общие радости или горе» [464a]. И наоборот: «большее зло для государства» — «то, что ведет к потере его единства и распадению на множество частей» [462b]. Справедливость выступает как идея неконфликтующего города.

В противоположность этому несправедливость связана с утратой дееспособности целого, она приводит к невозможности совершать действия:

«А силу она [несправедливость] имеет, как видно, какую-то такую, что, где бы несправедливость ни возникла — в государстве ли, в племени, в войске или в чем-либо ином, — она прежде всего делает невозможным действия этих групп, поскольку эти действия сопряжены с ней самой — ведь она ведет к раздорам, к разногласиям, внутренней и внешней вражде, в том числе и к справедливому противнику (στασιάζειν καὶ διαφέρεσθαι, ἔτι δ' ἐχθρὸν εἶναι ἑαυτῷ τε καὶ τῷ ἐναντίῳ παντὶ καὶ τῷ δίκαιῳ). <...> Даже возникая в одном человеке, она производит все то, что ей свойственно совершать. Прежде всего она делает его бездей-

1 Эту же мысль Аристотель развивает в «Политике»: «Для того чтобы выносить решения на основе справедливости и для того чтобы распределять должности по достоинству, граждане непременно должны знать друг друга — какими качествами они обладают; где этого не бывает, там и с замещением должностей, и с судебными разбирательствами дело неизбежно обстоит плохо. Ведь и в том и в другом случае действовать необдуманно — несправедливо, а это явно имеет место при многолюдстве» [Аристотель 1326b].

ственным, так как он в раздоре и разладе с самим собой (στασιάζοντα καὶ οὐχ ὁμονοοῦντα αὐτὸν ἑαυτῷ), он враг и самому себе, и людям справедливым» (352a).

Несправедливость вызывает «раздоры, ненависть, междоусобицы» (στάσεις ... καὶ μίση καὶ μάχας), а справедливость — единодушие и дружбу» (ὁμόνοιαν καὶ φιλίαν) [351d].

Конфликт вписан в городскую ткань несколькими способами. Платон указывает на три вида городского конфликта (шире — войны): 1) город против деревни; 2) конфликт между городами; 3) конфликт внутри города. Он запрещает во время войны обращать в рабство эллинов, опустошать эллинские земли и сжигать дома, аргументируя это особым статусом «разногласия» (διαφορά): среди своих оно именуется раздором (στάσις), с чужими — войной (πόλεμος) [470b]. При раздорах нельзя забывать, что «цель — заключение мира; не вечно же им воевать!» [470e]; «распря они будут продолжать лишь до тех пор, пока те, кто невинно страдает, не заставит ее виновников наконец понести кару»; они «разумные советчики, а не враги» [471b].

При этом во всех городах «заключены два враждебных между собой государства: одно бедняков, другое — богачей» (423a). Это важное положение, так как, согласно платоновской идее справедливости, конфликт следовало бы ожидать в логике противоборства упомянутых выше трех начал. Однако здесь проявляется дополнительная логика, в которой подчеркивается экономическая природа конфликта, что очевидно создает мостик к последующей модерновой традиции.

Таким образом, все реальные города не едины и не справедливы. Как отмечает Д. В. Бугай: «Другие города сами в себе содержат причины своего распада на множество противостоящих друг другу и борющихся друг с другом за богатство классов и группировок. Они только кажутся одним городом, представляя собой, на самом деле, огромное множество. Здесь легко заметить применение в политической философии Платона основного алгоритма его теории идей: идея города едина, тогда как ее отражения являют собой беспредельное множество» [Бугай 2016: 178]. Война пронизывает не только полисы, но и индивидов, домохозяйства и деревни. Лекарством от этой всеохватной войны является правильная организация конфликтующих частей на основе идеи блага по принципу справедливости. Д. В. Бугай также заметил, что исток Гоббсовой формулы «bellum uniuscuiusque contra unumquemque» («войны всех против всех») находится в платоновском диалоге «Законы», где участники диалога соглашались «что большинство людей называет миром, это всего-навсего пустое слово, на самом деле и по природе все города против всех городов всегда ведут необъявленную войну» (626 a)

и что эта война тотальна, так как доходит до самой души человека [Там же]. Всеобщая война и раздор оказывается основой реального человеческого социального бытия, в то время как мир оказывается несовершенным отблеском идеального мира.

Итак, вопрос справедливости для города связан с пониманием того, как вообще следует жить гражданам этого города и что является для всех общим благом. Общее дело скрепляет людей, а альтернатива этому — разлад (междоусобица, ссоры и т. д.) и война как предельная форма разобщения. Через опыт гражданской войны возникает проблематика политической философии (как людям устроить совместную жизнь). И в платоновском «Государстве», и в более обширном диалоге «Законы» (по сути, вторая часть «Государства») детально прописывается, как должна быть устроена совместная жизнь людей. Однако эти политические прописи делаются на бумаге с водяными знаками, сообщающими, что подлинное естественное состояние людей — война.

Разделенный город

58

Древнегреческая цивилизация — это цивилизация соперничества, *агона*. Об этом свидетельствует греческая судебная и политическая риторика, система спортивных состязаний и игр. Прекращая реальные кровопролитные войны, греки конфликтовали в судах, собраниях и на стадионах, вновь соперничая друг с другом, но уже без оружия.

Историко-антропологический разбор такого положения дел содержится в знаменитой книге французской исследовательницы Николь Лоро «Разделенный город» [Лоро 2021]. Греческое политическое оказывается городским вопросом: «под рубрикой политического они — возможно, больше чем что-либо еще — мыслили аналогию между городом и индивидом» [Там же: 107]. В основном ее фактография строится на ситуации классических Афин, когда после поражения в Пелопоннесской войне в городе произошла гражданская междоусобица. Она утверждает, что в основе единства города лежит разделение, в то время как единство осуществимо только на базе утраты памяти: «то, что город не хочет ни видеть, ни даже мыслить: что в самом сердце политического потенциально — а иногда и реально — находится конфликт, что разделение надвое, эта катастрофа, является другим лицом прекрасного единого Города» [Там же: 77].

Цивилизационное желание победы приводит к раздору в семье и полисе, его необходимо перенаправлять, «конфликт — едва одомашненный в *агоне* — уже находится в сердце города» [Там же: 133]. Гражданская война, или *στάσις* коренится в самом городе:

«У Феогида она то, чем чреват сам город — ужасная беременность убийствами одних сограждан другими — и, более общим образом, греческая традиция видит в гражданской войне некую болезнь *полиса*» [Там же: 90]. Она «соприродна» греческому политическому: «Под анафемой *stasis* — пугающая констатация того, что гражданская война является соприродной городу и даже основывающей политическое именно в качестве того, что является общим» [Там же: 130]. Таким образом, парадоксально война является объединяющим началом: «...хотя гражданскую войну всегда отождествляют с двоицей, поскольку она разделяет, она производит нечто единое из двух, с той, однако, разницей, что в середине этого единого находится разлом» [Там же: 138]. В этом смысле неудивительно, что греческое слово *στάσις* совмещает два значения: раздор и постоянство (статичность): «*вначале* (сохраняя за этим словом всю его двусмысленность) *греки установили конфликт* — ни хороший, ни плохой: как удел человеческий, форму которого он очерчивает в мире городов» [Там же: 161]. За развитыми формами политической жизни скрыт звериный оскал братоубийцы. Исток политического оказывается антропологическим или даже биологическим. Мы видим: «космическое измерение гражданской войны» [Там же: 55].

59

Однако забвение зла войны необходимо, это залог функционирования города. Но это забвение приводит к утрате подлинно политического. Лоро описывает практику работы города с этой проблемой путем механизма забвения: «В самой своей глубине он ничего не хочет с ней делать — то есть хочет сделать что угодно, лишь бы она была ничем: иными словами, городу принципиально важно отрицать за конфликтом любую соприродность политическому» [Там же: 89]. Город заговаривает или даже забалтывает эту проблему, используя ресурс языка. Так, например, одна из стратегий состоит в том, чтобы вместо понятия *κράτος*, означающего победу, используется более нейтральное *ἀρχή*:

«Города как будто отказываются признавать, что в свершении политического могло иметься место для чего-то такого, как *kratos*, поскольку это означало бы ратификацию победы одной части города над другой, а значит, и отказ от грезы о едином и неделимом городе; слово странным образом отсутствует в гражданском красноречии или в нарративах историков, где оно постоянно стирается в пользу *arkhe*, именующего власть в ее легитимном виде: так дело обстоит у Ксенофонта, рассказывающего о диктатуре Тридцати, когда лишь один олигарх — это был Ферамен — может спокойно указать на самую возможность того, чтобы правители (*arkhontes*) владычествовали (*kratein*) над управляемыми. <...> Все, что угодно, лишь бы не признавать, что власть в городе находится в руках одной из групп, даже если эта группа является преобладающим большинством» [Там же: 96-97].

Это, однако, противоречит реальности, поскольку «если там и царит согласие, то лишь потому, что во внутреннем городе души Платон прочно установил *kratos* — *kratos* разума. Поскольку имеются части [parties] души, в душе имеются и партии [partis], и только легитимное *kratos* положит конец противостоянию мятежников» [Там же: 114].

Единственный способ решить проблему заключается в том, чтобы дать клятву забвения былого конфликта: «Город запрещает каждому из своих граждан не только погружаться в личный ресентимент, но и прибегать к активному напоминанию о событиях, направленному против другого: в амнистии именно акты памяти блокируются действенностью “речевого акта”, рожденного Эридой для того, чтобы жил единый город» [Там же: 192]. Клятва имеет сходство с установлением государства как общественного договора. И справедливость как таковая, согласно Я. Ассману, восходит к клятве как важному коннективному механизму культуры [Ассман 2004: 274].

Наряду с клятвой задействуется еще один любопытный культурный механизм. Так, Лоро описывает документ, содержащий декрет жителей маленького сицилийского городка Наконе о прекращении распри и учреждении праздника (IV или III в. до н.э.): «То, что в этом декрете о примирении последнее слово остается за праздником, вероятно, может нас удивить. Но все и впрямь выглядит так, будто простого упоминания примирительной сходки граждан после *stasis* достаточно для того, чтобы перейти к праздничной встрече, на что в “Менексене” намекает Платон, когда восхваляет то, как “радостно и по-семейственному” в 403 году “смешались” между собой афиняне из Пирея и из города, и еще более поразительным выглядит официальный жест, с помощью которого, придавая этому празднику периодичность регулярного отменения, накониийцы хотели вписать его в гражданское время» [Лоро 2021: 299].

Отметим наличие этой линии решения политического вопроса: от братоубийственной войны через клятву — к празднику.

Опустошение города

Аналогия между индивидуальным телом и государством вновь появляется у Т. Гоббса. Он вновь ставит античную проблему гражданской войны как естественного состояния, которую решает путем оригинальной теории общественного договора. Очевидно, однако, что Т. Гоббс в своей политической философии не задействует городской контекст. Дж. Агамбен, анализируя знаменитый фронтиспис трактата «Левиафан», указал на этот удивительный факт и аномалию: «что “смертный Бог”, “искусственный Человек, называемый

Республикой или Государством” (как Гоббс определяет его во Введении), обитает не в городе, а за его пределами. Его место внешнее не только по отношению к стенам города, но и по отношению к его территории, на ничейной земле или в море; в любом случае, не в пределах города. Государство — политическое тело — не совпадает с физическим телом города» [Agamben 2015: 36-37]. Город тем самым политически опустошается. Вопрос, почему на этом изображении город без людей, а государство вынесено из города, решается через обращение к противопоставлению народа (*populus*) и множества (*multitudo*). Множество не имеет никакой политической силы и смысла, оно исчезает, чтобы дать начало Суверену. Тем самым

«...если народ, который был образован разобщенным множеством, снова растворяется во множестве, — тогда последнее не только предшествует народу-царю, но (как *dissoluta multitudo*) продолжает существовать после него. Вместо этого исчезает народ, который трансформируется в фигуру суверена и который, таким образом, “правит в каждом городе”, но не может в нем жить. Множество не имеет политического значения; это политический элемент, на исключении которого основан город. И все же в городе есть только множество, поскольку народ уже навсегда растворился в суверене. Будучи “растворенным множеством”, оно тем не менее буквально непредставимо — или, скорее, может быть представлено лишь косвенно, как это и происходит в эмблеме фронтисписа» [Ibid.: 47].

61

Существование в городе только разобщенного множества как естественного субъекта гражданской войны делает эту войну вечно возможной в государственном состоянии, поскольку единый народ всегда может распасться и вновь стать множеством. Левиафан всегда соседствует с Бегемотом: «Естественное состояние — это мифологическая проекция в прошлое гражданской войны; и наоборот, гражданская война — это проекция естественного состояния на город: это то, что появляется, когда рассматриваешь город с точки зрения естественного состояния» [Ibid.: 53]. Это противоречие может решиться только в эсхатологической перспективе Царства Небесного и совершенной Церкви: «до тех пор никакое реальное единство, никакой политический организм на самом деле невозможен: политический организм может только раствориться во множестве, а Левиафан до самого конца может только жить вместе с Бегемотом — с возможностью гражданской войны» [Ibid.: 63].

Итак, мы выходим за рамки городского локуса, и движемся в более широкое поле политической философии, которая родилась в локусе греческого города, а затем перешла в масштаб государства эпохи модерна. Город в эпоху модерна пустеет.

Право на город

С конца XIX века утраченный городской локус неожиданно возвращается на сцену мировой истории из-за стремительного процесса урбанизации, который придал новые смыслы городской конфликтности. Эти смыслы раскрыл французский философ-неомарксист и один из идейных вдохновителей майских событий в Париже 1968-го Анри Лефевр. В своих работах, посвященных городу¹, он дает глобальную трактовку городского конфликта благодаря обращению к марксизму и теме классовой борьбы. Лефевр по-своему заострил вопрос прав человека, как одновременно антропологический и политический.

Право на город понимается не как правовой термин, но, скорее, как аксиологическое понятие. Согласно Лефевру, каждый житель города имеет право на участие в жизни города. При этом это не обычное право: «Право на город манифестируется как высшая форма прав: право на свободу, индивидуализацию в социализации, жилье (*habitat*) и проживании (*habiter*). В праве на город подразумеваются право на *произведение* (в партиципаторной активности) и право на *присвоение* (отличное от права на собственность)» [Lefebvre 2009: 125]. В то же время город интерпретируется не как наличное состояние городов, не как конкретные города, но как желаемая картина новой городской жизни. Предполагается, что горожане совместными усилиями создают город, не столько в узком экономическом

62

1 Центральная в этом отношении книга «Право на город» (1968) примыкает к целому ряду работ Лефевра по городской проблематике. Первой крупной работой в этом ряду считается «Провозглашение Коммуны (La Proclamation de la Commune)» (1965), детальное историческое описание Парижской коммуны 1871 года. Затем «От сельского к городскому (Du rural à l'urbain)» (1970), «Городская революция (La révolution urbaine)» (1970), «Марксистская мысль и город (La pensée marxiste et la ville)» (1972), «Пространство и политика. Право на город II (Espace et politique. Le droit à la ville II)» (1973). Тем самым к началу 1970-х Лефевр становится одним из ведущих городских теоретиков. Все эти книги послужили своеобразным плацдармом для написания, возможно, одной из лучших и самых сильных книг как Лефевра, так и социальной теории XX века, «Производство пространства (La production de l'espace)» (1974, в 2015 г. был издан русский перевод), активно цитируемой работы по городской теории. Кроме того, Лефевр написал несколько статей по этой теме. Самые ранние восходят к началу 1960-х: «Новые городские ансамбли (Les nouveaux ensembles urbains)» (1960) и «Экспериментальная утопия: к новому урбанизму (Utopie expérimentale: pour un nouvel urbanisme)» (1961). К этому еще можно добавить предисловие к сборнику «Пригородная жизнь (L'habitat pavillonnaire)» (1966). На русском языке о Лефевре есть не так много работ. См.: [Шихардин 2021]. О мае 1968-го и роли Лефевра см., например: [Шихардин 2019].

и «производственном» смысле слова, то есть как продукт, но, что удачно схватывает язык, как художественное произведение или даже творение (*oeuvre*).

Горожанин и «гражданин» города — это тот, кто в нем постоянно живет, кто включен в повседневную жизнь, в повседневное производство городской действительности. Э. Соуджа отмечает, что Лефевр объединяет гражданские права и права человека: «Городской житель, самым фактом городской прописки, имеет специфические пространственные права: участвовать открыто и честно во всех процессах производства городского пространства, иметь доступ и использовать особые преимущества городской жизни, особенно высоко ценимый городской центр (или центры), избегать всех форм пространственной сегрегации и изоляции, быть обеспеченным государственными услугами, удовлетворяющими базовые потребности в области здравоохранения, образования и социального обеспечения» [Soja 2010: 100].

Однако в действительности люди, которые привязаны к городскому пространству, оказываются оторваны от полноценного сотворения города, сотворения пространственно-временной организации, которая отвечает их интересам. Горожане, обитатели города, в теории имеют полное право на город, но эти права фактически принадлежат не всем. Фактические жители города ничего не решают, будучи отделены от полноценной жизни в нем. «Городские пролетарии» живут отчужденной жизнью, практически, в выражениях Т. Гоббса¹, не имея возможности реализовывать свои потребности в полной мере и прежде всего полноценно организовывать городскую форму, за счет активного присутствия в городском центре². Городская форма как целое может возникнуть благодаря идее всеобщего блага. Но всеобщее здесь берется не в демократическом смысле. Для Лефевра, согласно марксистской логике, только одна сторона (пролетариат) обладает истинным сознанием, не отягощенной превращенной идеологией. Только рабочий класс может быть

- 1 Их жизнь «одиока, бедна, беспросветна, тупа и кратковременна» [Гоббс 2001]. Классовая борьба К. Маркса, на мой взгляд, имеет сходство с естественным состоянием. Однако, к сожалению, эта тема не получила необходимой разработки. См., например, статью С. У. Мура, где обсуждается критика Марксом фантастичности политэкономии XVIII в. [Moore 1967].
- 2 В то время как, как отмечает Лефевр в «Городской революции», право на город является «правом на центральность, правом не быть исключенным из городской формы» [Lefebvre 2003: 194]. С. Эльден поясняет связь «права на город» с взаимоотношением центра и периферии: «Имеется признание связи между центром и периферией, классовыми отношениями, которые ее специализируют, и пустотой периферической жизни. <...> Рабочие возвращаются в центр, отвоевывая город» [Elden 2004: 155].

агентом, носителем и социальной поддержкой в реализации созданной на базе теории обновленной городской жизни как произведения (*oeuvre*), а не продукта. Это возможно, потому что: «как сто лет назад, хотя и в новых условиях, он объединяет интересы (преодолевая непосредственность и поверхностность) всего общества, и в первую очередь тех, кто живет» [Lefebvre 2009: 108]. Таким образом, жители города противопоставляются тем, кто в городе не живет — буржуазной аристократии и «олимпийским божествам», которые везде и нигде. Представители мобильной элиты, транснационального международного капитала, которые не живут в городе постоянно, не принадлежат этому городу, тем не менее обладают полнотой прав и возможностей изменять город. Единый город оказывается расколотым на несколько городов [Лефевр 2008: 143-146].

64

Этот фундаментальный конфликт поднимает вопрос о подлинной политике, направленной на преодоление фундаментального социального разлома, в отличие от косметической полиции и мелкотемья юридических ремонтов. Логика политического, по Ж. Рансьеру, заключается в том, что некоторые группы людей отождествляют себя с целокупным сообществом на основании несправедливости, которая непрерывно осуществляется в их адрес. Необходимость осуществить, воплотить справедливость вызвана наличием точки несогласия, такого положения дел, когда конфликт «затрагивает не столько аргументацию, сколько аргументируемое, наличие или отсутствие общего объекта между X и Y» [Рансьер 2013: 17]. Такой критической «группой несогласия» в свое время были греческий демос, римские плебеи, новоевропейские пролетарии и т. д. Только на основании чинимой в их адрес несправедливости эти части общества отождествлялись с целым обществом (см. подробнее: [Карчагин, Сивков 2014]).

Общемарксистская нормативно-теоретическая позиция указывает Лефевру направление, в котором следует менять городскую реальность, сохраняющую горизонт тотальной гражданской войны как борьбы классов, — преодолевать сиюминутность и поверхностность частных и индивидуальных интересов, преодолевать разделение труда, специализацию и сегрегацию. Город является самоцелью, он относится к потребительной, а не к меновой стоимости, то есть он не должен быть предметом обмена, средством. Потребность в городе и городском важна, потому что через нее проходит желание преодолевать актуальные деления и разломы капиталистического общества потребления.

Таким образом, право на город может быть понято как право горожан, постоянно живущих в городе, на совершенно новую пространственно-временную городскую жизнь, свободную от «капиталистического управляемого потребления», то есть растущего

влияния и проникновения государства и рынка во все аспекты городской жизни, включая повседневность, в рамках которой удовлетворяются специфические человеческие потребности (в частности, потребности в местах для встреч и одновременности, где царит не меновая стоимость¹, но осуществляется производство городского пространства, то есть общественных пространств, где жители могут встречаться и иметь опыт подлинного общения²). По большому счету имеется в виду творческое произведение городской жизни, радостное и свободное, превращающее повседневность в Праздник, как некое абсолютное событие, преодолевающее конфликт и отчуждение. Политика у Лефевра оказывается тесно связанной с эстетикой³. Тем самым реализация права на город и воплощение справедливости в городе, как преодоление фундаментального конфликта, — это непрерывное и радикальное усилие по тотальной перестройке, требующее активного присутствия всех (кроме агентов капитала) горожан во всем, что происходит в городской жизни при капитализме; это победа потребительной стоимости над меновой стоимостью, творчество городских жителей и Праздник. Право на город — «это горная вершина на уровне моря, где сверхчеловек встречает целостного человека в ущерб деловому человеку» [Merrifield 2009: 942].

65

После Лефевра, или Конфликт о справедливом городе

После смерти А. Лефевра его идеи сохранили свою актуальность. «Если формула “права на город” была разработана Лефевром в контексте фордистского городского управления послевоенной Франции, то его концептуальный язык всегда адекватен городским конфликтам в неолиберальную эпоху» [Holm 2010]. Можно сказать, что в западной академии сейчас переживается «Lefebvre renaissance» [Biagi 2020].

- 1 Об оппозиции между меновой и потребительной стоимостями см. подробнее: [Лефевр 2015: 347].
- 2 Новый город должен быть устроен так, чтобы его «организационными ядрами» были «игровые площадки и залы, театры, кино и кафе, окруженные бульварами и парками, вокруг которых группировались бы жилые кварталы и места работы» [Лефевр 2002: 25].
- 3 Ср.: «Искусство в некотором смысле, по замечательному выражению Маркса, — *наивысшая радость, которую человек себе доставляет*. Оно выражает в высшей степени создание человеком самого себя. Искусство — это радость (то есть нечто большее, чем удовольствие, приятность, умственный интерес). Оно освобождает и освобождает людей от пут, ограничивающих и связывающих их» [Лефевр 1954: 45].

В контексте статьи приведу один пример из академического мира. После обсуждения в 90-е годы справедливости в городе в рамках так называемой «политики различия» [The Urbanization of Injustice 1996] в начале XXI века дискурс смещается от политики «различия» к политике «признания». Ключевая дискуссия развернулась вокруг дискурсивного понимания справедливости и, соответственно, связей между теорией и практикой справедливости в городе. В особенности это напряжение видно в противостоянии текстов, написанных С. Файнштейн и Д. Харви для сборника под редакцией П. Маркузе «В поисках Справедливого Города: Дебаты в городской теории и практике» [Searching for the Just City 2009]. С. Файнштейн, будучи создателем концепта «справедливого города» [Fainstein 2010], основывается на вере в возможность коммуникативных механизмов достижения справедливости. Она считает, что: «...сам акт именованья имеет силу. Если мы постоянно повторяем призыв к Справедливому Городу <...> мы меняем популярный дискурс и расширяем границы действия. Коммуникативные теоретики правы, подчеркивая важность слов, но для торжества справедливости крайне важно, чтобы содержание речи включало требования признания и справедливого распределения. Изменение диалога с тем, чтобы требования справедливости больше не маргинализировались, стало бы первым шагом к переворачиванию нынешней тенденции, исключающей социальную справедливость из целей городской политики» [Searching for the Just City 2009: 35]. Д. Харви, как активный последователь Лефевра [ср.: Харви 2018: 382-397], критикует такой «дискурсивизм» С. Файнштейн: «Акцент Файнштейн на дискурсивной и вдохновляющей роли Справедливого Города избегает необходимости прямого конфликта и борьбы. Конечно, ее предложение включает разногласия и споры, но эти различия должны быть гармонично разрешены, так сказать, за чашкой капучино в уличном кафе» [Ibid.: 46]. В то время как: «...право на город <...> это <...> активное право сделать город более соответствующим желаниям наших сердец и тем самым воссоздать себя в ином образе» [Ibid.: 48]. Сам Харви, как видно, вполне себе по-марксистски практичен. Здесь интересно различение проблемы реального городского конфликта, связанного с практическими действиями и реальным насилием, и конфликта по поводу теоретического понимания справедливости и справедливого города.

Заключение

Итак, город в статье показан как первичное политическое поле, примордиальный политический локус, внутри которого зашит гражданский конфликт. Городской конфликт, как и любой другой

конфликт, в ценностном отношении есть проблема справедливости. Идея справедливости выступает лекарством против конфликта, так как она представляет собой состояние реализованного всеобщего блага на основе идеала целостности.

Оказалось, что тема естественного состояния является сквозной для всей политической философии, начиная с Платона, в своем истоке являющейся мышлением о Человеке и Городе (Штраус). Благодаря теме естественного состояния мостом между античной мыслью и современной урбанистической философией выступает политическая философия Т. Гоббса, где политическое не до конца выносится за пределы города, и город продолжает оставаться потенциально конфликтным. Возвращение политического в городской континуум вследствие урбанизации новейшего времени было теоретизировано Лефевром. Поскольку уже у Платона намечена идея классовый борьбы (именно в городском контексте), постольку Лефевр оказывается идейным наследником не только К. Маркса, но и Платона.

Лефевр при этом не только продолжает развивать классические сюжеты политической философской мысли, но и задает новые перспективы. Так, в последние годы жизни он указывал на значение пригородов как оригинального социального явления. Это ни город, ни деревня. «Будучи городским явлением, они в то же время сопровождают разрушение центров городов» [Latour, Combes 1991: 89]. Одна из проблем современного мира — суметь увидеть новые пути урбанизации. Будет ли доминировать не-город, то есть деревня? Какой конфликт возможен в такой гибридной глобальной урбанизированной деревне? Как этот гибрид будет сочетать противоречивую логику общества и общности, если воспользоваться терминологией Ф. Тенниса? Смартизация городов порождает новые вопросы. Станет ли глобальный город цифровой деревней? Как себя проявит распространение практик тотального цифрового контроля? Чьи и какие «надежды» [Волкова 2021] будут воплощены? На эти вопросы предстоит еще ответить. Однако будущий глобальный город в любом случае должен решить проблему гражданской войны и внутригородского конфликта. В этой необходимости видна вечная актуальность античной политической философии.

Согласно известному выражению А. Н. Уайтхеда, европейская философия есть комментарии к Платону¹. В определенном смысле данный текст является иллюстрацией и доказательством этого утверждения.

1 «The safest general characterization of the European philosophical tradition is that it consists of a series of footnotes to Plato» [Whitehead 1978: 39].

Библиография / References

Аристотель. *Сочинения*. М.: Мысль.

— Aristotle. *Works*. М.: Thought. — in Russ.

Ассман Я. (2004) *Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности*. М.: Языки славянской культуры.

— Assman J. (2004) *Cultural Memory: Writing, Memory of the Past, and Political Identity in the High Cultures of Antiquity*. М.: Languages of Slavic culture. — in Russ.

Бугай Д. В. (2016) *Единство платоновского «Государства»*. М.: И. П. А. В. Воробьев.

— Bugay D. V. (2016) *Unity of Plato's "State"*. М.: I. P. A. V. Vorobyov. — in Russ.

Волкова Н. А. (2021) «На что я могу надеяться?» Социология надежды и права в городских исследованиях. *Социология власти*, 33 (4): 8-34.

— Volkova N. A. (2021) "What can I hope for?" Sociology of Hope and Law in Urban Studies. *Sociology of Power*, 33(4): 8-34. — in Russ.

Платон. *Сочинения*. М.: Мысль.

— Plato. *Works*. М.: Thought. — in Russ.

Штраус Л. (2021) *Город и человек*. М.: Владимир Даль.

— Strauss L. (2021) *City and man*. Moscow: Vladimir Dal. — in Russ.

Гоббс Т. (2001) *Левиафан*. М.

— Hobbes T. (2001) *Leviathan*. М. — in Russ.

Карчагин Е. В., Сивков Д. Ю. (2014) Политика и справедливость в философии А. Бадью и Ж. Рансьера. *Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7: Философия. Социология и социальные технологии*, 2(22): 12-19.

— Karchagin E. V., Sivkov D.Yu. (2014) Politics and justice in the philosophy of A. Badiou and J. Rancière. *Bulletin of the Volgograd State University. Series 7: Philosophy. Sociology and social technologies*, 2(22): 12-19. — in Russ.

Лефевр А. (1953) *Введение в эстетику*. М.: Издательство иностранной литературы.

— Lefebvre A. (1953) *Introduction to aesthetics*. М.: Publishing house of foreign literature. — in Russ.

Лефевр А. (2002) Идеи для концепции нового урбанизма. *Социологическое обозрение*, 2(3): 19-26.

— Lefebvre A. (2002) Ideas for the concept of new urbanism. *Russian Sociological Review*, 2(3): 19-26. — in Russ.

Лефевр А. (2008) Другие Парижи. *Логос*, 3 (66): 141-147.

— Lefebvre A. (2008) Other Parises. *Logos*, 3 (66): 141-147. — in Russ.

Лефевр А. (2015) *Производство пространства*. М.: Strelka Press.

— Lefebvre A. (2015) *Production of space*. М.: Strelka Press. — in Russ.

Лоро Н. (2021). *Разделенный город: Забвение в памяти Афин*. М.: Новое Литературное Обозрение.

- Loro N. (2021). *Divided city: oblivion in the memory of Athens*. Moscow: New Literary Review. — in Russ.
- Рансьер Ж. (2013) *Несогласие: Политика и философия*. СПб.: Machina.
- Rancière J. (2013) *Dissent: Politics and Philosophy*. St. Petersburg: Machina. — in Russ.
- Топоров В. Н. (1980) Vilnius, Wilno, Вильна: город и миф. *Балто-славянские этнолингвистические контакты*, отв. ред. Т. М. Судник. М.: Наука: 3-71.
- Toporov V. N. (1980) Vilnius, Wilno, Vilna: city and myth. *Balto-Slavic ethnolinguistic contacts*, ed. T. M. Sudnik. Moscow: Nauka: 3-71. — in Russ.
- Харви Д. (2018) *Социальная справедливость и город*. М.: Новое литературное обозрение.
- Harvey D. (2018) *Social justice and the city*. Moscow: New Literary Review. — in Russ.
- Шихардин Н. В. (2021) *Анри Лефевр: освобождение от иллюзий*. Курган.
- Shikhardin N. V. (2021) *Henri Lefebvre: liberation from illusions*. Mound. — in Russ.
- Шихардин Н. В. (2019) «Май-1968». *Философские истоки и ориентиры*. Курган.
- Shikhardin N. V. (2019) “May-1968”. *Philosophical origins and landmarks*. Mound. — in Russ.
- Юм Д. (1996) Исследование о принципах морали. *Юм Д. Сочинения в 2 т.* Т. 2. М.: Мысль.
- Hume D. (1996) Research on the principles of morality. *Hume D. Works in 2 vols.* Vol. 2. М.: Thought. — in Russ.
- Agamben G. (2015) *Stasis: civil war as a political paradigm*. translated by N. Heron. Stanford University Press.
- Biagi F. (2020) Henri Lefebvre’s Urban Critical Theory: Rethinking the City against Capitalism. *International Critical Thought*, 10:2, 214-231.
- Elden S. (2004) *Understanding Henri Lefebvre: Theory and the Possible*. L., N.Y.: Continuum.
- Fainstein S. (2010) *The Just City*. Ithaca & London: Cornell University Press.
- Holm A. (2010). Urbanisme néolibéral ou droit à la ville. *Multitudes*, 43(4), 86-91. <http://www.cairn.info/revue-multitudes-2010-4-page-86.htm>
- Latour P., Combes F. (1991) *Conversation avec Henri Lefebvre*. Paris: Messidor.
- Lefebvre H. (2009) *Le Droit à la ville*, (3 ed.). Paris: Anthropos.
- Lefebvre H. (2003) *The Urban Revolution*. University of Minnesota Press.
- Merrifield A. (2009). Review Essay. The Whole and the Rest: Remi Hess and Les Lefebvriens Français. *Environment and Planning D: Society and Space*, 27(5), 936-949.
- Moore S. W. (1967) Marx and the State of Nature. *Journal of the History of Philosophy*, 5(2), 133-148.
- Searching for the Just City. Debates in Urban Theory and Practice* (2009) P. Marcuse, J. Connolly, J. Novy, I. Olivo, C. Potter, J. Steil (eds.). London and New York: Routledge.

Soja E. W. (2010). *Seeking Spatial Justice*. Minneapolis: University of Minnesota Press
The Urbanization of Injustice (1996). A. Merrifield & E. Swyngedow (eds.). London: Lawrence & Wishart.

Whitehead A. N. (1978) *Process and reality: An Essay in Cosmology*, corr. ed., eds. D. R. Griffin and D. W. Sherburne, New York: Free Press.

Рекомендация для цитирования:

Карчагин Е. В. (2023) Археология городского конфликта: от Платона к Анри Лефевру. *Социология власти*, 35 (1): 51-70.

For citations:

Karchagin E. V. (2023) The Archaeology of Urban Conflict: From Plato to Henri Lefebvre. *Sociology of Power*, 35 (1): 51-70.

Поступила в редакцию: 19.02.2023; принята в печать: 22.03.2023

Received: 19.02.2023; Accepted for publication: 22.03.2023

ДАРЬЯ Н. ЧАГАНОВА¹

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

ORCID: 0000-0003-0098-3302

Понятия насилия и мира в феминистской критике войны

doi: 10.22394/2074-0492-2023-1-71-92

Резюме:

Статья анализирует характеристики ключевых понятий в феминистской теории мира и конфликтов — мира, конфликта и насилия. Под названием «феминистская критика войны» в данном исследовании обобщаются феминистская теория международных отношений, феминистские исследования мира (feminist peace research), феминистский миротворческий активизм (peace activism) и «обучение в духе мира» (peace education). Автор анализирует аргументы феминистской критики войны, сопоставляя их с базовыми построениями социологии конфликта, а также проекта микро- и макросоциологии американского социолога Р. Коллинза. В статье дается оценка уровня знакомства с феминистской традицией конфликта в отечественной социологии конфликта на дисциплинарном уровне. Вводятся и подробно рассматриваются в феминистской критике войны понятия «гендер», «повседневное насилие» и «мир в позитивном смысле» (positive peace). Гендер рассматривается как социальный и символический конструкт, который встроен в отношения власти в обществе и одновременно формирует их. Последние, в свою очередь, с необходимостью включают различные формы насилия: физического, сексуального, финансового, психологического и социального. Внимание также уделяется расширению феминистской призмы для освещения иных структур маргинализации: расы, класса, сексуальности, состояний физического/ментального здоровья. Из этой перспективы автор реконструирует проблему континуума насилия, поставленную в феминистской критике войны: конфликты глобального и регионального уровня рассматриваются как продолжение многообразных форм повседневного насилия, которые процветают и никак не наказываются в мирное время. Проблематизация «континуума насилия» позволяет рассматривать феминистскую критику войны и социологию конфликта как близкие парадигмы, что выражается в их общей задаче отследить связь повседневных социальных интеракций с глобальными конфликтами. Предполагается, что статья может послужить более плот-

71

1 Чаганова Дарья Николаевна — аспирантка 2-го курса по направлению обучения «Философия, этика и религиоведение» НИУ ВШЭ (Москва). Научные интересы: философия войны, европейская политическая философия Средних веков и Нового времени, социология и философия пространства. E-mail: d-chaganova@mail.ru

ному интеллектуальному — как концептуальному, так и методологическому — взаимодействию между феминистскими исследованиями мира и конфликтов и социологией конфликта.

Ключевые слова: социология конфликта, феминистская критика, феминистская социология, исследования мира и конфликтов, конфликтология, насилие, Р. Коллинз

Daria N. Chaganova¹

National Research University “Higher School of Economics”, Moscow, Russia

The Concepts of Violence and Peace in Feminist Critiques of War

Abstract:

The paper reviews the main concepts and methodological approaches of feminist peace and conflict theory. It reproduces and analyzes the arguments of feminist war critique, and critically relates them to the general theoretical assumptions of the sociology of conflict. The following spheres of feminist war critique are considered in their intersection with sociology of conflict: feminist international relations theory, feminist peace research, peace activism, and peace education. Moreover, the paper shows that there is an intellectual intersection of the feminist prism and R. Collins' project of micro- and macrosociology. It is argued that the level of awareness of the feminist tradition of conflict in Russian social studies is insufficient at the disciplinary level. The concepts of gender, everyday violence, and positive peace are introduced; their roles are investigated in the feminist war critique. Gender is considered a social and symbolic construct that both creates and is created by the social relations of power. Gender inequality in power, in its turn, produces various forms of violence (physical, sexual, financial, psychological, and social). Other structures of marginalization — race, class, sexuality, physical/mental (dis)abilities — are also taken into consideration. The continuity of the different forms of violence, as posed in the feminist war critique, is problematized: global and regional conflicts are seen as an extension of those diverse forms of violence that flourish during everyday social interactions. Thus, through the problematization of the “continuum of violence”, the paper conceptualizes the trend of feminist research (tracing the connection between everyday social interactions and global conflicts) as a common task of conflict sociology. The essay is intended to highlight the potential of both conceptual and methodological interchange between feminist war critique and conflict sociology.

Keywords: conflict sociology, feminist critique, feminist sociology, peace and conflict theory, violence, positive peace, R. Collins

1 Daria N. Chaganova — postgraduate student of the programme “Philosophy, ethics, religious studies” at HSE University (Moscow). Research interests: philosophy of war, European political philosophy of Middle Ages and early Modern era; sociology and philosophy of space. E-mail: d-chaganova@mail.ru

Постановка гипотезы. Феминистская критика войны в рамках социологии конфликта

Феминистская критика¹ как интеллектуальное движение стала большим вызовом для всех областей классического — как гуманитарного², так и естественнонаучного³ — знания: оформившись как интеллектуальное течение в 70-х гг. прошлого столетия, она инициировала пересмотр огромного количества аспектов социальной жизни: «науки, глобализации, прав человека, поп-культуры, [вопросов] расы и расизма»⁴ [McAfee 2018]. При этом феминистское интеллектуальное и политическое движение сфокусировано на насилии во всех его проявлениях. Если говорить о насилии на макроуровне — насилии во время глобальных и региональных военных конфликтов, — феминизм еще со времени движения суфражисток [Confortini 2012: 3; см., например: Addams et al. 2007: 131] был сопряжен с пацифизмом. После двух мировых войн эта тенденция значительно усиливается: во второй половине XX столетия, в то время как особое внимание теоретиков посвящено именно исследованиям войны и способам ее ограничения в соответствии с представлениями о справедливости [Walzer 1977], развивается феминистская критика войны, которая ставит вопрос о нравствен-

73

- 1 Следует отдельно поднять вопрос о статусе феминистской критики как направления исследований. С одной стороны, основу этого интеллектуального движения составляет критический потенциал — постановка классического вопроса (об истории, науке, философии, литературе и т. д.) с учетом новых данных или изменение вопроса как такового. С другой стороны, феминистская критика несет и некоторые черты теории — например, разрабатывает методологию исследований. Данный вопрос заслуживает отдельного исследования в рамках философии науки; в данной статье мы используем по отношению к феминистским исследованиям характеристики «критика», «традиция», «призма» и «парадигма». В зарубежных исследованиях часто встречается характеристика «критическая теория» [см.: Rhode 1990].
- 2 Наиболее крупным и известным течением в области гуманитарного знания является феминистская философия, или феминистская критика истории философии, которая направлена на исследование как роли и вклада женщин в различные философские вопросы (от метафизики и эпистемологии до вопросов о политике и праве), так и образа женщины в истории философии.
- 3 Благодаря феминистским исследовательницам в науке меняются представления о критериях объективности, а критика предпосылки о схожей анатомии человека вне зависимости от пола позволила осуществить существенные корректировки в бихевиоризме, нейропсихологии и медицине в целом [Harding 2015].
- 4 Здесь и далее перевод мой. — Д. Ч.

ности войны как таковой и подвергает сомнению тезис о том, что насилие в социальной сфере может быть приемлемо как на макро-, так и на микроуровне. Предпосылка этого теоретического подхода может быть выражена словами Лоры Шёберг: «...в современной истории теория и практика войны [были сформированы] в рамках гендерного разделения, а аспекты, связанные с гендером, служат важными причинными и системообразующими факторами. <...> гендерная “нейтральность” [теории войны и международных отношений] скорее маскирует субординацию полов, нежели чудесным образом привносит гендерное равенство» [Sjöberg 2013: 3]. Феминистские ученые вносят методологические и концептуальные предложения, критикуя устоявшиеся парадигмы в теории международных отношений, философии и этике войны. В том числе феминистские исследовательницы ставят под вопрос актуальность и продуктивность теории справедливой войны — философской теории, которая многие десятилетия, вплоть до современности, представляла основную методологическую базу для рассмотрения глобальных и региональных конфликтов [Allhoff, Evans, Henschke 2013: 1-2; Peach 1994]. На фоне переосмысления проблемного поля и расширения философского вокабуляра влияние феминистской критики войны на философский дискурс становится очевидным, в то время как социология конфликтов как дисциплина оказывается теоретически разведена с феминистской парадигмой изучения конфликтов, несмотря на общность проблемного поля и потенциал интеллектуального взаимодействия.

74

Развитие феминистского интеллектуального движения привело к формированию нескольких академических (и политических) направлений, которые обобщаются нами как «феминистская критика войны». Отдельно стоит также упомянуть о феминистской критике/теории насилия [Frazer, Hutchings 2014; Vergès 2022], однако она сфокусирована скорее на внутренней политике и частных отношениях, в то время как феминистская критика войны проблематизирует как войны и другие конфликты глобального масштаба, так и повседневные социальные интеракции. Она включает в себя целый ряд направлений: феминистская критика (методология пересмотра тех или иных дисциплин, структур взаимодействия, событий и их описаний с целью освещения женского гендерного опыта и/или опыта других маргинализированных социальных групп), гендерная социология, феминистская теория международных отношений (*feminist international relations theory*) и, наконец, теория исследования мира и конфликтов (*feminist peace and conflict theory/studies*) [Confortini 2010/2017]. Несмотря на существенный вклад феминизма в конфликтологию, его зачастую рассматривают параллельно или обособленно от социологии конфликта.

Данное исследование ставит своей целью воспроизвести и связать между собой основные понятия и методологические предпосылки феминистской критики войны: гендер как социальный конструкт и как дискурс, формирующий отношения власти; расширение точки зрения (standpoint); конфликт и насилие; мир как состояние равенства и справедливости. Рассмотрение феминистской теории войны и мира в рамках социологии конфликта позволит прояснить аргументативные ходы первой, обратить особое внимание на ее конфликтологический потенциал, а также наметить зоны эффективного пересечения и взаимообмена этих исследовательских областей.

Данную статью стоит рассматривать как введение в феминистскую социологию конфликта. Мы не сможем подробно рассмотреть тонкости аргументации каждого отдельного феминистского учебного, однако мы предложим обобщение их основных методологических предпосылок: в статье мы, во-первых, проанализируем место концепта «гендер» в феминистской критике войны; во-вторых, проследим взаимосвязь между глобальными вооруженными конфликтами и насилием на микроуровнях; в-третьих, введем понятие «мира в позитивном смысле» в качестве ключевого концепта феминистской теории мира и конфликтов.

75

Феминистская критика войны как исследовательская программа

Как замечает американская исследовательница права и философии справедливости Катя Конфортини [Confortini 2010/2017], не все ученые феминистского течения называют полем своей деятельности конфликтологию, предпочитая риторически связывать себя с исследованиями мира (peace studies), миротворческим активизмом (peace activism) или «обучением миру», воспитанием «в духе мира» (peace education). Однако, так или иначе, каждая из этих областей необходимо включает элементы конфликтологии. И политически-ориентированные, и академические, и педагогические работы феминистского направления фокусируются на истоках социального конфликта, проблематизируя достижимость правового равенства, проводя критический анализ гендерной стратификации для снижения уровня насилия по отношению к маргинализированным группам [Jenkins, Reardon 2007: 221-222, 224], расширяя понятие мира и призывая как обучать этому взрослых [Weigert 1990: 312-330], так и воспитывать «в духе мира» детей [Baligadoo 2020: 155-175]. Общее устремление «обучения миру» основано на предпосылке Монтессори: «предотвращение конфликтов — работа политиков; утверждение же мира — задача образования» [Montessori 1992: 24].

Так, направление peace education пересекается сразу с несколькими отраслями социологии конфликта: с вопросами конфликта в образовательном процессе (оно стремится максимально снизить или вовсе исключить враждебность и конкуренцию во время обучения), с корректированием регулярных социальных интеракций и с вопросами ненасильственного урегулирования конфликтов. Наконец, все вышеперечисленные области феминистской критики войны формируют профессиональные сообщества, рассматривающие и распространяющие научное знание о самых актуальных вопросах социологии конфликта: социальные конфликты и механизмы их возникновения, развития и урегулирования; поиск оригинальных и конструктивных технологий разрешения конфликтов; нормализация различий людей по огромному количеству социально-экономических и психофизических признаков.

Ученые феминистского направления, как уже было сказано выше, проблематизируют насилие во всех его формах и связывают конфликты на макроуровне с повседневными практиками насилия, указывая на «порочный круг» насилия, который возможно разорвать, лишь начав с бытовых интеракций. Критический анализ общества направлен на патриархальную структуру, «которая [во всех своих разнообразных проявлениях] является источником как возникновения насильственных социальных конфликтов, так и неудач международного сообщества в попытках долгосрочного урегулирования этого насилия» [Enloe 2005: 281]. С точки зрения философии феминистская критика, сместив фокус на практики миротворчества и исследования мира (пусть и продолжая изучать природу, истоки и структуру конфликта), возвращает нас к идейному истоку самой философии войны — идее мира и ненасилия как нормального состояния. В других областях, в социологии и теории международных отношений, феминистские ученые также провели активную концептуальную и методологическую работу: в 80–90-е гг. выходят знаковые эссе «Еще не случившаяся в социологии феминистская революция» [Stacey, Thorne 1985] и «Сложные взаимоотношения между феминистками и теоретиками международных отношений» [Tickner 1997]. Это привело к развитию гендерной социологии; внимание ученых было обращено на то, что влияние гендерных стратегий на социальные и государственные процессы слабо изучено, а науке «в конвенциональных рамках» недостает критического отношения к предпосылкам наблюдателя и к общественным процессам в целом [Rosenberg, Howard 2008: 686]; в классическую социологию интегрируются точки зрения (standpoints) наблюдателей конвенционально не рассматриваемых до этого рас, пола, физических и ментальных состояний [Chafetz 1997: 100].

Несмотря на то что в феминистской критике в последние десятилетия происходит активный анализ и реконцептуализация актуальных понятий социологии и социально-политической философии, обсуждение вопросов и проблем войны с применением феминистской методологии сохраняет активность в основном в рамках самой феминистской парадигмы [см., например: Wibben et al. 2019]; как зарубежными, так и отечественными исследователями игнорируется разнообразие направлений и задач в феминистской критике войны. Например, британский профессор социальных наук У. Морган высоко оценивает потенциал феминистской призмы в анализе глобальных и региональных конфликтов и сам себя относит к движению peace education, однако он сводит феминистскую критику войны к движению, основной целью которого является «сделать женщин видимыми как в мирное время, так и в процессе войны» [Morgan, Guilherme 2020: 4]. Феминистская теория, разумеется, известна и в отечественной литературе, но проблематичный аспект ее изучения сохраняется: в научной среде есть корректное представление о ключевых идеях феминистских исследователей в области критики войны и насилия, однако они представлены наиболее общо. Встречаются характеристики, что «феминистские исследования» и «гендерные исследования» вполне можно использовать как взаимозаменяемые понятия [Виноградова 2010: 53], или что из оригинальных аспектов феминистской теории можно выделить видимость женщины, ее роли и способов взаимодействия с международным порядком и государством [см.: Алексеева, Лебедева 2006]. Так, несмотря на интерес к интеллектуальному потенциалу феминизма в «классической»¹ зарубежной философии и социологии, а также в отечественной школе, на дисциплинарном уровне феминистские исследования оказываются не связаны с социологией конфликта и конфликтологией в целом. А единичные попытки отечественных исследователей [Сергунин 2003; Алексеева, Лебедева 2006; Виноградова 2010] проследить и контекстуализировать аргументацию феминистской теории международных отношений или феминистской критики войны либо не заходят глубже наиболее общих тезисов, либо дают некорректное представление о природе гендера в феминистской парадигме².

77

- 1 Под «классическими» направлениями философии и социологии имеются в виду те направления, которые не руководствуются предпосылками о расширении «точки зрения», де- и постколониализации мышления (как в практике дисциплин, так и в изучении истории философии, социальной истории и истории социологии) или не считают эти предпосылки ключевыми.
- 2 Что, в свою очередь, приводит к доксографичным представлениям о феминистской гуманитарной программе как о едином списке общих для всех

В зарубежной исследовательской литературе можно встретить подробные разъяснения о диалоге между феминистской критикой и социологией в целом [см., например: Oakley 1972; Roseneil 1995; Rosenberg, Howard 2008], однако не наблюдается попыток связать феминистскую критику насилия с социологией конфликта. Эта дистанция между феминистской критикой и социологией конфликта лишь усиливается в отечественных как широкомасштабных, так и узкоспециализированных академических исследованиях и программах дисциплины. Фокус на социологии конфликта именно в форме дисциплины в нашем случае обусловлен тем, что она, во-первых, формирует специалистов в области социологии конфликта; во-вторых, закладывает горизонт вопросов социологии конфликта и поле возможных междисциплинарных взаимодействий направления; в-третьих, позволяет понять ожидания от социологии конфликта на государственном уровне и оценить заинтересованность в поставленной проблеме. С 90-х гг. ключевые учебные пособия, представляющие государственный образец для обучения социологии конфликта, или не упоминают вопрос расширения «точки зрения» (standpoint) в новейшей истории социологии [см.: Олейник 1992], или разделяют конфликтологический подход и гендерный вопрос [см.: Волков, Добренков 2003], или в принципе ставят вопрос социального конфликта в иные рамки [см.: Пронин 1993; Соколов 2001; Прошанов 2008]. Обычно в отечественной литературе упускается предложенный феминизмом метод подозрения в предрассудках (bias): указывается, что «...в основе конфликта между субъектами разного уровня лежат различные потребности, интересы и ценности» [Здравомыслов 1995: 103–104; Соломатина 2011: 107–108], однако это не сопровождается критическим анализом того, как именно последние формируются. Общей чертой как монографий и пособий, так и программ курсов является рассмотрение проблематики неравенства в отношении женщин в разделе семейной конфликтологии. Также наблюдается уже упомянутая тенденция: социология конфликта и феминистские стратегии полагаются как концептуально взаимосвязанные, но параллельные исследовательские области. Лакуна, обнаруженная нами в представлении феминистской парадигмы в отечественной социологии конфликта на дисциплинарном уровне, может свидетельствовать о том, что эта призма представляется перечисленным авторам не столь значимой для социологии конфликта, не связанной с изучаемой областью или же маргинализированной по идей-

течений предпосылок и ценностей. О понятии гендера мы говорим в разделе «Категория гендера в феминистских исследованиях конфликтов».

ным соображениям¹. Это повышает актуальность последовательного рассмотрения методологических предпосылок феминистской критики в рамках социологии конфликта, поскольку оно позволит учитывать современные тенденции в критике конфликтов и более комплексно представить картину «континуума» насилия на микро- и макроуровнях.

Так, феминистская критика войны включает в себя многообразные направления, среди которых мы особенно хотели бы выделить феминистскую теорию международных отношений, феминистские исследования мира и конфликтов, миротворческий активизм и обучение в духе мира. Несмотря на то что не все ученые феминистского направления предпочитают связывать себя с изучением войн и других конфликтов, конфликт как необходимый элемент социальных отношений так или иначе привлекает внимание данного течения. В связи с этим феминизм предлагает новые методологические ходы в социологии и теории международных отношений, а также оригинально концептуализирует такие ключевые для социологии конфликта понятия, как «насилие» и «мир».

Категория гендера в феминистских исследованиях конфликтов

79

Следует упомянуть, что уже большим обобщением будет говорить о феминистской критике как о целом: в зависимости от идейных течений внутри системы призма исследования может значительно меняться. «У *феминизмов*² разные приоритеты: большинство феминисток Первого [капиталистического] мира считают правовое равенство и репродуктивные права ключевыми... целями борьбы, тогда как активистки Третьего [постколониального] мира выделяют колониализм и империализм как основные препятствия» [Кутелева 2022: 18]. Встречаются и совершенно различные и даже противоположные концептуализации одного из ключевых понятий — гендера, в зависимости от представлений о (взаимо)обусловленности гендера и пола [см.: Warnke 2008]. Среди основных пози-

- 1 Отечественные исследования, представляющие феминистскую призму в социологии, требуют отдельного внимания и не будут затронуты в рамках данного исследования, в рамках нашей работы кажется достаточным описать общий курс русскоязычной социологии конфликта как дисциплины.
- 2 Иногда ученые и активисты феминистского направления настолько по-разному трактуют ключевые положения и цели течения и определяют основные понятия феминистского дискурса, что исследователи предпочитают даже говорить о «феминизмах»: «Феминизма в единственном числе не существует» [Кутелева 2022: 22].

ций, касающихся гендера и его характеристик, можно выделить эссенциализм, согласно которому гендер человека обуславливает *общие* признаки какой-либо гендерной группы и/или конституирует характеристики *индивида* как участника социальных отношений, и антиэссенциализм. Вторая позиция выдвигает аргументы: 1) от социального конструирования реальности (нельзя выделить «общие» характеристики для того или иного гендера, поскольку они меняются в зависимости от времени, культуры и других социальных идентичностей: расы, класса, сексуальности и т. д.); 2) от исключения (любое обобщение «гендерных» черт не будет включать определенных индивидов/социальные группы); и 3) онтологический аргумент (нет единой социальной бытийности индивида, связанной с гендером: она выбирается и переконструируется) [см.: Witt 2011: 5–11, 25–26; Spelman 1988: 50–53].

80

Поэтому ясно, что при широком структурном, целевом, политическом и концептуальном разнообразии подходов внутри феминистской критики войны возможно было бы найти представление, которое мы встречаем в изложении отечественных исследователей: «...мужчины *по определению* не способны устроить общество на принципах мира и стабильности» [Сергунин 2003: 51] или «эгоистическое поведение государства на международной арене выражает не что иное, как *сугубо мужскую* агрессивность» [Виноградова 2010: 58]. Действительно, в общем смысле феминизм нацелен на переосмысление роли и образа женщины в современном мире с установкой на достижение гендерного равенства, однако магистральной тенденцией в феминистской мысли, несмотря на разнообразие течений, является фундаментальное несогласие с установками биологического детерминизма (социальные функции, роли и проявления формируются в зависимости от чисто физиологических факторов в различии полов). Феминистская традиция основывается на предпосылке, что категория гендера носит исключительно *социальный* характер: «...гендер — это не принадлежность к какому-либо биологическому полу. Наоборот, гендер представляет собой систему символических учреждений, которая создает социальные иерархии, основанные на представлениях о мужских и женских характеристиках» [Sjoberg 2009: 3]. Таким образом, гендер как структурный элемент социальной и политической жизни подчеркивает не биологические различия между мужчинами и женщинами, а отражает устоявшиеся представления о социальных ролях, моделях поведения и формах взаимодействия мужчин и женщин.

Также гендер определяется как «социальный и символический конструкт, основанный на [демонстрируемых и] воспринимаемых или действительных половых отличиях и служащий основанием для формирования и соблюдения отношений власти в обществе» [Confor-

tini 2010/2017] и «логика, которая обусловлена и сама обуславливает представления о насилии и безопасности» [Shepherd. Цит. по: Sjoberg 2013: 46]. Наряду с расой, национальностью и классом феминистская традиция предлагает рассматривать гендерное различие как «один из видов властных отношений, служащий ключевым элементом для анализа международных процессов» [Steans 1998: 5]. Гендер формируется посредством социальных практик и зависит от гендерных ожиданий и от структур социализации в той или иной культуре. В связи с этой установкой следует заключить, что в феминистской призма качества людей того или иного гендера являются не следствием половых различий, но результатом воспитания и самостоятельного формирования в рамках культурных и социальных ожиданий: соответственно, характеристики и модели поведения людей трактуются феминистскими учеными как следствие социального обучения тому, что в обществе считается уместным, нормальным и ожидаемым поведением мужчины и женщины [Sjoberg, Gentry 2011: 180–182]. Социальные отношения власти непостоянны и различны в зависимости от региона и времени, а также могут быть деконструированы [Goldstein 2001: 2], а вместе с ними и дихотомия ценностей и ожиданий, которые поддерживают культурно-социальные представления о мужских «силе» и «агрессивности» и женских «слабости» и «миролюбии» [Via 2010: 43]. За описанными характеристиками, в свою очередь, также стоят отношения власти. Категория гендера влияет и на выстраивание публичного дискурса, который может занять властную или маргинальную позицию. Уже на уровне стратегии исследований конфликта «феминными» называются дискурсы, которые стремятся к миротворческим практикам и осмыслению мира после окончания войны (в связи с «женскими» характеристиками — мягкостью, эмоциональностью, слабостью), в то время как «маскулинными» — рассуждения о войне и ее условиях (в связи с «силой» и «решительностью» мужчин) [Petersen 2021: 28–29]. Одним из примеров действия подобных установок в военное время являются «гендерные стратегии»: сами мужчины как участники боевых действий должны предстать в определенной, «мужской», роли: героическими освободителями, солдатами, отцами и мужьями, но к их психологическому портрету не могут применяться описания переживаний или страха (все это выстраивается на основании представлений о «феминных» или «гомосексуальных» чертах) [Hooper 2001: 70–72]. Феминистские исследовательницы заключают: «Дифференцированные половые и гендерные идентичности и роли, ассоциирующие мужчин с насилием, а женщин с воспитанием детей, ненасилием и/или пассивностью, следует понимать как социально сконструированные [в результате] исторических условий» [Frazier, Hutchings 2014: 24]. Корректное конструирование как реальности, так и истории во всем их разнообразии требует расширения гендерного

дискурса, что позволит показать, что женщины и мужчины могут быть связаны с многообразными поведенческими стратегиями и ролями в военное время.

Исследования, ставящие своей целью дать более широкое представление о связи войны и гендера, можно условно классифицировать как две стратегии: феминистские исследования *genetivus objectivus* и *genetivus subjectivus*. Первая стратегия ставит своей целью исследовать разнообразные и социально неукорененные роли женщин в рамках конфликтов. Феминистская критика войны обращает внимание на то, что образ военных, защищающих в глобальных вооруженных конфликтах «уязвимые» группы граждан — женщин и детей, — является скорее фантазией, поскольку в войнах конца XX века было отмечено поразительное количество смертей именно среди гражданского населения, а также случаев сексуального насилия по отношению к женщинам [Тикнер 2006: 123–126]. «Женские» роли, таким образом, оказываются закреплены в мире гражданского населения, что лишает женщин агентности, если дискурс касается военных действий: «...ассоциирование [насилия с определенным гендером] социально сконструировано, <...> необходимо исследовать также связь феминности и насилия» [Frazier, Hutchings 2014: 9]. Феминистские ученые фиксируют и исследуют истории о комбатантках и участницах революций [Confortini 2010/2017; Waller, Rycenga 2005: 114–120; Jacoby 2010], медицинских работницах, работницах снабжения, патриотических матерях солдат именно в парадигме войны [Enloe 2000: 35–40, 235–288]. Также особой тенденцией феминистской критики является внимание к растущему количеству сексуального насилия по отношению к женщинам и выполнение ими функции секс-работниц во время войны [Enloe 2000: 49–153]. Одной из целей феминистских исследований становится разрушение ассоциации мужчин с насилием, а женщин — с ненасилием: привлекается внимание к женщинам-военным, преступницам, террористкам [Sjoberg, Gentry 2007, 2011]. Говоря о женщинах-военных, феминистки критикуют «двойные стандарты», когда от женщины ожидают, что она одновременно будет хорошо выполнять военный долг и сохранять конформные феминные черты во внешности [Sjoberg, Via 2010: 44].

Вторая стратегия заключается в выстраивании «женской» истории и ставит вопрос: глазами какого наблюдателя рассказываются истории войн?¹ Внимание обращается к «маскулинному легити-

1 Поэтому в том числе выше приведена трактовка гендера не только как социального конструкта, но и определенного дискурса, определяющего рамки насилия/безопасности.

мизирующему» дискурсу, который выделяет одни значимые аспекты — битвы, героические поступки, завоевания и подписания договоров — и забывает о других [Sjoberg 2013: 49, 120–122]. В то время как в исследованиях глобальных конфликтов есть тенденция обращать внимание на потери с обеих сторон, на физические увечья или психологический урон от военных действий, а также на разрушение городских ландшафтов и потерю ценных объектов культурного наследия, травму массового сексуального насилия принято замалчивать. Культура замалчивания укоренена в повседневной жизни и связана с ожиданиями, которое предъявляет общество к женщинам, в то время как игнорирование такого преступления, как изнасилования в военное время, связано с тем, что оно обесценивается по сравнению с потерей здоровья или жизни и признается политиками «несправедливым, но неизбежным» [Weaver 2010: 2–3].

Проблема сексуального насилия во время конфликтов в феминистской критике войны, с одной стороны, связывается с гендерной дискриминацией, с другой — с континуумом различных форм насилия, чему мы уделим внимание в следующем разделе. Гендер характеризуется как символический конструкт и дискурс, создающий и одновременно созданный социальной иерархией и представлениями о мужском и женском, безопасности и справедливости. Феминистские ученые проблематизируют гендерную нейтральность различных дисциплин, исследующих конфликт, и вносят понятие гендера как категории, которая может изменить представления об истории (в том числе об истории войн) и расширить точку зрения, с которой рассказывается история.

83

Концепт насилия на микро- и макроуровнях

Анализ механизма сексуального насилия в военное время, выявляющий его глубинную связь с легальными бытовыми практиками мирной жизни, служит ярким примером того, как феминистская теория конфликта прослеживает континуум насилия между микро- и макроуровнем, ведь высокий уровень насилия во время глобальных и региональных конфликтов глубинно связывается с повседневными правовыми структурами мирного времени. Феминистская критика войны и насилия апеллирует к понятию континуума насилия — континуальности, перетекания разнообразных форм насилия на глобальном и повседневном уровнях, включая и войну [Sjoberg 2013: 39; Confortini 2010/2017]. Радикальный феминизм прослеживает, как закон делает женщин невидимыми — сначала на повседневном уровне, а потом и в военное время — через различие степени ущерба между потерей жизни, конечности,

здоровья и претерпеванием сексуального насилия [Peach 2005: 58–72]. Исследовательницы критикуют правовую практику, следящую за соблюдением *буквы закона*, который, в свою очередь, построен на несправедливых основаниях, угнетающих женщину и развязывающих руки домашним насильникам [Ibid.: 59]. Критический аргумент направлен на существующую систему закона, который может помочь только в случаях «видимого», физического насилия, в то время как иные структуры угнетения — финансового, психологического и социального — труднее отследить, они остаются вне действия правил и продолжают причинять вред жертве [Ibid.: 68]. Военные же преступления оказывается отследить еще труднее. На этом этапе мы можем проследить, как феминистские ученые вводят новую методологическую предпосылку в теорию конфликта, связывающую повседневное насилие с массовым насилием во время войны. Здесь нужно отметить глубокое пересечение механизма социологии конфликта, предложенного Р. Коллинзом, и феминистской идеи континуума насилия. Рэндалл Коллинз определяет социологию конфликта как «область социологии, которая исследует структуры стратификации и иерархии для объяснения социальных феноменов» [Collins 1990: 72]. В системе Коллинза структуры иерархии и господства, конфликт и насилие находятся в плотной взаимосвязи и взаимообуславливают друг друга [Коллинз 2009: 127–129]. Идея того, что макросоциальные отношения имеют основания в бытовых интеракциях, играет значительную роль в его социологии конфликта: «...микро- и макро- [уровни] не предстают как отдельные друг от друга области социальной реальности, <...> но представляют собой части пространственно-временного континуума социальной реальности»¹ [Rössel, Collins 2006: 509]. Р. Коллинз добавляет: «[Перспектива конфликта] указывает только на верхнюю часть айсберга: зримые события революций, войн, социальных движений. Но эта позиция имеет в виду равным образом и повседневные структуры господства» [Коллинз 2009: 61]. Эта интуиция является общей для социологии конфликта и феминистской критики войны.

Феминистские исследовательницы интерсекционального и деколонизального направлений указывают, что наряду с гендером повседневное насилие зависит и от других маргинализирующих факторов: «...женщина не становится жертвой угнетения просто потому, что она женщина; то, каким формам угнетения она подвергается, зависит от того, “какая именно” перед нами женщина: [...какой она] расы, класса, религии, сексуальной ориентации» [Spelman 1988: 52]. Концептуализация насилия существенно расширяется и полагает его в каче-

1 Здесь и далее курсив мой. — Д. Ч.

стве постоянного спутника структур господства. Позиция интерсекционального феминизма указывает на десятки способов угнетения маргинализированных социальных групп — людей отдельных рас, классов, типов сексуальности, состояний физического/ментального здоровья. В военное время эти группы гораздо больше подвержены риску [Confortini 2010/2017]. В то время как теория войны направлена на то, чтобы закончить вооруженный конфликт, феминистская критика позволяет указать на континуум насилия. Расширяется само представление о конфликте, протекающем в других, более «спокойных» и повседневных формах на фоне расового, гендерного, классового и другого неравенства. Таким образом, хотя гендер как категория, маркирующая «властный» и «маргинальный» дискурсы, выступает в качестве главной призмы для феминистского анализа войны и насилия, исследовательницы указывают, что параллельно основанием для угнетения служат иные маргинализирующие факторы: раса, класс, сексуальность и физическое/ментальное состояние.

Так, одной из ключевых схожих черт феминистской критики войны с социологией конфликта нам представляется тенденция проследить насилие как континуум, включающий в себя как бытовые взаимодействия, так и конфликты глобальных масштабов. Мы продемонстрировали, как различные направления феминизма связывают насилие во время войн и других крупных конфликтов с повседневными структурами угнетения. Анализируя феминистскую критику войны в рамках социологии конфликта Р. Коллинза, можно отнести это течение к традиции конфликта, которая обращает внимание на последствия социальной иерархии на микроуровне.

85

Насилие и понятие «мира в позитивном смысле»

Опираясь на понимание мира в строгом смысле слова — как состояния безопасности, справедливости и социального равенства — феминистская критика не разделяет «военное» и «мирное» время как противоположности. Мир полагается полем конфликта с применением насилия, пока в нем не наблюдается развития правовой справедливости и отсутствия насилия в любых его формах [Wibben et al. 2019: 86–107]. Концепт континуума насилия указывает на переход повседневных форм угнетения в более глобальные, что имеет двоякие последствия: с одной стороны, смещенная грань между насилием и безопасностью нормализует применение насилия для разрешения конфликтов и в этом смысле быстрее приводит к эскалации конфликта, с другой — военный опыт обесценивает то угнетение, с которым повседневно сталкиваются люди маргинализированных групп. Вооруженный конфликт, утверждают иссле-

довательницы, концептуализируется как страшное преступление, поскольку во время войны особенно заметны разрушительные действия от разных видов насилия, однако наступление мира не гарантирует того, что насилие в меньшем масштабе будет замечено и справедливо наказано [см.: Wibben et al. 2019]. Здесь в качестве части peace education вновь выступает расширение дискурсивных практик: считается, что необходимо освещать лично переживаемое насилие, ведь это позволит избежать ошибочных представлений о безопасном «мире», поскольку насилие и представление о мирном состоянии концептуально взаимосвязаны [Ibid.: 98].

Схема континуума насилия обращает фокус феминистских исследователей на миротворческие практики, поскольку первостепенной задачей становится максимально снизить уровень конфликтов с применением насилия в быту. Данное концептуальное замечание является системообразующим для всей феминистской критики войны: в то время как насилие на войне являет себя трагично и торжественно, ежедневное насилие может скрадываться за общечеловеческими образами трагедии и законом, который не фиксирует — и, соответственно, не может наказать — все разнообразие форм угнетения, которым подвергаются маргинализированные слои общества. Поэтому ученые работают над тем, чтобы расширять общественные представления о насилии. Проиллюстрируем это междисциплинарным исследованием, проведенным в африканских деревенских школах. Социологи Ю. Омар и А. Бадрудин заявляют, что в африканских школах в эпоху постапартеида произошли некоторые изменения к лучшему, однако формальный отказ от сегрегации не может уберечь от других, невидимых форм насилия [Omar, Badroodien 2020: 175]. В то время как учителя в школах рассуждают о мире и справедливости, о равенстве всех людей, в школе довольно часто встречаются многообразные формы притеснения из-за оттенка кожи, гендера, возраста или района проживания учеников. Хотя речь не идет о войне или убийствах, уровень психологического давления, с которым встречаются учащиеся, довольно высок. Данное исследование предлагает пример того, как конфликтная среда, включающая различные формы повседневного насилия, формирует у взрослых и детей многообразные и конкурирующие представления о «долгом и справедливом мире» [Omar, Badroodien 2020: 196].

Таким образом, методология феминистской критики расширяет концептуальные рамки насилия и связывает множественные и разнообразные микроконфликты с их эскалацией во время военных действий. Идея мира в позитивном смысле (positive peace) заключается в том, что теоретикам и политикам недостаточно просто заключить мирный договор и прописать практики post bellum: достижение подобного мира возможно только в том случае, если

будет вестись активная работа по неспособствованию конфликтам, являющимся следствием социального неравенства [Wibben et al. 2019: 98–99]. Одним из первых шагов в этом направлении и являются упомянутое выше направление «обучения в духе мира» и феминистская критика, которая исследует взаимосвязь насилия и гендерных отношений власти через расширение «точки зрения»: «...учитывание женского опыта расширяет масштабы миротворчества, поскольку их деятельность направлена на трансформацию конфликта в психосоциальных, семейных и духовных, а также политических и экономических аспектах» [El-Bushra 2007: 138].

Введение понятия «невидимого» насилия для анализа повседневности и необходимость учитывать точки зрения маргинализированных слоев населения снимает жесткое противопоставление между глобальным конфликтом и мирным состоянием, ставя перед теоретиками необходимость более детально прорабатывать критерии мира и справедливости. Таким образом, с одной стороны, ответственность за мирное состояние ложится не только на плечи политиков и дипломатов, но и воспитателей, ученых и родителей; с другой — не выносятся требование не вести войны в целом, поскольку они в некотором смысле являются частью континуума насилия, которое, в свою очередь, проистекает из структур гендерной, расовой и иной властной иерархии. Феминистская критика войны предлагает концепт мира «в позитивном смысле» вместо мира как отсутствия активной военной фазы — мира «в негативном смысле» [Confortini 2012: 5–7].

87

Заключение

В данной статье мы представили основные понятия феминистской критики войны (которая включает в себя различные направления, в том числе феминистскую теорию международных отношений, исследования мира и конфликтов, миротворческий активизм и обучение «в духе мира»): гендер в контексте социального конфликта, конфликт и насилие, мир и безопасность. Помимо гендера в качестве категорий, обуславливающих отношения власти, были упомянуты раса, национальность, класс, состояния физического и ментального здоровья. Мы предложили выделить в феминистских исследованиях две стратегии: стратегию *genetivus objectivus* (труды, расширяющие представления о «феминности» и о роли женщин в конфликтах различного масштаба) и стратегию *genetivus subjectivus* (исследования, предлагающие переосмыслить те или иные события с точки зрения представителей маргинализированных слоев). Особое внимание мы уделили таким концептуальным предложениям феминистской критики войны, как мир «в позитивном смысле» и континуум насилия.

Феминистский подход, позволяющий проследить связь насилия в повседневных социальных интеракциях с глобальными конфликтами, разделяет свои основные предпосылки с социологией конфликта. Среди них можно назвать стремление рассматривать конфликты на микро- и макроуровне как взаимосвязанные и взаимообуславливаемые и тенденцию характеризовать конфликт как следствие социальной иерархии и различных властных структур (в которые включены гендер, сексуальность, раса, класс, физические/ментальные состояния и прочие). Помимо этого, феминистские ученые рассматривают конфликт как необходимый и способный привести к прогрессу элемент человеческих отношений [Wibben et al. 2019: 87]. Также мы пронаблюдали, что феминистские исследования войны и мира имеют пересечения с проектом микро- и макросоциологии, предложенным Р. Коллинзом, и вливаются в «перспективу конфликта» [Коллинз 2009: 61–63]. Их общей с социологией конфликта задачей является выявление и критика иерархических и идеологических социальных структур, за которыми могут скрываться реальные интересы тех или иных господствующих групп. Методологические предпосылки и способы концептуализации конфликта и насилия, продемонстрированные нами в их взаимосвязи, позволяют оценить, как феминистская критика войны может обогатить исследования войны и мира в целом.

Постоянная критическая работа с концептуальным аппаратом и внимание к менее глобальным формам социальной жизни обеспечивают феминистскую теорию мира и конфликтов широкой базой для методологического и идейного обмена с социологией конфликта. Схема континуума разнообразных и взаимосвязанных форм насилия — не только физического, но и психологического, финансового, социального и прочего — показывает, что концептуальное противоречие войны и мира устарело, и сегодня перед исследователями может быть поставлена задача по критике насилия в его самом широком понимании, нежели в наиболее заметных и эскалированных формах.

Библиография / References

Алексеева Т. А., Лебедева М. М. (2006) «Женщина-невидимка» в мировой политике: уроки для России. Тикнер Дж. Э. *Мировая политика с гендерных позиций. Проблемы и подходы эпохи, наступившей после «холодной войны»*. Д. И. Полывянный (ред.), М.: Культурная революция: 7–22.

— Alekseeva T. A., Lebedeva M. M. (2006) “Invisible” Woman in the Global Politics. Tickner J. A. *Gender in International Relations. Issues and Approaches in the Post-Cold War Era*. D. I. Polyvyanny (ed.), Moscow: Kulturnaya Revolyuciya Publ: 7–22. — in Russ.

Виноградова С. М. (2010) Государство, безопасность, суверенитет: международные отношения в зеркале феминизма. *Политическая экспертиза*, 6 (4): 53–67.

— Vinogradova S. M. (2010) State, Security, Sovereignty: International Relations in the Prism of Feminism. *Political expertise: POLITEX*, 6 (4): 53–67. — in Russ.

Волков Ю. Г., Добренчиков В. И., Нечипуренко В. Н., Попов А. В. (ред.) (2003) *Социология*, М.: Гардарики.

— Volkov Yu. G., Dobren'kov V. I., Nechipurenko V. N., Popov A. V. (eds.) (2003) *Sociology*, Moscow: Gardariki. — in Russ.

Здравомыслов А. Г. (1995) *Социология конфликта: Россия на путях преодоления кризиса: Учебное пособие*. 2-е изд., М.: Аспект Пресс.

— Zdravomyslov A. G. (1995). *Sociology of Conflict: Russia on its Ways to Ivercome the Crisis*. 2nd Ed, Moscow: Aspect-Press. — in Russ.

Коллинз Р. (2009) Четыре социологических традиции / Пер В. Россмана, М.: Издательский дом «Территория будущего».

— Collins R. (2009) Four Sociological Traditions / Trans. By V. Rossman, Moscow: "Territoriya budushchego" Publ. — in Russ.

Кутелева А. В. (2022) Множественность феминизма: синтезы локальности и универсальности. *Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология*, 24 (1): 16–24.

— Kuteleva A. V. (2022) The Multiplicity of feminism: Syntheses of the Local and the Universal. *RUDN Journal of Political Science*, 24 (1): 16–24. — in Russ.

Пронин С. В. (ред.) (1993) *Социальные конфликты в современном обществе*, М.: Наука.

— Pronin S. V. (ed.) (1993) *Social Conflicts in Modern Society*, Moscow: Nauka. — in Russ.

Прошанов С. Л. (2008) *Социология конфликта в России: История, теория, современность*, М.: Издательство ЛКИ.

— Proshanov S. L. (2008) *Sociology of Conflict in Russia: History, Theory, Modernity*, Moscow: LKI Publ. — in Russ.

Сергунин А. А. (2003) *Российская внешнеполитическая мысль: проблемы национальной и международной безопасности*, Нижний Новгород: НГЛУ.

— Sergunin A. A. (2003) *Russian Foreign Policy Thought: Problems of National and International Security*, Nizhny Novgorod: Nizhny Novgorod State Linguistic University. — in Russ.

Соколов С. В. (2001) *Социальная конфликтология: Учеб. пособ. для вузов*, М.: ЮНИТИ.

— Sokolov S. V. (2001) *Social Conflict Theory: A Guideline for Universities*, Moscow: UNITY Publ. — in Russ.

Соломатина Е. Н. (2011) *Социология конфликта: Учебное пособие для вузов*, М.: Академический проект; Альма Матер.

— Solomatina E. N. (2011) *Sociology of Conflict: A Guideline for Universities*, Moscow: Academic Project; Alma Mater Publ. — in Russ.

Тикнер Дж.Э. (2006) *Мировая политика с гендерных позиций. Проблемы и подходы эпохи, наступившей после «холодной войны»* / Пер. с англ. Д. И. Поливьянного (ред.), М.: Культурная революция.

— Tickner J. A. (2006) *Gender in International Relations. Issues and Approaches in the Post-Cold War Era*. D. I. Polyvyanny (ed.), Moscow: Kulturnaya Revolyuciya Publ. — in Russ.

Addams J., Carroll B. A., Fink C. F. (2007) *Newer Ideals of Peace*, Urbana: University of Illinois Press. First published 1907.

Allhoff F., Evans N. G., Henschke A. (eds.) (2013) *Routledge Handbook of Ethics and War. Just War Theory in the twenty-first century*, New York, London: Routledge.

Baligadoo P. D. (2020) Learning for Peace: The Montessori Way. Morgan W. J., Guilherme A. (eds.) *Peace and War: Historical, Philosophical, and Anthropological Perspectives*, Springer, Palgrave Macmillan: 155–175.

Chafetz J. S. (1997) Feminist Theory and Sociology: Underutilized Contributions for Mainstream Theory. *Annual Review of Sociology*, 23: 97–120.

Collins R. (1990) Conflict Theory and the Advance of Macro-historical Sociology. Ritzer G. (ed.) *Frontiers of Social Theory: The New Syntheses*, Columbia: Columbia University Press: 68–87.

90

Confortini C. C. (2012) *Intelligent Compassion: Feminist Critical Methodology in the Women's International League for Peace and Freedom* // Oxford Studies in Gender and International Relations. Illustrated Edition, Oxford: Oxford University Press.

Confortini C. C. (2010/2017) Feminist Contributions and Challenges to Peace Studies. Denmark R. A., Marlin-Bennett R. (eds.) *The International Studies Encyclopedia*. URL: <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.47>

El-Bushra J. (2007) Feminism, Gender, and Women's Peace Activism, *Development and Change*, 38 (1): 131–147.

Enloe C. (2000) *Maneuvers: The International Politics of Militarizing Women's Lives*, Berkeley: University of California Press.

Enloe C. (2005) What if Patriarchy Is the Big Picture? An Afterword. Mazurana D. E., Raven-Roberts A., Parpart J. L. (eds.) *Gender, Conflict, and Peacekeeping*, Lanham: Rowman & Littlefield: 280–283.

Frazer E., Hutchings K. (2014) Feminism and the Critique of Violence: Negotiating Feminist Political Agency. *Journal of Political Ideologies*, 19 (2): 143–163.

Goldstein J. S. (2001) *War and Gender: How Gender Shapes the War System and Vice Versa*, Cambridge: Cambridge University Press.

Harding S. (2015) *Objectivity and Diversity: Another Logic of Scientific Research*, Chicago: University of Chicago Press.

Hooper C. (2001) *Manly States: Masculinities, International Relations, and Gender Politics*, New York: Columbia University Press.

Jacoby T. A. (2010) Fighting in Feminine: The Dilemmas of Combat Women in Israel, Sjoberg L., Via S. (eds.) *Gender, War, and Militarism. Feminist Perspectives*. Foreword by C. Enloe, Praeger: Praeger Security International: 80–91.

- Jenkins T., Reardon B. A. (2007) Gender and Peace: Towards a Gender-Inclusive, Holistic Perspective. Weibel C., Galtung J. (eds.) *Routledge Handbook of Peace and Conflict Studies*, London: Routledge: 209–231.
- McAfee N. (2018) Feminist Philosophy. Edward N. Zalta E. N. (ed.) *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2018 Edition). URL: <https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/feminist-philosophy/>
- Montessori M. M. (1992) *Education for Human Development: Understanding Montessori*, Oxford: Clio Press.
- Morgan W. J., Guilherme A. (eds.) (2020) *Peace and War: Historical, Philosophical, and Anthropological Perspectives*, Springer, Palgrave Macmillan.
- Oakley A. (1972) *Sex, Gender and Society*, London: Temple Smith.
- Omar Yu., Badroodien A. (2020) Peace and Violence in Poor Rural Schools in Post-Apartheid South Africa. Morgan W. J., Guilherme A. (eds.) *Peace and War: Historical, Philosophical, and Anthropological Perspectives*, Springer, Palgrave Macmillan: 175–199.
- Peach L. J. (1994). An Alternative to Pacifism? Feminism and Just-War Theory. *Hypatia*, 9(2): 152–172.
- Peach L. J. (2005) Is Violence Male? The Law, Gender, and Violence. Waller M. R., Rycenga J. (eds.) *Frontline Feminisms: Women, War, and Resistance*, New York: Routledge, 58–72.
- Pettersen T. (2021) Feminist Care Ethics: Contributions to Peace Theory. Väyrynen T., Parashar S., Feron E., Confortini C. C. (eds.) *Routledge Handbook of Feminist Peace Research*, New York, London: Routledge: 28–39.
- Rhode D. L. (1990) Feminist Critical Theories. *Stanford Law Review*, 42(3): 617–638.
- Rosenberg K. E., Howard J. A. (2008) Finding Feminist Sociology: A Review Essay. *Signs*, 33 (3): 675–696.
- Roseneil S. (1995) The Coming of Age of Feminist Sociology: Some Issues of Practice and Theory for the Next Twenty Years. *The British Journal of Sociology*, 46 (2): 191–205.
- Rössel J., Collins R. (2002). Conflict Theory and Interaction Rituals. The Microfoundations of Conflict Theory. Turner J. H. (ed.) *Handbook of Sociological Theory*, New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers: 509–532.
- Sjoberg L. (2009) Introduction. Sjoberg L. (ed.) *Gender and International Security. Feminist Perspectives*, London and New York: Routledge.
- Sjoberg L. (2013) *Gendering Global Conflict: Toward a Feminist Theory of War*, New York: Columbia University Press.
- Sjoberg L., Gentry C. E. (2007) *Mothers, Monsters, Whores. Women's Violence in Global Politics*, London & New York: Zed Books.
- Sjoberg L., Gentry C. E. (eds.) (2011) *Women, Gender, and Terrorism*, Athens & London: The University of Georgia Press.
- Sjoberg L., Via S. (eds.) (2010) *Gender, War, and Militarism. Feminist Perspectives*. Foreword by C. Enloe, Praeger: Praeger Security International.
- Spelman E. (1988) *Inessential Woman: Problems of Exclusion in Feminist Thought*, Boston: Beacon Press.

Stacey J., Thorne B. (1985) The Missing Feminist Revolution in Sociology. *Social Problems*, 32 (4): 301–316.

Steans J. (1998) *Gender and International Relations: An Introduction*, New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Tickner J. A. (1995) Introducing Feminist Perspectives into Peace and World Security Courses. *Women's Studies Quarterly*, 23(3/4): 48–57.

Tickner J. A. (1997) You Just Don't Understand: Troubled Engagement Between Feminists and IR Theorists. *International Studies Quarterly*, 41 (4): 611–632.

Väyrynen T., Parashar S., Feron E., Confortini C. C. (eds.) (2021) *Routledge Handbook of Feminist Peace Research*, New York, London: Routledge.

Vergès F. (2022) *A Feminist Theory of Violence. A Decolonial Perspective*/Trans. by M. Thackway, London: Pluto Press.

Via S. (2010) Gender, Militarism, and Globalization: Soldiers for Hire and Hegemonic Masculinity. Sjoberg L., Via S. (eds.). *Gender, War, and Militarism. Feminist Perspectives*. Foreword by C. Enloe, Praeger: Praeger Security International.

Waller M. R., Rycenga J. (eds.) (2005) *Frontline Feminisms: Women. War, and Resistance*, New York: Routledge.

Walzer M. (1977) *Just and Unjust Wars. A Moral Argument with Historical Illustrations*. First edition, New York: Basic Books.

Warnke G. (2008) Rethinking Sex and Gender Identities. Warnke G. *After Identity: Rethinking Race, Sex and Gender*, Cambridge: Cambridge University Press: 153–187.

Weaver G. M. (2010) *Ideologies of Forgetting. Rape in the Vietnam War*, New York: University of New York Press.

Weigert K. M. (1990) Experiential Learning and Peace Education: On Visiting Greenham Common Women's Peace Camp. *Peace and Change*, 15 (3): 312–330.

Wibben A. T., Confrontini C. C., Roohi S., Aharoni S. B., Vastapuu L., Vaittinen T. (2019) Collective Discussion: Piercing-Up Feminist Peace Research. *International Political Sociology*, 13 (1): 86–107.

Witt C. (2011) *The Metaphysics of Gender*, Oxford: Oxford University Press.

Рекомендация для цитирования:

Чаганова Д. Н. (2023) Понятия насилия и мира в феминистской критике войны. *Социология власти*, 35 (1): 93–117.

For citations:

Chaganova D. N. (2023) The Concepts of Violence and Peace in Feminist Critiques of War. *Sociology of Power*, 35 (1): 93–117.

Поступила в редакцию: 01.03.2023; принята в печать: 26.03.2023

Received: 01.03.2023; Accepted for publication: 26.03.2023

АЛЕКСАНДР О. АРХИПОВ¹

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

ORCID: 0000-0003-3703-9884

К социальной философии геноцидов

doi: 10.22394/2074-0492-2023-1-93-117

Резюме:

В первой части автор проводит работу по определению и прояснению трех отличительных для социальной философии геноцидов категорий: цели, предмета и метода. Прояснение этих категорий дает содержательное представление о социальной философии геноцидов и позволяет провести различие между философскими исследованиями геноцида и, с одной стороны, научными объективациями этого феномена, а с другой стороны, другими философскими дисциплинами, опирающимися на эмпирический материал геноцидов. Утверждается, что предмет социальной философии геноцидов составляет определение геноцида и эпистемически проблемное в геноцидах; цель этой дисциплины состоит в предотвращении геноцидов посредством критики предшествующих решений детерминант (пред-рассудков); метод социальной философии геноцидов составляет параллаксное видение и критическая установка на поиск «темного» в модерне. Каждая из тематизированных категорий определяет социальную философию геноцидов как самостоятельную дисциплину, отличную благодаря предмету от научных объективаций геноцида, благодаря методу и цели — от объективации геноцида моральной философией и философией религии. В заключение первой части дается краткая дефиниция дисциплины: социальная философия геноцидов — это кластер критических философских исследований, рассматривающих эпистемически проблемное в геноцидах, определение геноцида, причины геноцида, имеющих целью посредством критической рефлексии предотвращение геноцидов. Во второй части автор фиксирует методологические проблемы исследований в рамках социальной философии геноцидов и предлагает программу этой дисциплины, состоящую из трех проектов: генеалогии геноцидов, исследований премодерновых геноцидов и составления каталога семейных сходств геноцидов.

Ключевые слова: Геноцид, Холокост, социальная философия, genocide studies, метод

93

¹ Архипов Александр Олегович — студент бакалавриата философии НИУ ВШЭ. Научные интересы: социальная философия, genocide studies. E-mail: aoarkhipov_1@edu.hse.ru

Alexander O. Arkhipov¹

HSE University, Moscow, Russia

Towards a Social Philosophy of Genocide

Abstract:

In the first part of this paper, the author proceeds to identify and clarify three categories that are distinctive for the social philosophy of genocides: aim, subject, and method. The clarification of these categories makes meaningful the social philosophy of genocides. This makes it possible to distinguish between the social philosophy of genocides — and the scientific objectification of this phenomenon — and the social philosophy of genocide — alongside other philosophical disciplines — using the empirical material of genocides. It is argued that the subject of the social philosophy of genocides is the definition of genocide and the epistemically problematic in genocides; the aim of this discipline is to prevent genocides by criticizing the determinants (pre-reasons) that precede decision-making; the method of social philosophy of genocides is a parallax vision and a critical attitude towards the search for the "dark" in modernity. Each of the thematized categories defines the social philosophy of genocide as an independent discipline, distinct through its subject from scientific objectifications of genocide and through its method and aim from objectifications of genocide by moral philosophy and philosophy of religion. The first part concludes with a brief definition of the discipline: the social philosophy of genocides is a cluster of critical philosophical studies which examine the epistemically problematic in genocides, the definition of genocide, the causes of genocide, with the aim of preventing genocides through critical reflection. In the second part, the author situates the methodological problems of the research within the social philosophy of genocides and proposes a program of this discipline consisting of three projects: genealogy of genocides, studies of pre-modern genocides, and a catalogue of family resemblances of genocides.

Keywords: Genocide, Holocaust, social philosophy, genocide studies, method

Введение

Александр Йокич в своей рецензии на сборник статей «Genocide and Human Rights: A Philosophical Guide» пишет: «...многие другие авторы статей этого сборника просто сосредотачиваются на вопросах, которые являются основным предметом их специализации в философии, и они, только касаясь геноцида, должно быть, думают, что могут внести свой вклад в его объяснение...». И далее экстраполирует своей тезис на аналогичные философские исследования

1 Alexander O. Arkhipov — philosophy undergraduate student at HSE University. Research interests: social philosophy, genocide studies. E-mail: aoarkhipov_1@edu.hse.ru

феномена геноцида: «...существует множество книг на эту тему, которые почти столкнулись с теми же серьезными проблемами, что и эта книга...» [Jokic 2007: 95-96].

Есть основания считать убедительным критическое заключение Йокича об участии философов в исследованиях геноцида.

Начиная с 1990-х годов, времени становления genocide studies благодаря активности журналов «Genocide Studies and Prevention» и «Journal of Genocide Research», участие философов в изучении феномена геноцида оставалось относительно ограниченным [Roth 2005: 1]. Обзор немногочисленной философской литературы в рамках genocide studies¹ дает понять, что под именем философских исследований геноцида скрываются самые разнообразные работы, вклад которых в исследования самого феномена геноцида зачастую сомнителен. В них мы встретим вариацию аргумента от тонкой настройки в пользу существования Бога, использующую в качестве одной из посылок [Davis 2005: 35-46] тот факт, что геноциды происходили в мировой истории, исследования, посвященные установлению причастности философии или отдельных философов к геноцидам или геноцидарным дискурсам [Tatz 2005: 82-95], социально-философские работы которых роднит с социологией, историей, perpetrator studies² и другими науками задача определения геноцида, поиска его причин, анализа связанных с геноцидом феноменов расизма и национализма.

95

Вследствие этого к множеству философских исследований геноцида можно осмысленно задать следующие вопросы: в каком смысле такие исследования являются «философскими», если они в чем-то аналогичны наукам или perpetrator studies? В каком смысле такие исследования являются исследованиями геноцида, если в ряде случаев они только касаются его?

Такое положение дел можно было бы объяснить обычными институциональными условиями существования академических работ и не останавливаться на нем, если бы оно не сопровождалось недостаточным вниманием самих исследователей к проблематизации того, чем является философское исследование геноцида.

В философских исследованиях геноцида мы скорее обнаружим этическую рефлексию, проблематизацию разрыва между кабинетной философией и ужасом геноцида как действительного события

1 Я имею в виду в первую очередь такие сборники, как [Roth, Berenbaum (eds.) 1989; O'Byrne, Schuster (eds.) 2020. — 301 p.; Roth J. (ed.) 2005].

2 Perpetrator studies — кластер исследований преступников, отправляющих геноцидарное насилие и/или не-геноцидарные массовые убийства и террор. Преимущественно исследуются их мотивация, причины и резоны поведения, но исследования в рамках perpetrator studies не ограничиваются этими темами. См.: [Susanne, Goldberg, Goldberg (eds.) 2020].

[См.: Theriault 2017: 137–167; Stone 2020: 246–263; отчасти: Gaita 2005: 153–166], чем рефлексия вопросов «А что, собственно, значит философское исследование геноцида?», «Чем именно занимается философ, когда делает объектом своего исследования геноцид?».

Цель настоящего исследования состоит в определении трех категорий, которые являются отличительными для философских исследований геноцидов. Эти категории должны ответить на поставленные выше вопросы, т. е. отличить философское исследование, имеющее своим объектом геноцид, с одной стороны, от исследований, рассматривающих те проблемы, которые традиционно атрибутируют к философии (зла, агентности, теодицеи, границ ответственности и т. д.), рассмотренных на эмпирическом материале геноцидов, и с другой — от наук, также объективирующих геноцид.

Так как геноцид мы относим к «социальным» феноменам, что бы ни значило слово «социальный», то философские исследования, имеющие своим объектом именно геноцид, должны принадлежать к социальной философии. В таком случае дисциплину, которую составляют рассматриваемые философские исследования геноцида, можно назвать социальной философией геноцидов.

96

В связи с этим я буду опираться на отечественную метафилософскую дискуссию о социальной философии [См.: Сиземская 2018: 123–127; Павлов 2018b: 131–135; Павлов Параллакс 2018a: 149–172] и говорить о следующих трех отличительных категориях философских исследований геноцида: цель, предмет и метод. Прояснение этих категорий позволит сделать вывод о содержании социальной философии геноцидов.

Предмет: эпистемически проблемное в исследовании геноцида

Существенной особенностью геноцида как предмета науки или философии является его эпистемическая проблемность. Существует известный тезис о некоторой «непознаваемости»¹ геноцида или его «невыразимости» [Агамбен 2012: 32]. Оба эти тезиса являются сильными в следующем смысле: для их доказательства нам требуется разработанная теория познания, и следствия этих тезисов делают исследования геноцидов невозможными. Несмотря на то что истинность этих тезисов находится под вопросом, так как они противоречат тому, что мы актуально познаем и выражаем геноциды в научном дискурсе так, что это не выглядит спекуляцией, эти тезисы являются очень убедительными. Следует ослабить их следующим

1 См., например, тезис о трансцендентности Холокоста по отношению к истории: [Shuster 2010: 244].

образом: геноциды проблематично мыслить. В таком случае сложность, артикулируемая как трансцендентность или невыразимость, заключается в том, что любой геноцид является событием, которое нарушает работу наших интуиций (в смысле стабильных бездоказательных мнений, в истинности которых мы не сомневаемся).

Например, у нас есть комплекс интуиций, которые касаются нас как человеческих субъектов. В обыденной жизни мы полагаем, что человек может быть охарактеризован через ряд предикатов: как добродетельный или порочный, сдержанный или импульсивный, скупой или щедрый и др. Эти интуиции присутствуют в нашем языке рефлексии и в наших техниках конституирования себя как личности в том смысле, что мы часто утверждаем себя как себя, мысля в рамках определенных категорий, задаемся вопросами «Являюсь ли я хорошим, честным, трудолюбивым и т. д.?».

Но в условиях заключения в концентрационном лагере или лагере смерти эти интуиции дисфункциональны. Примо Леви свидетельствует об этом следующее: «...лагерь выявляет два совершенно различных типа людей, назовем их спасенными и канувшими. Другие антонимические пары (хорошие и дурные, мудрые и глупые, трусливые и смелые, неудачники и удачливые) гораздо менее точны и выразительны, а кроме того, нуждаются в дополнительной градации. <...> В нормальной жизни деление людей на две вышеназванные категории [спасшиеся и канувшие] не так очевидно: редко случается, чтобы человек сгинул без следа, потому что обычно он не одинок, при взлетах и падениях он связан со своими близкими» [Леви 2001: 105].

97

В условиях невыносимого физического и морального истощения, голода, болезней, одиночества и негуманного отношения складываются два фактора, влияющие на способность субъекта конституировать себя: невозможность долгосрочного планирования, с одной стороны, и необходимость выживания — с другой. Эти два фактора релятивизируют каждую из пар, о которых говорит Леви, из-за чего на первый план в акте рефлексии о самом себе выходит новая, игнорируемая в обычных условиях пара «спасшийся — канувший». Наши мнения о том, каким может быть человек, — все, что оформляет опыт и делает наши высказывания о самих себе осмысленными — бесцельны перед опытом лагерного заключения; в лагере невозможно полагать себя в тех же терминах, что в условиях обычной жизни.

То же касается и моральных интуиций. В рамках прогнозирования, когда мы представляем возможные альтернативные миры, нам кажется невозможным, чтобы кто-то в здравом уме собственноручно ежедневно убивал сотни людей только исходя из их расовой принадлежности. Это противоречит нашим устойчивым мнениям о том, кем являются люди как моральные агенты. Однако история геноцидов показывает, что это более чем возможно.

Другой иллюстрацией дисфункциональности наших интуиций является знаменитый отрывок эссе Адорно, ставший афоризмом («Писать стихи после Освенцима — это варварство» [Adorno 1980: 11-30]), или уточнение этого же отрывка Жижек («После Освенцима невозможна не поэзия, а проза» [Жижек 2010: 8]). У нас существует интуиция о том, что проза и поэзия являются формами репрезентации опыта в том смысле, что мы можем выстроить из личного сингулярного опыта некоторый единый литературный нарратив, т. е. сделать опыт доступным для других, оформив его.

Но опыт жертв Холокоста обладает сопротивляемостью к такому оформлению и репрезентации из-за его ключевой особенности, лакунарности. Вследствие того, что такой опыт является травмой, в нем присутствуют пробелы, его самые ужасные фрагменты не могут быть проговорены или зафиксированы. Именно эта особенность делает невозможной реалистическую прозу. Литературный нарратив прозы не может отразить какое-то положение дел, если само это положение дел, на уровне опыта его свидетеля, фрагментарно.

98

То же касается и поэзии. Для Адорно поэзия после Холокоста является принципиально проблемной из-за несоответствия, с одной стороны, средств репрезентации, и с другой — чрезвычайно ужасного опыта события [Rowland 2001: 253]. В обоих случаях наша устойчивая интуиция о том, что искусство является способом репрезентации, неадекватна Освенциму.

Здесь можно было бы привести ряд других примеров из сферы наших интуиций о Боге или историческом/моральном прогрессе, которые также проблематизирует геноцид, но уже сейчас можно заключить, что геноцид является эпистемически проблемным в следующем смысле: он противоречит нашим интуициям и его тяжело представлять в рамках процесса прогнозирования. В связи с этим геноцид является сущностью, которая обладает сопротивляемостью к объективации. Существует некоторая аналогия, слабая, но полезная для настоящей работы, между геноцидом, квантовыми объектами и бесконечностью; все они в каком-то смысле противоречат нашим интуициям и не объективируются наукой до конца.

Проиллюстрирую эту эпистемическую проблемность конкретным примером.

Исследователь Геноцида в Руанде Махмуд Мамдани указывает на следующее обстоятельство: в ходе Геноцида насилие отправлялось институтами, которые функционально никак не связаны с отправлением насилия. Мамдани пишет следующее: «То, что профессии, наиболее близко ассоциируемые с ценностью жизни — доктора и медсестры, священники и учителя, борцы за права человека — оказались втянуты в это, возможно, есть самый проблемный вопрос

Геноцида в Руанде» [Mamdani 2011: 228]. Рядом исследователей это обстоятельство подчеркивается как отличие Геноцида в Руанде от других геноцидов [Кривушин 2015: 192–193]. Факт, на который указывают Мамдани и другие исследователи, действительно является непонятным. Чтобы как-то объяснить его, нам нужно разойтись со здравым смыслом и интуициями о том, кем являются работники здравоохранения. Существование этого труднообъяснимого вопроса («Почему во время Геноцида в Руанде работники сферы здравоохранения убивали своих пациентов?»), полагаю, связано не с ограниченностью научной парадигмы, методологии или ошибками исследователей. Генезис этого вопроса заключается в эпистемической проблемности самого геноцида.

Вопрос об участии работников сферы здравоохранения в геноциде, как и подобные вопросы, чей генезис связан с эпистемической проблемностью геноцида, и составляют предмет социальной философии геноцида. Социальная философия геноцидов выполняет классическую для философии работу: проблематизирует, мыслит, проясняет и актуализирует в дискурсе такие предметы, которые не могут быть захвачены наукой из-за их резистентности к объективации.

В этом состоит отличие философских исследований геноцида от научных.

99

Так как философским осмыслением геноцидов занимается крайне мало авторов [Roth 2005: 1], и последовательный историко-философский нарратив о социальной философии геноцидов невозможен, я полагаю, что не связанных друг с другом по линиям рецепции, разнообразных по методологии, философскому бэкграунду, принадлежности к традиции и школе и т. д. авторов адекватно представить в одном нарративе можно в соответствии с тем, какие именно эпистемически проблемные сущности, принадлежащие геноцидам, они объективируют в своих работах. В этой работе я одновременно проиллюстрирую работу философов с эпистемически проблемным в геноциде и укажу на исследования, составляющие канон социальной философии, и на новейшие исследования, которые можно квалифицировать как социальную философию геноцидов по этому критерию.

Эпистемически проблемное: анализ свидетельства

Первый вид эпистемически проблемного, который рассматривает социальная философия геноцидов, — это свидетельства (testimony) выживших в геноциде.

Свидетельства составляют предмет социальной философии геноцидов по причине того, сам акт свидетельства может рассматриваться как парадоксальное.

Эта парадоксальность нуждается в пояснении. Прагматика свидетельства, если рассмотреть его как речевой акт, состоит в том, чтобы проинформировать о каком-то положении дел. Соответственно, свидетельство может быть прагматически успешным или не успешным в зависимости от того, выполняется эта коммуникативная задача или нет, т. е. от того, является ли свидетельство в первую очередь полным.

Но если посмотреть на хрестоматийные свидетельства Эли Визеля или Примо Леви, то мы обнаружим, что их свидетельства странным образом убедительны, притом что они не являются полными из-за лакунарности самого опыта Холокоста. Более того, если бы эти свидетельства были полными в том же смысле, как, например, детальный полицейский отчет, то такое свидетельство было бы менее убедительным [Жижек 2010: 7], так как сомнительно предполагать, что человек, перенесший травмирующий опыт, мог фотографически фиксировать и точно его воспроизводить в акте свидетельства. Свидетельство о Холокосте как речевой акт подчиняется правилам, противоположным для свидетельства в общем смысле, но при этом оно все еще является свидетельством.

100

Стратегией исследования такого вида эпистемически проблемного является прочерчивание границ теоретической успешности наших концептуализаций свидетельства в связи с его парадоксальностью. Яркий пример такой стратегии работы со свидетельством мы находим в каноничной для социальной философии работе Агамбена «Что остается после Освенцима?». Метод Агамбена состоит в фиксировании ряда апорий, связанных с феноменом свидетельства:

Этическая апория состоит в том, что свидетель, по факту своего выживания, не стал «канувшим» или «мусульманином», а значит, сохранил достоинство и самоуважение, но также из-за того, что он выжил, он утратил это достоинство и самоуважение; как пишет Леви: «выживали худшие, те, кто умел приспособливаться, — лучшие умерли все» [Цит. по: Агамбен 2012: 64]. Парадоксальный стыд свидетеля перед погибшими — это следствие этической апории. Этот стыд делает выжившего ненадежным свидетелем. Его показания всегда заражены, с одной стороны, его стыдом, и с другой — нашим подозрением в том, что из-за своего выживания он является слишком порочным агентом, чтобы компетентно свидетельствовать.

Историческая апория заключается в противоречии между опытом и представимостью этого опыта: для свидетеля Холокоста его опыт — самый действительный и достоверный, но в то же самое время этот опыт невообразим, он лакунарен и слишком ужасен, чтобы быть интеллигибельным. Свидетель говорит о том, что не может быть в полном смысле понятным.

Апория самого акта свидетельства, или, как ее формулирует Агамбен, «парадокс Леви» [Там же: 172], состоит в том, что един-

ственным действительным свидетелем, свидетелем *par excellence*, является только «канувший» или «мусульманин». Только погибший не заражен стыдом, его нельзя подозревать в порочности, его опыт является полным и достоверным, в его свидетельство не примешана собственная рефлексия, т. е. только он, что парадоксально, может дать прагматически успешное свидетельство.

Каждая из этих апорий уничтожает возможность анализа свидетельства: свидетельство не является некоторой констатацией положения дел из-за исторической апории, свидетельство нельзя рассмотреть как иллокутивный акт из-за апории акта свидетельства, свидетельство неподвластно анализу через теории дискурсов Фуко из-за того, что свидетельство требует субъекта говорения.

Эпистемически проблемное: парадоксальность геноцидов

Другим видом эпистемически проблемного в геноциде является парадоксальность геноцида: как событие геноциды являются в чем-то противоположными контексту времени и общества, в которых они происходили. Генезис этих парадоксов, полагаю, связан с тем, что геноциды тяжело когерентно вписать в общий исторический нарратив и в наши самоочевидные представления о социальном.

101

Прояснение эпистемически проблемного для социальной философии геноцидов заключается в фиксации и решении парадоксов, которые авторы обнаруживают в геноцидах. Соответственно, классические для социальной философии авторы, сформулировавшие эти парадоксы и их решения, составляют канон и для социальной философии геноцидов: серость и глупость Эйхмана и невероятная катастрофа, которую представляет Холокост для Арендт, триумф гуманизма и Просвещения в XX веке и Холокост для Адорно и Хоркхаймера, укорененность биополитических технологий, «заставляющих жить» в обществах модерна, и геноциды для Фуко, Модерна и Холокост для Баумана.

Решить подобные парадоксы означает установить между первым компонентом и вторым причинно-следственные отношения. Из-за того, что и научный дискурс о геноцидах также занимается поиском причин для геноцидов, здесь требуется второе различение философского рассмотрения геноцида и научного.

Здесь полезно будет различать позитивное знание, которое производит наука, и метазнание, которое производит философия. Метазнание является знанием о позитивном знании в следующем смысле: метазнание объясняет знание. Это означает поиск оснований для позитивного знания, его каталогизацию, встраивание его в другой

контекст; т. е. установление правил, по которым мы можем использовать позитивное знание.

Эта разница между позитивным знанием и метазнанием становится более ясной, если обратить внимание на различие между вопросами, на которые отвечают науки и социальная философия геноцидов.

Вопрос «Почему произошел геноцид X?» можно рассматривать исходя из двух разных прагматик этого вопроса. Первая прагматика вопроса состоит, собственно, в поиске действующих/достаточных/необходимых причин геноцида, которые: 1) не так отдалены от геноцида по времени; 2) экстраординарны или конфигурация этих причин достаточно уникальна. Именно в таком смысле отвечают на этот вопрос экономика, социальная психология, политология, теория международных отношений; в этих науках дается некоторое количество контингентных причин в качестве ответа, будь то мальтузианский кризис, действие жестокой пропаганды и языка ненависти, какой-то психологический эффект и т. д. Но возможно ответить на вопрос о причине геноцида и по-другому. Мы можем объяснить, почему произошел тот или иной геноцид с помощью указания на *обычные* причины (в смысле того, что они актуально присутствуют в обществе, но выходят за рамки очевидности, требуя философского анализа).

Классики, которых также можно квалифицировать и как классиков социальной философии геноцидов, могут быть объединены именно исходя из этой прагматики ответа на вопрос: Фуко связывает геноцид и укоренившуюся еще с классической эпохи биополитику, Агамбен связывает с той же биополитикой, но имеющей более древнее происхождение, Адорно и Хоркхаймер — с последствиями Просвещения, Арндт — с банальностью, отсутствием морального мышления, Бауман — с Модерном. Во всех этих случаях причина геноцида укоренена в обыденных для нас явлениях или в самом обществе.

Здесь мы получаем второе существенное различие — разная прагматика вопроса и, соответственно, различные ответы на этот вопрос. Объяснение в рамках социальной философии геноцидов заключается в попытке решения эпистемической проблемы геноцида — геноцид рассматривается не как экстраординарное, но как событие, которое является *ожидаемым* следствием обычных причин.

Предмет: определение

Поиск базовых определений для наук — конвенциональное занятие философии. В случае с исследованиями геноцида ситуация обстоит немного иначе, так как в деле создания дефиниций геноцидов активно участвуют в том числе ученые, начиная от автора термина

«геноцид» Рафаэля Лемкина, заканчивая новейшей серией книг Марка Левена.

Определение: режим данности геноцидов

Социальная философия геноцидов, как и философия, является спекулятивной дисциплиной, которая создает метазнание. Стратегией анализа определения геноцида в случае социальной философии геноцидов является рассмотрение дефиниций на метауровне, т. е. уровне условий их возможности. Такой критический анализ проводится с помощью обнаружения скрытых детерминант, определяющих форму определений и их функционирование в дискурсе.

Именно такова методологическая установка Терье в статье «Genocidal mutation and the challenge of definition». Философ демонстрирует на примере определения геноцида из Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него ООН от 1948 г.¹ возможность поставить ряд уточняющих вопросов к любой фиксированной дефиниции геноцида:

Если в определении фигурирует интенция, то всегда можно задать вопрос о критериях, посредством которых ее можно установить; Если в определении фигурирует группа, являющаяся объектом геноцидарного насилия, то всегда можно проблематизировать условия, при которых мы полагаем группу группой (численность, гомогенность), и т. д.

На каждый из этих вопросов мы не можем исчерпывающе ответить. В конце концов вопросы-уточнения и уточнения к вопросам-уточнениям ведут к метафизическим спекуляциям, генезис которых Терье относит к двум «метафизическим неопределенностям»: проблема причинности и проблема отношения сознания и мира (causation and the mind-world relationship) [Theriault 2010: 495]. Лучше всего зараженность определений «метафизическими неопределенностями» иллюстрируется на цепочке вопросов, которые можно задать, уточняя понятие группы. Всегда можно осмысленно задаться вопросом, доста-

103

1 «В настоящей Конвенции под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую: а) убийство членов такой группы; б) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы; в) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее; д) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы; е) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую». См.: [Конвенция о предупреждении... 1948–1949].

точно ли для того, чтобы считать какое-то событие геноцидом, смерти одного, или двух, или ста человек. На какой бы цифре мы бы ни остановились, в любом случае наше решение будет волюнтаристским.

Именно в том, что фиксированные дефиниции являются зараженными неопределенностью, ведущей к спекуляции, Терье видит причину того, что фиксированные определения довольно удобны для отрицания геноцидов, притом что они малополезны для фиксирования как геноцидов таких событий, как политически мотивированные чистки в СССР или уничтожение племени гереро колониальными войсками Германии [Там же: 489-493]. Такой режим функционирования дефиниций в дискурсе является следствием того, что в фиксированных определениях геноцида скрыта метафизическая двусмысленность.

Аналогичную стратегию можно найти в книге Бенджамина Мэйчеса "The Politics of Annihilation: A Genealogy of Genocide". Поиск скрытых детерминант, определяющих условия возможности дефиниции и режим ее функционирования, философ производит с помощью фуколдианского метода генеалогии.

104 Предметом генеалогического анализа служит наш common knowledge о геноциде, ассоциация его с физическим уничтожением, этническими и религиозными группами, которое Мэйчес называет гегемоническим пониманием геноцида [Meiches 2019].

Гегемоническое понимание геноцида для Мэйчеса складывается под влиянием серии контингентных «игр власти», в числе которых определение Рафаэля Лемкина, подготовка определения геноцида из конвенции ООН, политизация геноцида в теории международных отношений, документальные фильмы о Холокосте, моральные дискурсы о геноциде.

Каждая из этих точек в истории становления гегемонического понимания геноцида формирует и укрепляет представление о геноциде как о преимущественно физическом уничтожении, представление об объектах геноцида как о фиксированных сущностях. Благодаря этой серии случайностей мы, как субъекты говорения о геноциде, находим самоочевидным полагать геноцид в оппозиции «порядку», оценивать геноцид как «варварство». Наши стихийные и на первый взгляд очевидные определения геноцида, которые мы не проблематизируем, оказываются благодаря генеалогии Мэйчеса продуктами конкретных теоретиков, дебатов и дискурсов.

Как и фуколдианская генеалогия, генеалогия Мэйчеса является критической в том смысле, что через обнаружение случайностей, влияющих на наш common knowledge о геноцидах, открывается возможность создания новых путей осмысления геноцида и его определений.

Метазнание: объяснение через подобное

Одним из способов дать определение геноцидов является поиск подобного или тождественного в других, менее эпистемически проблемных, явлениях. Такая интеллектуальная стратегия проясняет парадоксальное и контринтуитивное в геноцидах через встраивание в более широкий контекст. Неожиданный, но значимый пример такого подхода — речь Сартра «О геноциде» в ходе трибунала Рассела, в которой философ проводит аналогию между антипартизанской войной и геноцидом [Sartre 1968]. До некоторой степени рассмотрение геноцида как частного случая биополитических технологий власти Агамбенom или Фуко также можно было бы назвать объяснением геноцида через подобное. Той же стратегии прояснения геноцида придерживается Клавдия Кард, связывая геноцид с феноменом социальной смерти [Kard 2005: 238–255; более подробно: Snow 2018: 133–155].

В завершении рассмотрения предмета социальной философии геноцидов можно зафиксировать ряд отличий философского рассмотрения геноцида от научного: социальная философия геноцида создает метазнание о своем предмете, когда наука создает позитивное знание (прагматика вопроса «почему произошел тот или иной геноцид?» для социальной философии геноцидов состоит в поиске ординарных причин), предмет социальной философии геноцида составляет эпистемически проблемное в этом феномене.

Настоящий поиск отличительных для социальной философии геноцидов категорий проблематичен из-за perpetrator studies: работы Браунинга, например, тяжело квалифицировать как работы по социальной философии геноцида, но они в чем-то аналогичны им. Я полагаю, что работы Браунинга, равно как и другие подобные работы в рамках perpetrator studies, — это стадия перехода от социальной философии геноцидов к непосредственно науке. Они являются маркером процесса того, как эпистемически проблемное проясняется в спекулятивной дисциплине, какой является социальная философия геноцидов и как позднее попадает в науку.

Теперь ясен предмет социальной философии геноцидов и в чем заключается ее отличие от гуманитарных наук, объективирующих геноцид.

Однако отличие в предмете все еще не может помочь отличить социальную философию геноцидов от объективации геноцидов моральной философией или философией религии. Последние также могут создавать метазнание, также рассматривают эпистемически проблемное. В связи с этим нужно рассмотреть две другие отличительные для социальной философии геноцидов категории: цель, и затем метод.

Цель

Глобальной целью социальной философии геноцидов, равно как и других дисциплин, принадлежащих к *genocide studies*, является предотвращение геноцидов¹. Очевидно, существует значительный разрыв между философской практикой и действительным предотвращением геноцида. Я солидарен с мнением Эндрю Вулфорда и Александра Хилтона о том, что критика, осуществляемая в исследованиях геноцида, является практикой предотвращения в следующем смысле:

Предотвращение геноцидов — это принятие решений в условиях недостаточной информированности, с одной стороны, и необходимости быстрого действия — с другой. При таком положении дел принятие решений требует критической работы над своими основаниями. Дисциплины в рамках *genocide studies* разрабатывают критический аппарат, который должен помочь принимать корректные решения [Woolford, Hinton 2019: 1–8].

Социальная философия геноцидов, работая с эпистемически проблемным и создавая метазнание, фиксирует наши пред-рассудки (все то, что предшествует принятию решений) и помогает их преодолеть, тем самым оказывая помощь в предотвращении геноцидов. Эта работа является одной из целей философии в целом, если мы разделяем позицию, подобную позиции Фуко о том, что сама философия является формой критики [Фуко 2004: 13–15].

Но более важно то, что такая отличительная черта отсекает проблематизации Завета в связи с Холокостом [см.: Weiss, Berenbaum 1989: 71–81], или проблематизацию классических предикатов Бога (Справедливость, Милосердие, Мудрость) [см.: Roth 1989: 259–264], или концептуализации личной или институциональной ответственности в контексте геноцидов, равно как и другие подобные исследования, осуществляемые в рамках философии религии, моральной философии или других философских дисциплинах. Эти исследования или вовсе не связаны с целью предотвращения геноцидов посредством критического исследования, или связаны крайне опосредованно.

Существует как минимум два больших пред-рассудка о геноцидах, которые формируют наше восприятие этого эпистемически проблемного феномена и которые разрешает социальная философия геноцидов.

1 Пример того, как философы, которых можно определить как социальных философов геноцида, рассматривают собственный вклад в предотвращение геноцидов исследования именно как критическую работу, см.: [Lopez 2020: 173–186].

Пред-рассудок: легалистская редукция

Если мы обратим внимание на наш язык о геноцидах, на действительную практику говорения о геноцидах, то легко обнаружить, что она является зараженной юридическими понятиями: язык пропаганды переводится на метаязык права, материальность геноцида редуцируется до заранее заданной социальной онтологии юриспруденции, мы переводим геноцид на язык убийства, вреда психике и здоровью, объект геноцида редуцируется до национальной, этнической, религиозной или расовой группы. Социальная философия геноцида стоит в оппозиции такой редукции, формируя не-юридический язык говорения о геноцидах.

Пред-рассудок: государствоцентричность

В наших стратегиях говорения о геноциде усматривается интуиция о том, что государство (или по крайней мере его карательные институты) являются главными акторами и действующими причинами геноцида. В отношении этого предрассудка социальная философия рефокусирует взгляд на более глубокие причины, укорененные в самом обществе. В этом отношении социальная философия геноцидов продолжает критическую традицию, восходящую к Ницше, франкфуртской школе и Фуко, защищая нас от суждений и действий, основанных на контингентных, политизированных и идеологизированных пред-рассудках.

107

Метод

Как было показано ранее, социальную философию геноцидов могут составлять самые разнообразные исследования и авторы. Из-за этого довольно проблематично указать на некоторое методологическое единство социальной философии геноцидов. В этой дисциплине используются многие конвенциональные методы философии: мысленные эксперименты для критики и создания определений геноцида, генеалогия для исследования режима данности геноцида, конструирование понятий, концептуальный анализ и др. Я не буду останавливаться на этих методах, так как их применение в социальной философии геноцидов аналогично применению в любой другой философской дисциплине. Полагаю, в отношении метода социальная философия геноцида имеет аналогию с социальной философией в наличии паралаксного видения, т. е. применения различных методологических установок для максимизации перспективного видения собственного предмета [Павлов 2018а: 151].

Среди методов социальной философии геноцидов самым распространенным, вероятно, является установка на поиск «темного» в модерне. Именно в модерне, или по крайней мере некоторых из его следствий (национализм, расизм, национальное государство, идеология, пропаганда, бюрократия) социальные теоретики геноцида обнаруживают причины геноцида. Эта методологическая установка, равно как и параллаксное видение, отделяют ее от философии религии и моральной философии.

Определение

Теперь ясны отличительные черты социальной философии геноцидов, тематизированные в трех категориях: предмет, метод и цели. В соответствии с этим даны критерии, по которым можно квалифицировать хрестоматийные работы по социальной философии и новейшие исследования как работы по социальной философии геноцидов. Тогда возможно дать определение этой дисциплине для того, чтобы содержательное представление о ней было более полным:

108

Социальная философия геноцидов — это кластер критических философских исследований, рассматривающих эпистемически проблемное в геноцидах, определение геноцида, причины геноцида, имеющих целью посредством критической рефлексии предотвращение геноцидов.

В этом определении собраны вместе искомые категории, отличающие социальную философию геноцидов от других философских дисциплин и научных исследований геноцида.

Также к настоящему определению необходимо дать два комментария:

Любое определение какой-то философской дисциплины, если рассматривать его изолированно, является не более чем способом каталогизации исследований в современных институциональных условиях существования науки и философии. В настоящем определении я фиксирую то, как в действительной философской практике мы можем *корректно использовать это понятие*, т. е. быть успешными в наших специфических методологических рассуждениях. Вследствие этого более важным является не само это закрытое определение, но иллюстрации того, как мы можем квалифицировать что-то как социальную философию геноцидов и какие это дает прагматические результаты для исследований геноцидов.

Я убежден, что социальная философия геноцидов, должна рассматриваться в первую очередь как *философия*. Несмотря на то что у нас могут возникать проблемы с определением философии, существует некоторая неясная аналогия между философскими работами, вследствие которой мы говорим о существовании философии; равно

как и между работами по социальной философии также есть некоторая аналогия, вследствие которой мы объединяем разнообразные работы и авторов под единым названием. Эта аналогия состоит как минимум в наличии собственных методов, создания метазнания, критической рефлексии. Из-за этого я не включаю в *собственно* социальную философию геноцидов работы Марка Левена, Джорджа Мосса или других авторов-нефилософов и исключаю из предмета социальной философии дебаты об уникальности Холокоста.

В заключение этой части работы стоит указать на смежные, но не составляющие собственно социальную философию геноцидов философские исследования расизма, языка ненависти и памяти. Эти явления часто, но не с необходимостью, сопутствуют геноцидам, вследствие чего я нахожу довольно масштабные пересечения исследований расизма, языка ненависти и памяти и социальной философии геноцидов, но они остаются всего лишь пересечениями.

Программа

После завершения определения и пояснения отличительных для социальной философии категорий можно сформулировать программу такой дисциплины. Программу составляет набор возможных проектов, которые расширили бы множество эмпирических материалов, с которыми работает социальная философия геноцидов, и решили некоторые из ее методологических проблем.

109

Проект: генеалогия геноцидов

Социальная философия геноцидов, как правило, работает с конкретным эмпирическим материалом, с конкретными геноцидами или с конкретными техниками отправления геноцидов. Если мы обратим пристальное внимание на работы, которые можно квалифицировать как социальную философию геноцидов, то легко будет составить некоторый каталог такого эмпирического материала, который: 1) часто фигурирует в работах, 2) не требует ссылки на источник, является очевидным. Так, например, в отношении Холокоста к множеству такого эмпирического материала относятся газовые камеры, концентрационные лагеря и лагеря смерти, нацистская расовая наука. Далее, это же множество эмпирического материала также является совершенно очевидным и для нас как для субъектов исторической памяти в целом. Более того, это множество — как раз то, что приблизительно каждый из нас, знакомый с историей, может назвать, если задать вопрос «Что Вы знаете о Холокосте?». Я полагаю, в отношении Геноцида армян, Геноцида в Руанде, Геноцида в Камбодже или любого другого геноцида также можно было бы задать такое множество, которое является

самоочевидным и которое составляет то, что мы помним о геноцидах.

В отношении этого эмпирического материала можно задать один осмысленный методологически важный вопрос: «Каково происхождение эмпирического материала, анализ которого происходит?» Иначе говоря, как так получилось, что геноциды даны социальным теоретикам геноцида, теоретикам геноцида в гуманитарных науках, нам как субъектам исторической памяти в целом, через некоторое конечное число самоочевидных и легкоузнаваемых кейсов? Почему геноцид в Руанде дан нам через историю о «Радио Тысячи Холмов» и использование мачете в качестве орудия геноцида, а Холокост — через газовые камеры, расистскую квазинауку и лагеря?

Я предполагаю, что есть *точки пересечения между коллективной памятью, исследуемой memory studies, и коллективной памятью в узком множестве исследователей геноцида, в числе которых философы*. Эта коллективная память о геноцидах и составляет common knowledge о геноцидах, самоочевидное и часто приводимое как пример или объект анализа. Каждый раз, когда мы встречаем общие указания на лагеря смерти или концентрационные лагеря, не снабженные ссылкой на исторический источник в работе по социальной философии геноцидов, мы имеем дело с этой памятью исследователей.

110

Соответственно, мы можем создать историю того, каким образом мы стали современными субъектами памяти о геноцидах именно в таких формах, а не иных. Такой проект будет фуколдианской генеалогией, исследованием «онтологии нас самих» [Dreyfus, Rabinow 1982: 237] как субъектов памяти. Я полагаю, такой проект необходим по двум причинам: критическая рефлексия того, как нам дан объект, составляет методологическое основание теории, подобный проект должен *диверсифицировать* эмпирические материалы для социальной философии геноцида, т. е. открыть для социальной философии геноцидов новые, ранее не подлежавшие подробному анализу кейсы, будь то новые свидетельства (например, свидетельство Кизито Михиги¹), геноцидарные практики или геноцидарные дискурсы (например, дискурс об иудобольшевизме в нацистской Германии).

Важно, что генеалогия геноцидов ни в коем случае не должна быть ревизионизмом или отрицанием геноцида. Сомнение, лежащее в вопросе «Каково происхождение того или иного эмпирического материала?», является только методологическим сомнением, установкой на расширение и понимание того корпуса эмпирических материалов, которым занимается социальная философия геноцидов.

1 Кизито Михиги — руандийский певец, композитор, общественный деятель, активист, переживший геноцид в Руанде. На момент событий геноцида Михиги было 12 лет. См. его автобиографию: [Михиги 2022].

Проект: исследования премодерновых геноцидов

Центральной методологической установкой социальной философии геноцидов является ориентация на прослеживание связей между модерном или феноменами модерна и геноцидами. Более того, геноциды, ставшие объектом исследований теоретиков социальной философии геноцидов — это современные геноциды. Я нахожу это проблемным по следующей причине: мы вполне резонно можем утверждать, что геноциды являются не только современным явлением. Если мы понимаем геноцид как истребление людей по признаку принадлежности к какой-то стабильной группе (например, этносу), то, при доверии к источникам, как геноцид мы можем квалифицировать военные походы ассирийского правителя Ашшурнацирапала II [Chalk, Jonassohn 1990: 59], Троянскую войну, осаду Мелоса в ходе Пелопоннесской войны, осаду Карфагена в Третьей Пунической войне [Naimark 2017: 7–8], походы Чингисхана [Jones 2011: 6].

Если концептуализации в рамках социальной философии геноцидов должны быть действительно общезначимыми, то они также должны быть успешны и для объяснения премодерновых геноцидов. В связи с этим нужно поставить под сомнение принципиальную связь Просвещения, современной науки и расизма, расизма и геноцидов, бюрократии, биополитики и производного от модерна отсутствия морального мышления и геноцидов. Возможно, для *модерновых* геноцидов действительно присущи все эти *модерновые* явления, но все еще требуется теоретическая рамка для работы с премодерновыми геноцидами.

111

Проект: составление семейных сходств геноцидов

Определения геноцидов в социальной философии геноцидов, равно как и в других дисциплинах, исследующих геноцид, и в актуальных нормативно-правовых актах являются эссенциальными. Определить что-то эссенциально означает задать необходимые и достаточные свойства явления. В отношении геноцидов — это наличие интенции, конкретные группы (объект геноцида), способ совершения геноцидарного насилия, иногда акторы геноцида или его институциональные условия. В отношении этого списка необходимых и достаточных свойств и ведутся дебаты теоретиков геноцида, начиная с рецепции определения Рафаэля Лемкина. Проблема эссенциальных определений заключается в том, что подобные определения не могут быть адекватны геноцидам, так как геноцидарное насилие, к несчастью, *имеет новаторский характер*.

Это не значит, что в каждом единичном акте геноцидарного насилия мы можем обнаружить какую-то новацию. Напротив, в ударе

прикладом по затылку или расстреле нет ничего творческого или принципиально нового. Но если рассматривать геноцид через структурные отношения между агентами, институтами, инструментами, дискурсами, т. е. как диспозитив [Gordon 1980: 195], то такое геноцидарное насилие имеет новаторский характер в следующем смысле: история геноцидов до некоторой степени может быть представлена как история выстраивания новых структурных связей, т. е. включения в диспозитив изобретений (технических, изобретений социальной организации, изобретений способов создавать жертв геноцида как особый объект): от резни в Трое (если мы готовы признать события Илиады первым или одним из первых геноцидов) до современной бюрократии и расистской квазинауки, концентрационных лагерей нацистской Германии, намеренного заражения СПИДом Руанды и т. д.

Соответственно, эссенциальные определения являются проблемными для того, чтобы охватить все возможные геноцидарные изобретения и способы включения их в диспозитив геноцида.

Вслед за теоретиком геноцидов Джеймсом Сноу я полагаю более продуктивным избрать другой путь создания определений — метод семейных сходств Витгенштейна [Snow 2016: 154–173]. В «Философских исследованиях» Витгенштейн фиксирует, что между играми существует схожесть, аналогичная схожести между чертами лица членов семьи [Витгенштейн 2018: Ч. 1. § 67]. Ни один из критериев в отношении игр или членов семьи не является достаточным или необходимым свойством, чтобы определить что-то как игру или как члена семьи, но «мы видим сложную сеть подобий, накладывающихся на и перекрывающих друг друга; иногда имеется полное сходство, а иногда — лишь в деталях» [Там же].

То же самое действует в отношении геноцидов — нам не требуется какая-то глубоко проработанная теория, фиксирующая в геноцидах что-то *сущностное*, мы можем, для гибкости теории, ограничиться поиском *сходств* между геноцидами, которые сами по себе не являются ни достаточными, ни необходимыми свойствами геноцида. Эта гибкость от теории требуется из-за того, что геноциды имеют новаторский характер. Избрание этого метода связано с отказом от эпистемологии геноцидов (создания критериев, при котором суждение «X — геноцид» можно оценить как *истинное* или *ложное*) в пользу прагматики геноцидов (создание списка сходств, благодаря которым суждение «X — геноцид» является *оправданным*).

Тогда, если мы принимаем метод Витгенштейна и вместе с ним ориентацию на прагматику, то достижения в области определения геноцида мы можем трансформировать в *каталог подобий* и в корпус *успешного* (или *не успешного*) *наименования чего-то геноцидом*. Как формулирует это Сноу: «На пересечении семейных сходств, сходств и различий, мы начинаем видеть нормативные паттерны, которые позволяют

нам владеть понятием; нормативные образцы, которые показывают нам правильное и неправильное употребление слова...» [Snow 2016: 167].

Здесь же я могу предложить конкретное направление исследований в рамках этого проекта — каталогизация нелегитимного или сомнительного использования термина «геноцид». Приведу ряд суждений: «Американское правительство путем пропаганды межрасовых отношений проводит геноцид белого населения»; «Всемирная наркомафия готовит геноцид»; «Миграционная политика стран Евросоюза — это геноцид путем замещения коренного населения». Все эти суждения являются, оценивая их в соответствии с правилами нашей языковой практики, в чем-то проблемными: они ангажированы и политизированы, они явно преувеличивают масштаб урона, они используются в пропагандистских целях. Подобные суждения мы можем легко найти в теориях заговоров или в ультраправой политической агитации.

Все эти нелегитимные примеры использования термина «геноцид» не исследуются социальной философией геноцидов, но в этих суждениях находятся в том числе наши мнения о том, чем является геноцид и как можно использовать этот термин, и, соответственно, эта сфера наших суждений также может быть объектом каталогизации.

113

Заключение

В первой части работы с помощью указания на эпистемически проблемное в феномене геноцида и различия позитивного знания и метазнания был определен предмет социальной философии геноцидов. Эта отличительная категория позволила провести различие между философским исследованием геноцида и научным. Было дано содержательное представление о предмете социальной философии геноцидов посредством иллюстрации стратегий работы с эпистемически проблемным в феномене геноцида теоретиками, которых можно атрибутировать к социальной философии геноцида.

Зафиксированы отличия между социальной философией геноцидов и другими философскими дисциплинами, объективирующими геноцид, в цели. Эти отличия были подкреплены посредством указания на общие для социальной философии геноцидов и социальной философии методологическую установку на поиск «темного» в модерне и параллаксное видение.

Суммированные отличительные для социальной философии категории представлены в виде определения этой дисциплины.

Во второй части работы я указал на некоторые проблемы социальной философии геноцидов и на корреспондирующие этим проблемам проекты, призванные изменить методологию социальной

философии геноцидов и расширить горизонт ее эмпирических материалов: составление каталога семейных сходств геноцидов, исследования преמודерновых геноцидов и генеалогия геноцидов.

Настоящее определение и прояснение отличительных категорий для социальной философии геноцидов решает или приближается к решению проблемы негомогенности философских исследований геноцида. Искомые категории позволяют отличить социальную философию геноцидов от объективации геноцида другими философскими дисциплинами, равно как отличают и философское исследование геноцида от научного.

В любом случае социальная философия геноцидов является *философией*, и она значима не только как теория, но и как некоторый этос или действительная практика философствования.

При таком рассмотрении социальная философия особенно значима как форма противостояния пропаганде, идеологизации и нетерпимости.

Библиография / References

114

Агамбен Д. (2012) *Ното sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель*, М.: Издательство «Европа».

— Agamben D. (2012) *Homo sacer III. Remnants of Auschwitz: The Witness and the Archive*, Moscow: Evropa. — in Russ.

Витгенштейн Л. (2018) *Философские исследования*, Moscow: АСТ.

— Wittgenstein L. (2018) *Philosophical Investigations*, Moscow: AST. — in Russ.

Жижек С. (2010) *О насилии*, М.: Издательство «Европа».

— Žižek S. (2010) *Violence. Six Sideways Reflections*, Moscow: «Evropa». — in Russ.

Кривушин И. В. (2015) *Сто дней во власти безумия: руандийский геноцид 1994 г.* М.: Издательский дом Высшей школы экономики.

— Krivoushin I. (2015) *One-hundred days in the grip of madness: The Rwandan genocide of 1994*, Moscow: HSE Publishing House. — in Russ.

Леви П. (2001) *Человек ли это?* М.: Текст.

— Levi P (2001). *Survival in Auschwitz?* Moscow: Text. — in Russ.

Михиги К. (2022) *Руанда: принять примирение. Жить в мире и умереть счастливым*, СПб.: Алетейя.

— Mihigo K. (2022) *Rwanda: Embrace Reconciliation*, Saint Petersburg: Aletheia. — in Russ.

Павлов А. В. (2018а) Параллакс лисы: к определению предмета и границ социальной философии. *Социологическое обозрение*, 17(3): 149–172.

— Pavlov A. V. (2018) The Parallaxes of the Fox: Towards Definition of the Subject and Status of Social Philosophy. *Russian Sociological Review*, 17(3): 149–172. — in Russ.

Павлов А. В. (2018b) Социальная философия и междисциплинарность. *Философские науки*, 6: 131-135.

— Pavlov A. V. (2018) Social Philosophy and Interdisciplinary. *Russian journal of Philosophical Studies*, 6: 131-135. — in Russ.

Сиземская И. Н. (2018) О предмете социальной философии. *Философские науки*, 6: 123-127.

— Sizemskaya I. N. (2018) On the Object of Social Philosophy. *Russian journal of Philosophical Studies*, 6: 123-127. — in Russ.

Фуко М. (2004) *Использование удовольствий*, СПб.: Академический проект.

— Foucault M. (2004) *The Use of Pleasure. Volume 2 of The History of Sexuality*, Saint Petersburg: Akademicheskiiy proekt. — in Russ.

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. / Резолюции Генеральной Ассамблеи — Резолюции третьей сессии (1948-1949 годы) (<https://undocs.org/ru/A/RES/260%28III%29>)

— *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. / General Assembly resolutions — Resolutions of third session of the United Nations General Assembly (1948-1949)* (<https://undocs.org/ru/A/RES/260%28III%29>). — in Russ.

Adorno T. (1980) *Kulturkritik und Gesellschaft. Adorno: Gesammelte Schriften*, Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Chalk F., Jonassohn K. (1990) *The History and Sociology of Genocide. Analyses and Case Studies*, London: Yale University Press.

Davis S. T. (2005) *Genocide, Despair and Religious Hope: An Essay on Human Nature. Genocide and Human Rights. A Philosophical Guide*, N.Y.: Palgrave Macmillan.

Dreyfus H. L., Rabinow P. (1982) *Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics*, Chicago: The university of Chicago press.

Gaita R. (2005) *Refocusing Genocide: A Philosophical Responsibility. Genocide and Human Rights. A Philosophical Guide*, N.Y.: Palgrave Macmillan.

Gordon C. (1980) *Power/Knowledge. Selected Interviews and Other Writings 1972-1977 Michel Foucault*, N.Y.: Pantheon Books.

Jokic A. (2007) Book review: *Genocide and Human Rights: A Philosophical Guide* — Edited by John K. Roth, *Philosophical Books*. 48(1): 95-96.

Jones A. (2011) *Genocide. A comprehensive Introduction. Second Edition*, N.Y.: Routledge.

Kard C. (2005) *Genocide and Social Death. Genocide and Human Rights. A philosophical Guide*, N.Y.: Palgrave Macmillan.

Lopez M. R. A. (2020) *Totalitarianism as Structural Violence: Toward New Grammars of Listening. Logics of Genocide. The structures of Violence and The Contemporary World*, N.Y.: Routledge.

Mamdani M. (2011) *When Victims Become Killers. Colonialism, Nativism, and the Genocide in Rwanda*, Princeton: Princeton University Press.

Meiches B. (2019) *The politics of Annihilation. A Genealogy of Genocide*, London: University of Minnesota Press.

- Naimark N. N. (2017) *Genocide. A World History*, N.Y.: Oxford University Press.
- O'Byrne A., Schuster M. (eds.) (2020) *Logics of Genocide. The structures of Violence and The Contemporary World*, N.Y.: Routledge.
- Roth J. (ed.) (2005) *Genocide and Human Rights. A Philosophical Guide*. N.Y.: Palgrave Macmillan.
- Roth J. (2005) Prologue: Philosophy and Genocide. *Genocide and Human Rights. A philosophical Guide*, N.Y.: Palgrave Macmillan.
- Roth J. (1989) Where is God now? *Holocaust. Religious & Philosophical Implications*, N.Y.: Paragon House.
- Roth J., Berenbaum M. (eds.) (1989). *Holocaust. Religious & Philosophical Implications*, N.Y.: Paragon House.
- Rowland A. (2001) *Tony Harrison and The Holocaust*, Liverpool: Liverpool University Press.
- Sartre J. (1968) *On genocide*, Boston: Beacon Press.
- Shuster M. (2010) Philosophy and Genocide. *The Oxford Handbook of Genocide Studies*, Oxford: Oxford University Press.
- Snow J. (2018) Claudia Card's. A New Way of Looking at Genocide. *Criticism and Compassion. The Ethics and Politics of Claudia Card*, Hoboken: Willey.
- 116 Snow J. (2016) "Don't Think But Look:" Using Wittgenstein's Notion of Family Resemblances to Look at Genocide. *Genocide Studies and Prevention. An international Journal*, 9(3): 154–173.
- Stone D. (2020) *Structure and Fantasy. Holocaust Perpetrators and Genocide Studies* / in *Logics of Genocide. The structures of Violence and The Contemporary World*, N.Y.: Routledge.
- Susanne C., Goldberg K. J., Goldberg Z. J. (eds.) (2020) *The Routledge International Handbook of Perpetrator Studies*, N.Y.: Routledge.
- Tatz C. (2005) The Doctorhood of Genocide. *Genocide and Human Rights. A Philosophical Guide*, N.Y.: Palgrave Macmillan.
- Theriault H. C. (2010) Genocidal Mutation and the Challenge of Definition. *Metaphilosophy*, 41(4): 481–524.
- Theriault H. C. (2017) Out of the Shadow of War and Genocide. *Advancing Genocide Studies. Personal Accounts and Insights from Scholars in the Field*, N.Y.: Routledge.
- Wees H. (2010) Genocide in the Ancient World. *The Oxford Handbook of Genocide Studies*, N.Y.: Oxford University Press.
- Weiss D. W. Berenbaum M. (1989) The Holocaust and Covenant. *Holocaust. Religious & Philosophical Implications*, N.Y.: Paragon House.
- Woolford A., Hinton A. (2019) Guest editorial: Critical Genocide and Atrocity Prevention Studies. *Genocide Studies and Prevention. An International Journal*, 13 (3): 1–8.

Рекомендация для цитирования:

Архипов А. О. (2023) К социальной философии геноцидов. *Социология власти*, 35 (1): 93–117.

For citations:

Arkhipov A. O. (2023) Towards a Social Philosophy of Genocide. *Sociology of Power*, 35 (1): 93-117.

Поступила в редакцию: 02.03.2023; принята в печать: 29.03.2023

Received: 02.03.2023; Accepted for publication: 29.03.2023

Статьи. Исследования

АНДРЕЙ В. КОРОТАЕВ¹

НИУ ВШЭ; Институт Африки РАН, Москва, Россия

ORCID: 0000-0003-3014-2037

АНДРЕЙ И. ЖДАНОВ²

НИУ ВШЭ; РЭУ им Г.В. Плеханова, Москва, Россия

ORCID: 0000-0002-4492-7903

Количественный анализ экономических факторов революционной дестабилизации: результаты и перспективы³

118

doi: 10.22394/2074-0492-2023-1-118-159

Резюме:

Имеются определенные основания для утверждений о формировании в XXI веке пятого поколения теорий революции. Главными отличительными чертами нового поколения теорий революции, по всей видимости, является опора на глобальные базы данных революционных событий, широкое использование современных методов количественного анализа, а также принципиальное представление о том, что для вооруженных и невооруженных революционных событий характерны принципиально разные факторы, структура и последствия. При этом революции/макси-

1 Коротаев Андрей Витальевич — профессор, доктор исторических наук, директор Центра изучения стабильности и рисков НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник, Институт Африки РАН. Научные интересы: социология революций, политические конфликты, причины восстаний, математическое моделирование, прогнозирование. E-mail: akorotayev@gmail.com

2 Жданов Андрей Игоревич — стажер-исследователь Центра изучения стабильности и рисков НИУ ВШЭ, аспирант РЭУ им Г.В. Плеханова. Научные интересы: режимные трансформации, революции, политическая нестабильность, теория революций, демократический транзит. E-mail: andreizhdanov998@gmail.com

3 Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2023 г.

Acknowledgements: The study was carried out as part of the HSE Fundamental Research Program in 2023.

малистские кампании понимаются как «серии наблюдаемых, непрерывных, целенаправленных массовых тактик, преследующих фундаментальные изменения политического порядка: смену режима или национальное самоопределение» (Э. Ченовет). Эта статья открывает серию обзоров основных конкретных результатов, полученных в рамках исследований данного поколения, которая открывается анализом выявленных в рамках данного подхода экономических факторов революционной дестабилизации. Проведенные к настоящему времени количественные кросс-национальные исследования экономических факторов революционной дестабилизации (которые мы считаем возможным относить к пятому поколению исследований революций) показывают, что одни и те же экономические факторы могут оказывать очень разное влияние на вероятность начала вооруженных восстаний, с одной стороны, и невооруженных революционных выступлений — с другой. Эти исследования демонстрируют, что вероятность невооруженных революционных выступлений более высока в экономически среднеразвитых странах, не имеющих нефтяных доходов, на фоне быстрого роста цен на продовольствие (при этом провоцировать такие выступления может как экономический спад, так и экономический подъем). С другой стороны, вооруженные восстания наиболее вероятны в наиболее бедных странах с сырьевой экономикой на фоне экономического спада и падения инвестиций в основной капитал.

Ключевые слова: революции, пятое поколение теорий революции, экономические факторы революций, причины революций, количественный анализ, количественный анализ революций

119

Andrey V. Korotaev¹

HSE University; Institute for African Studies RAS, Moscow, Russia

Andrew I. Zhdanov²

HSE University; Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia

A Quantitative Analysis of Economic Factors of Revolutionary Destabilization: Results and Prospects

Abstract:

There are certain grounds for asserting that the fifth generation of revolution theories is being formed in the 21st century. The main distinguish-

- 1 Korotaev Andrey Vitalievich — Professor, Doctor of Historical Sciences, Director of the Centre for Stability and Risk Analysis, HSE University, Chief Researcher, Institute for African Studies RAS. Research interests: sociology of revolutions, political conflicts, causes of uprisings, mathematical modeling, forecasting. E-mail: akorotayev@gmail.com
- 2 Zhdanov Andrew Igorevich — Intern Researcher at the Centre for Stability and Risk Analysis, HSE University, Postgraduate Student of the Plekhanov Russian University of Economics. Research interests: regime transformations, revolutions, political instability, theory of revolutions, democratic transition. E-mail: andreizhdanov998@gmail.com

ing features of the new generation of theories of revolution seem to be the reliance on global databases of revolutionary events, the widespread use of modern methods of quantitative analysis, and the fundamental idea that armed and unarmed revolutionary events are characterized by fundamentally different factors, structure and consequences. At the same time, revolutions /maximalist campaigns are understood as “series of observable, continuous, targeted mass tactics pursuing fundamental changes in the political order: regime change or national self-determination” (E. Chenoweth). This article opens a series of reviews of the main concrete results obtained within the research of this generation, which opens with an analysis of the economic factors of revolutionary destabilization identified within the framework of this approach. Quantitative cross-national studies of the economic factors of revolutionary destabilization carried out to date (which we refer to as the fifth generation of studies of revolutions) show that the same economic factors can have very different effects on the likelihood of the outbreak of armed uprisings, on the one hand, and unarmed revolutionary actions, on the other. These studies show that the likelihood of unarmed revolutionary uprisings is higher in middle income countries without oil revenues, against the backdrop of rapidly rising food prices (whereas both recession and economic recovery can provoke such uprisings). On the other hand, armed uprisings are most likely in the poorest raw-material-based economies against the backdrop of an economic downturn and falling investment in fixed assets.

120

Keywords: revolutions, fifth generation of revolution theories, economic factors of revolutions, causes of revolutions, quantitative analysis, quantitative analysis of revolutions

Введение

Согласно представлениям современной политической науки, мы живем в «новую эпоху революций» [Goldstone 2014; Goldstone et al. 2022a]. Необходимость исследования революций заключается в том, что, во-первых, при помощи революций осуществляются преобразования тех или иных социальных порядков, а также построение новых политических систем, во-вторых, посредством революций происходит апробация тех или иных теоретических концепций, своего рода проверка их «утопичности» на практике, в-третьих, революции способствуют изменению представлений о природе возникновения и развития массовых социальных движений [Lawson 2019: 247–248].

В то же время множеством исследователей фиксируется сложность феномена революций как предмета для изучения, с одной стороны, из-за эмерджентного характера революционных событий, а с другой — из-за многофакторности революций, т. е. необходимости резонанса нескольких движущих сил для возникновения революционной ситуации [Albrecht, Koehler 2020: 5; Goldstone 2014]. На про-

тяжении всей истории существования современной политической науки многие исследователи пытались решить эту проблему, что нашло свое отражение в четырех поколениях теорий революций.

В соответствии с концепцией Дж. Голдстоуна [Голдстоун 2006; Goldstone 1980, 2001; Goldstone и др. 2022b; Grinin 2022], первое поколение охватывает период с 1900 по 1940 г. и связано с именами таких ученых, как Питирим Сорокин [Sorokin 1925], Джордж Петти [Pettee 1938] и Крейн Бринтон [Brinton 1965] (об исследованиях революций в предшествующий период, в том числе и К. Марксом и Ф. Энгельсом, см., например: [Шульц 2016; Goldstone et al. 2022b]). Главный вклад этого поколения — монография «Процесс революции» Джорджа Петти. Петти дает подробный обзор более ранних работ, начиная с теорий Аристотеля и Платона [Pettee 1938]. Для Петти революция — это «реконструкция государства» не только через смену правящей власти, но и через изменение классовой структуры общества. По словам Петти, для того, чтобы революция была успешной, перед ней должно произойти снижение лояльности к государству. По словам других авторов той же эпохи, революция происходит, когда большинство граждан «чувствуют себя невыносимо стесненными» экономическими институтами или идеологической ситуацией [Odegard 1939].

121

У подходов первого поколения есть два основных недостатка. Первый проистекает из парсоновского прочтения социального порядка, в котором революции рассматриваются как отклонения от стандартных установок системного равновесия. Революции — это не столько нерегулярные лихорадки, которые нарушают в остальном согласованный социальный порядок, сколько процессы, глубоко укоренившиеся в формах политических противоречий. Революции аналитически, концептуально и эмпирически пересекаются с гражданскими войнами, восстаниями, мятежами и другими формами неуправляемых политических процессов. Второй недостаток теоретиков первого поколения заключается в их предположении, что все революции или, по крайней мере, все «великие революции» следуют одной и той же последовательности: симптомы, судороги, лихорадка, делирий и выздоровление. Хотя внутри революций существуют причинно-следственные связи, они скорее множественны, чем единичны, по форме: не существует магистрального пути, которому соответствовали бы все случаи революций. Напротив, революции — это слияния событий, которые исторически специфичны, но имеют определенные причинно-следственные связи [Lawson 2019: 49].

После Второй мировой войны появилось второе поколение революционных теоретиков, многие из которых стремились объяснить взаимосвязь между модернизацией и восстаниями в «третьем мире». Такие фигуры, как Джеймс Дэвис и Тед Гурр, утверждали, что в периоды модернизации общественные ожидания росли вместе с рас-

ширением социальных, экономических и политических возможностей. Таким образом, несоответствие между ощущением людей о должном уровне политических свобод, обусловленных возросшим благосостоянием, и его реальном отражении в политической практике порождало ценностное недовольство, которое в конечном счете воплотилось в революционных восстаниях. Дэвис заметил, что революционные выступления наиболее вероятны, когда за начальным периодом быстрого роста, связанного с модернизацией, следует резкий экономический спад, что он назвал эффектом J-образной кривой. Эффект J-кривой возникает из-за повышенного уровня общественного разочарования, связанного с тем, что завышенные ожидания, сформировавшиеся в период продолжительного подъема, не материализовываются. Тед Гурр переосмыслил этот процесс как «относительную депривацию» — разрыв между тем, что люди ожидали получить, и тем, что они фактически получили [Davies 1962: 52; Gurr 1970: 13].

В то же время, по мнению Чарльза Тилли, существующая политическая реальность противоречила модернизационной теории революции [Tilly 1973]. Модернизация сама по себе не имеет обязательной связи с революцией. Революции происходили и в промышленно развитых государствах (например, революции 1989 года в Восточной и Центральной Европе), и в бедных, преимущественно сельских странах (например, Ангола, Афганистан, Китай), и в государствах со средним уровнем дохода, например, Куба, Египет [Lawson 2019: 50–51]. Род Айя удачно резюмирует этот недостаток: «Обиды не более объясняют революции, чем кислород объясняет пожары» [Ayra 1990: 23]. Тем не менее в пользу связи между модернизацией и революционной дестабилизацией были приведены и достаточно убедительные аргументы [Коротаев и др. 2011, 2012; Розов и др. 2019; Korotayev et al. 2011; Grinin 2022b].

Теоретики третьего поколения старались развить идеи второго поколения, сосредоточив внимание на изучении структурных причин революционных событий. Баррингтон Мур, Эрик Вульф, Теда Скочпол и Джек Голдстоун считали, что революции определяются появлением определенных макроуровневых союзов. По их мнению, революции произошли, увенчались успехом или провалились в зависимости от реакции буржуазии и крестьянства на коммерциализацию сельского хозяйства [Moore 1970], роли «середняков» в превращении местных волнений в революционные восстания [Wolf 1973], государственного кризиса, ставшего результатом международного конфликта и раскола элиты [Skocpol 2008], а также структурно-демографических изменений, которые дестабилизировали социальные порядки, оказывая давление на государственную казну, тем самым ослабляя легитимность правительств и порождая новые формы внутриэлитной конкуренции [Goldstone 1991]. Теоретики третьего

поколения, как правило, учитывали международные факторы: неравномерность капиталистического развития, военные конфликты и модели миграции. Тем самым не без оснований предполагалось, что определенное сочетание международных и внутренних факторов ведет к возникновению революционной ситуации.

Основным недостатком третьего поколения теорий революции являлся тот факт, что их сторонники не могли объяснить, как и почему революции совершались в неблагоприятных условиях и почему не происходили при наличии соответствующих структурных условий. Как заметил Джон Форан, при объяснении реальных случаев революции агентность, непредвиденные обстоятельства, политическая культура, идеология, ценности и убеждения «проскользнули через черный ход» структурных теорий [Foran 2005: 12]. Тем самым «провалом» третьего поколения теорий революций является тот факт, что они рассматривают революцию вне контекста, который, в свою очередь, задействует множество факторов, не относящихся к «структурным», однако при этом влияющим на возникновение революционных событий. В результате анализ революции, частично коренящийся в необходимости объяснения многофакторных революций в Иране, Никарагуа и Афганистане, по крайней мере отчасти мобилизованных религиозными чувствами, пробудил интерес к тому, как идеология, политическая культура и тип режима формировали революционные процессы. Эти и другие недостатки позволили не только критикам, но в том числе и ее создателям констатировать, что господство третьего поколения теорий революции пришло к концу [Goldstone 2001: 175-76].

123

Указанные выше причины привели к появлению четвертого поколения теорий революции. Ученые четвертого поколения рассматривают революции как конъюнктурную смесь системного кризиса, структурных факторов и коллективных действий, возникающих в результате пересечения международных, экономических, политических и символических факторов [Goldstone 2001; Parsa 2000; Ritter 2014; Selbin 2010]. Теории четвертого поколения обеспечивают несколько преимуществ по сравнению с предыдущими поколениями исследования революций. Во-первых, теоретики четвертого поколения признают, что революции происходят при множестве обстоятельств. Во-вторых, многие подходы четвертого поколения подчеркивают международные черты революционных изменений, от вопросов зависимо-го развития до влияния революций на межгосударственные конфликты [Lawson 2019: 53]. Наконец, четвертое поколение значительно расширяет перечень факторов, способствующих повышению рисков революционной дестабилизации, и рассматривает революцию как продукт воздействия нескольких типов движущих сил (политических, экономических, социальных, международных и т.д.). В то же

время в современной политической науке присутствует точка зрения, согласно которой в настоящий момент складывается пятое поколение теорий революции [Allinson 2019]. Это мнение сразу же было оспорено [Benjamin 2019]. Однако нам представляется, что о появлении пятого поколения теорий революции говорить все-таки можно и что работы, результаты которых анализируются в данной статье, следует отнести именно к этому поколению. Подробное обоснование этому утверждению мы постараемся дать в ближайшее будущее в особой статье; пока же ограничимся утверждением о том, что главными отличительными чертами нового поколения теорий революции является опора на глобальные базы данных революционных событий, широкое использование современных методов количественного анализа, а также принципиальное представление о том, что для вооруженных и невооруженных революционных событий характерны принципиально разные факторы, структура и последствия.

Отметим, что многие представители пятого поколения теорий революции предпочитают называть невооруженные революционные выступления «ненасильственными максималистскими кампаниями». При этом, вслед за П. Акерманом и К. Крюглером [Ackerman, Kruegler 1994], Э. Ченовет и М. Стивен определяют «кампанию» как «серию наблюдаемых, непрерывных, целенаправленных массовых тактик в преследовании политической цели» [Chenoweth, Stephan 2011: 14]. Более того, в вышеупомянутых исследованиях рассматриваются кампании «с целями, которые воспринимаются как максималистские (фундаментальное изменение политического порядка); ...мы намеренно выбираем только кампании с целями, которые воспринимаются как максималистские по своей природе: смена режима или национальное самоопределение» [Chenoweth, Stephan 2011: 68]. Таким образом, в вышеупомянутых работах учаются «серии наблюдаемых, непрерывных, целенаправленных массовых тактик, преследующих фундаментальные изменения политического порядка: смену режима или национальное самоопределение» [Chenoweth, Stephan 2011: 14, 68].

Данное определение практически не отличается от тех определений революции, на которые опираемся мы: «Революция — это коллективная мобилизация, которая пытается быстро и насильственно свергнуть существующий режим с целью трансформации политических, экономических и символических отношений» [Lawson 2019: 5]; «Революция — антиправительственные (очень часто противозаконные) массовые акции (массовая мобилизация) с целью: (1) свержения или замены в течение определенного времени существующего правительства; (2) захвата власти или обеспечения условий для прихода к власти определенных сил; (3) существенного изменения режима, социальных или политических институтов» [Голдстоун и др. 2022:

109], или «попытка преобразовать политические институты и дать новое обоснование политической власти в обществе, сопровождаемая формальной или неформальной мобилизацией масс и такими неинституционализированными действиями, которые подрывают существующую власть» [Голдстоун 2006: 61]. Сопоставление этих определений показывает, что «максималистские кампании» — это не что иное, как революции (в том числе национально-освободительные); следовательно, вышеупомянутые работы действительно изучают революции (довольно причудливо обозначенные как «кампании»). В пользу этого говорит и тот факт, что в базе данных Э. Ченовет NAVCO: *Nonviolent and Violent Campaigns and Outcomes* «кампаниями» названы все бесспорные революции с 1900 года — включая российские революции 1905–1907 и 1917 годов, Конституционную революцию в Иране, Синьхайскую революцию в Китае, Мексиканскую революцию 1910–1917 годов и т. д. [Chenoweth, Shay 2020]¹. Таким образом, результаты исследований факторов начала «максималистских кампаний» оказываются вполне релевантны и для нашего анализа экономических факторов революционной дестабилизации.

Отметим также, что М. Кадивар и Н. Кечли вполне убедительно показали, что участники большинства т.н. «ненасильственных максималистских кампаний» прибегали к насилию в достаточно серьезных масштабах (здесь можно вспомнить хотя бы Египетскую революцию 2011 года или Украинскую революцию [«Евромайдан»] 2013–2014 гг., которые Э. Ченовет вполне уверенно квалифицирует именно как «ненасильственные максималистские кампании» [Chenoweth, Shay 2020], в связи с чем они с полными на то основаниями полагают, что называть такие революционные выступления «ненасильственными» неправильно, предлагая обозначать их как «невооруженные» [Kadivar, Ketchley 2018]).

Данной статьей мы начинаем обзор результатов пятого поколения исследований революции в области выявления факторов революционной дестабилизации. Начнем мы его с экономических факторов.

Экономическое развитие и революции

Уровень экономического развития и его динамика являются одним из наиболее часто рассматриваемых факторов разворачивания

1 Следует отметить, что наиболее известный исследователь «максималистских кампаний» — Э. Ченовет вошла в авторский коллектив вышедшей в 2022 г. коллективной монографии *О революциях* [Beck et al. 2022], тем самым фактически признав, что она всю свою жизнь занималась исследованием именно революций.

революционных процессов. Данный факт связан с тем, что экономическая модернизация «порождает нации» и способствует их политическому самоопределению, которое, вступая в конфликт с архаичными институтами, приводит к революциям. Помимо этого, экономический рост создает структурные условия, которые повышают осуществимость массовых выступлений (особенно это касается ненасильственных акций революционного протеста) путем создания обширных и экономически интегрированных социальных объединений. Также экономическое развитие повышает активность диссидентов и предоставляет им дополнительный ресурс для разворачивания протестной активности, включающий в себя использование дополнительных каналов коммуникации (и упрощения доступа к ним), расширение массы индивидов, «сочувствующих» их деятельности, которые, удовлетворив на фоне общего благосостояния базовые потребности, формируют новые запросы, касающиеся уже необходимости самовыражения, демократических свобод и т. д., а также высвобождение у населения лишних финансовых и иных ресурсов (в т.ч. времени), которое можно направить на поддержку политической деятельности альтернативных политических лидеров [Butcher, Svensson 2016: 331; Korotayev, Sawyer, Romanov 2021; Коротаев, Сойер и др. 2020; Устюжанин, Михеев и др. 2023]. Так, согласно матрице теории институциональных переговоров Найта, большие ресурсы означают большую склонность политических акторов бороться за свои политические требования [Knight, Sened 1995].

126

Помимо этого, экономическими показателями объясняется вызываемая макроэкономическими шоками и иными факторами депривация, которая также, по мнению ряда авторов, способствует разворачиванию революций [Маркс, Энгельс 1955 [1848]: 459; Ленин 1969 [1915]: 218; Keller 2012: 3; Shaheen 2015: 83]. С другой стороны, Дж. Дэвис [Davies 1962] утверждал, что революции начинаются после длительного периода быстрого экономического и социального развития, с последующим периодом резкого спада, что нашло отражение в теории J-кривой, о которой говорилось выше. В современных количественных исследованиях факторов революционной дестабилизации экономическое развитие также занимает ведущую роль и операционализируется прежде всего через ВВП на душу населения и темпы экономического роста.

Для систематизации результатов этих исследований авторы подсчитали совокупное число статистических моделей (в первую очередь это различные типы регрессионного анализа), где рассматриваемый показатель (независимая переменная) принимает одно из четырех значений: положительно значимый (*SP* — *significantly positive*, если коэффициент независимой переменной больше нуля, а *p-value* меньше 0,05), положительно незначимый (*IP* — *insignifi-*

cantly positive, если коэффициент показателя больше нуля, а p-value больше 0,05), отрицательно незначимый (*IN — insignificantly negative*, если коэффициент показателя меньше нуля, а p-value больше 0,05), отрицательно значимый (*SN — significantly negative*, если коэффициент показателя меньше нуля, а p-value меньше 0,05).

ВВП на душу населения

Показатель ВВП на душу населения (*GDP per capita* или *wealth* онлайн-приложения) рассматривался в 16 количественных исследованиях факторов революционной дестабилизации [Albrecht, Koehler 2020; Besançon 2005; Beissinger 2022¹; Cincotta, Weber 2021; Fox 2004; Gleditsch et al. 2021; Gleditsch, Rivera 2017; Keller 2015; Korotayev, Issaev et al. 2015; Shaheen 2015; Wimmer, Cederman, Min 2009; Коротаев, Исаев и др. 2015; Медведев, Коротаев 2021; Слав, Коротаев 2021; Медведев и др. 2022; Устюжанин, Коротаев 2022; Устюжанин, Михеева и др.

1 Необходимо отметить, что М. Бейссинджер при проведении статистических тестов не пользуется делением революционных выступлений на вооруженные и невооруженные; однако он (как и практически все остальные представители пятого поколения) предпочитает рассматривать факторы революционной дестабилизации не для всех революций в целом, а для их отдельных типов. Особое внимание он уделяет революционным эпизодам, которые он обозначает как «городские гражданские» (*civic urban*). При этом необходимо отметить, что практически все революционные события этого типа были невооруженными. С другой стороны, практически все невооруженные революционные эпизоды XXI века классифицируются Бейссинджером как «городские гражданские». Таким образом, «городские гражданские революции» М. Бейссинджера вполне можно рассматривать в качестве прокси невооруженных революционных выступлений. И неудивительно, что, как это можно видеть в приложении к данной статье, результаты тестов с использованием «городских гражданских революций» в качестве зависимой переменной практически неотличимы от результатов тестов других авторов с использованием в качестве зависимой переменной «невооруженных революционных выступлений/ненасильственных максималистских кампаний». Поэтому в сводных графиках результаты и тех, и других тестов объединены в столбцах «невооруженные революции». Кроме того, определенное внимание Бейссинджер уделяет революциям, которые он обозначает как «сельские» (*rural*) и «социальные» (*social*). Отметим, что к последним Бейссинджер относит по сути своей коммунистические и паракмунистические/«социалистические» революции, нацеленные на то или иное перераспределение собственности. Практически все эти революционные выступления были вооруженными, а результаты тестов с использованием «сельских» и «социальных» в качестве зависимой переменной практически неотличимы от результатов тестов других авторов с использованием в качестве зависимой переменной «вооруженных революционных выступлений/насильственных максималистских кампаний».

2023; Knutsen 2014]; сводка результатов этих исследований представлена в Приложении, а также ниже на рисунке 1.

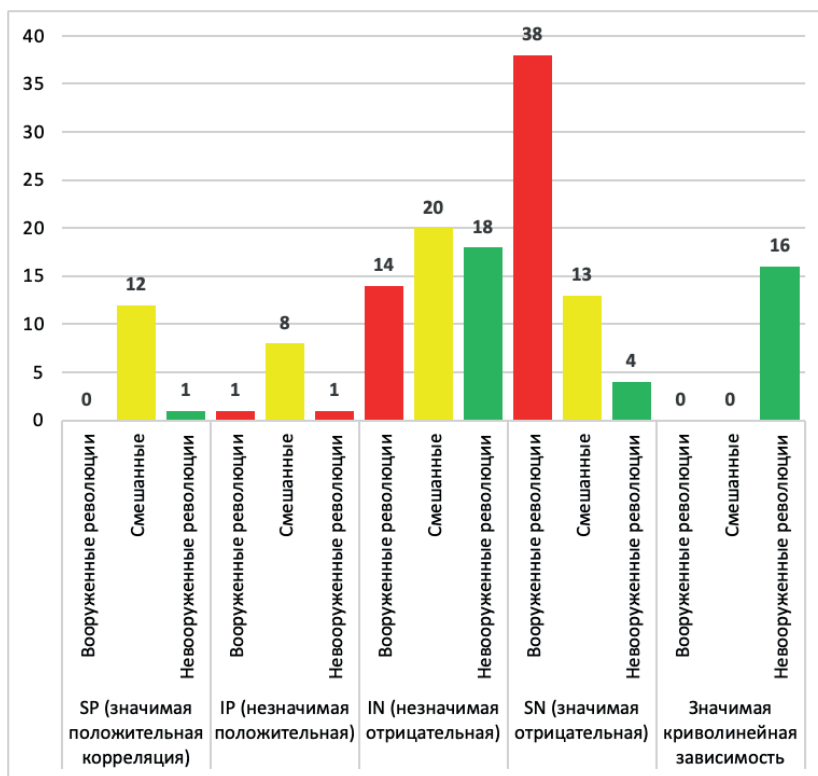


Рис. 1. Количество моделей с рассмотрением фактора ВВП на душу населения в зависимости от типа зависимой переменной¹

Fig. 1. Number of models considering the factor of GDP per capita for various types of revolutionary destabilization

Примечание: в одной работе обычно представлено более одной модели с использованием интересующей нас переменной в качестве независимой. Поэтому число моделей, учтенных в соответствующих сравнительных диаграммах, всегда значительно превышает число работ, на базе которых соответствующие диаграммы построены.

¹ Зависимая переменная обозначена авторами как «смешанные» в случае, если соответствующая совокупность революционных событий включает в себя заметное число как вооруженных, так и невооруженных революционных выступлений. Это относится прежде всего к тем случаям, когда в качестве зависимой переменной используется вся совокупность революционных событий, без их подразделения на вооруженные и невооруженные (см., например: [Keller 2012; Коротаев, Гринин и др. 2022]).

В целом применительно к подушевому ВВП главным результатом проведенных количественных кросс-национальных исследований структурных факторов революционной дестабилизации можно считать выявление того обстоятельства, что ВВП на душу населения оказывает существенно разное влияние на риски вооруженной революционной дестабилизации, с одной стороны, и на вероятность начала невооруженных восстаний — с другой. На вероятность вооруженных революционных восстаний высокий подушевой ВВП оказывает однозначно отрицательное влияние — чем выше ВВП на душу населения в данной стране, тем меньше там риски начала вооруженного революционного выступления. А вот применительно к невооруженным восстаниям прослеживается значимая перевернутая U-образная криволинейная зависимость — риски невооруженной революционной дестабилизации в долгосрочной перспективе усиливаются по мере роста подушевого ВВП в слабо- и среднеразвитых странах, но начинают уменьшаться по мере дальнейшего роста ВВП в высокоразвитых странах¹. Отметим, что данные результаты очень хорошо коррелируют с результатами исследований интенсивности антиправительственных протестов, показавшими, что в экономически слабо- и среднеразвитых государствах более высокое значение подушевого ВВП является мощным предиктором более высокой интенсивности антиправительственных демонстраций². Подчеркнем, что такого рода исследования для нас здесь вполне релевантны, так как антиправительственные

- 1 Отметим, что крайне неопределенные результаты, полученные в тестах без разделения революций на вооруженные и невооруженные, объясняются именно этим обстоятельством. С другой стороны, значительное число тестов, в которых корреляция между подушевым ВВП и вероятностью невооруженной революционной дестабилизации оказалась незначимой, объясняется тем, что их авторы не стали добавлять в модель квадратичный член, способный учесть криволинейность, — в результате отрицательная корреляция, характерная для богатых стран, нейтрализовала положительную, свойственную слабо- и среднеразвитым государствам, дав на выходе статистически незначимую связь (справедливости ради надо отметить, что для авторов этих тестов влияние подушевого ВВП никакого самостоятельного интереса не представляло, а добавляли они этот показатель в свои модели лишь в качестве одного из контролей).
- 2 [Ang et al. 2014; Christensen, Groshek 2020; Hollyer 2015; Inglehart, Welzel 2005; Jakobsen, Listhaug 2014; Korotayev, Bilyuga et al. 2018; Korotayev, Grinin et al. 2017; Korotayev, Sawyer et al. 2021; Korotayev, Vaskin et al. 2018; Nam 2007; Su 2015; Инглхарт, Вельцель 2011; Коротаев, Билюга и др. 2016, 2017a, 2017b; Коротаев, Васькин и др. 2017; Коротаев, Гринин и др. 2017, 2021b; Коротаев, Сойер и др. 2020].

демонстрации оказываются важнейшей частью революционного репертуара невооруженных восстаний [Lawson 2019].

Темпы экономического роста

Влияние фактора темпов экономического роста на риски революционной дестабилизации [Beissinger 2022; Chenoweth, Ulfelder 2017; Gleditsch, Rivera 2017; Keller 2012; Shaheen 2015; Медведев, Коротаев 2021; Слав, Коротаев 2021; Медведев и др. 2022; Устюжанин, Жодзишская и др. 2022; Knutsen 2014] несколько отличается (см. сводку результатов количественных исследований этого фактора в Приложении, а также ниже на рис. 2).

130

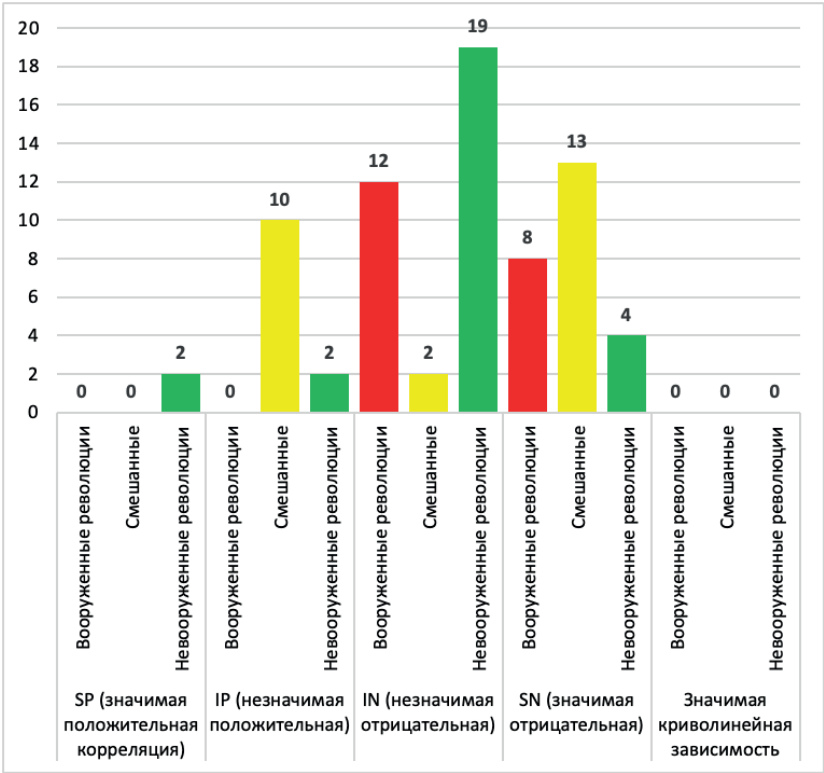


Рис. 2. Количество моделей с рассмотрением фактора экономического роста в зависимости от типа зависимой переменной

Fig. 2. Number of models considering the factor of economic growth rate for various types of revolutionary destabilization

Как мы видим, низкие темпы экономического роста/экономический спад достаточно определенно являются фактором увеличения

рисков вооруженной революционной дестабилизации¹; а вот применительно к их влиянию на вероятность невооруженных революционных выступлений не все так однозначно — проведенные количественные кросс-национальные исследования заставляют предполагать, что высокие темпы экономического роста могут как увеличивать, так и уменьшать² риски невооруженной революционной дестабилизации. Вопрос здесь явно требует дальнейших исследований — вполне может выясниться, что экономический рост может по-разному влиять на вероятность невооруженных восстаний в разные периоды времени (например, на разных фазах кондратьевского цикла), в разных мир-системных зонах [Медведев и др. 2020; Коротаев, Гринин, Малков и др. 2021: 199–247] и макрорегионах.

Сырьевая и нефтяная зависимость

Помимо этого, еще одним немаловажным макроэкономическим индикатором, рассматриваемым в современной социологии революций в качестве предиктора революционной дестабилизации, является доля нефтяных доходов в структуре ВВП (иногда рассматривается доля нефти в общем экспорте). Также некоторыми исследователями к нефтяным доходам добавляются доходы от любых других полезных ископаемых. Сводку результатов исследования влияния этого фактора на риски революционной дестабилизации [Beissinger 2022; Cincotta, Weber 2021; Keller 2015; Shaheen 2015; Wimmer et al. 2009; Knutsen 2014] см. в Приложении, а также ниже на рисунке 3.

131

С одной стороны, результаты заметной части проведенных тестов вроде бы отвечают ожиданиям теории «ресурсного проклятия» [Collier, Hoeffler 1998; de Soysa 2000], фиксируя заметное число статистически значимых положительных корреляций между долей нефтяных/сырьевых доходов в ВВП/экспорте и рисками вооруженных революционных выступлений.

- 1 С этим неплохо коррелирует то обстоятельство, что значимую отрицательную связь с рисками вооруженных восстаний демонстрируют темпы роста инвестиций в основной капитал [Слав, Коротаев 2021]. Другими словами, начало вооруженных революционных выступлений более вероятно на фоне спада инвестиций в экономику, а рост таких инвестиций данные риски уменьшает.
- 2 В дополнение к двум тестам, идентифицировавшим низкие темпы экономического роста в качестве значимого предиктора невооруженной революционной дестабилизации (учтенным выше на рис. 2), следует упомянуть, что в целом ряде исследований были выявлены значимые отрицательные корреляции между темпами экономического роста и интенсивностью антиправительственных демонстраций (см., например: [Ang et al. 2014; Brancati 2014, 2016; Grasso, Giugni 2019; Medvedev et al. 2022; Коротаев, Гринин и др. 2021: 199–247]).

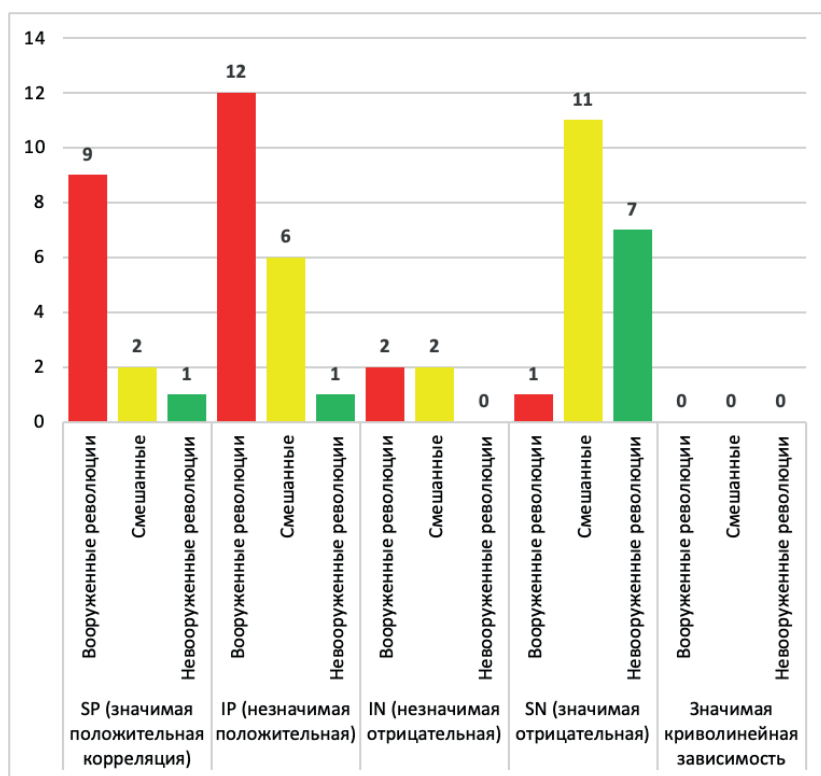


Рис. 3 Количество моделей с рассмотрением фактора нефтяного/сырьевого экспорта в зависимости от типа зависимой переменной

Fig. 3. Number of models considering the factor of oil/raw material exports for various types of revolutionary destabilization

С другой стороны, теоретически обоснована и точка зрения о том, что высокая доля нефтяных доходов в ВВП снижает риски начала революционных событий. Так, согласно концепции М. Росса, высокие нефтяные доходы, во-первых, способствуют установлению своеобразного «социального контракта» между элитами и гражданским обществом, где первые обеспечивают сравнительно высокий уровень жизни, а вторые отказываются от политической борьбы. Во-вторых, сырьевой экспорт обеспечивает дополнительные ресурсы для укрепления репрессивного аппарата и поддержания его лояльности. В-третьих, на фоне роста экономики за счет нефтяных доходов государство становится не заинтересовано в развитии мелкого и среднего бизнеса и тех социально-культурных изменениях, которые несет за собой формирование устойчивого среднего класса, склонного оказывать давление в сторону революционных демократических преобразований в большей степени, чем другие социаль-

ные страты [Beissinger 2007: 267; Ross 2001; Smith 2004]. Данное теоретическое ожидание подтверждается, но только применительно к вероятности начала невооруженных революционных выступлений (при этом подчеркнем, что в соответствующих проведенных тестах речь идет только о нефтяных доходах, а не о сырьевых доходах в целом; именно о нефтяных доходах идет речь и в очень релевантном здесь исследовании Б. Смита [Smith 2004]).

Итак, проведенные к настоящему времени количественные кросс-национальные исследования факторов революционной дестабилизации позволяют утверждать, что высокая доля нефтяных доходов в ВВП/экспорте повышает риски вооруженной революционной дестабилизации, но снижает вероятность невооруженных революционных выступлений.

С другой стороны, если негативное влияние высоких нефтяных доходов на риски невооруженных революционных восстаний можно считать доказанным достаточно убедительно, то применительно к положительной корреляции между долей нефтяных доходов и вероятностью вооруженных революций требуются достаточно серьезные оговорки. Действительно, здесь нельзя игнорировать то обстоятельство, что число тестов, где последняя корреляция оказалась статистически незначимой, превышает число тестов, где она была значимой (с другой стороны, там нередко рассматривались доходы от экспорта сырья в целом). Кроме того, последнее исследование факторов революционной дестабилизации методами машинного обучения показало, что нефтяные доходы оказывают значимое влияние на вероятность начала ненасильственных революционных выступлений, а не вооруженных восстаний [Медведев и др. 2022]. Таким образом, похоже, более корректным было бы сказать, что в то время как высокие нефтяные доходы уменьшают вероятность начала невооруженных революционных выступлений, на риски вооруженной революционной дестабилизации они значимого влияния, возможно, не оказывают (хотя общая сырьевая ориентация экономики, по-видимому, может увеличивать риски революционной дестабилизации). В любом случае вопрос о нефтяных доходах как возможном факторе, увеличивающем риски вооруженной революционной дестабилизации, требует дальнейшего изучения.

Иные экономические факторы

Что касается остальных экономических факторов (см. Приложение), то они рассматривались в меньшем числе исследований и не представляется возможным провести сколько-нибудь надежный компаративистский анализ, анализируя направление и статистическую значимость их влияния в различных эмпирических моделях. В то же время имеет смысл упомянуть, что в количественных исследованиях индус-

стриальное развитие (и связанная с ним модернизация) оказывают положительное влияние на вероятность начала революционных выступлений [Albrecht, Koehler 2020], прежде всего невооруженных [Butcher, Svensson 2016], в то время как безработица [Shaheen 2015]¹ и общая инфляция [Chenoweth, Ulfelder 2017] значимого влияния не оказывают. С другой стороны, значимым фактором невооруженной революционной дестабилизации, по всей видимости, оказывается продовольственная инфляция/«агфляция» [Медведев, Коротаев 2021; Медведев и др. 2022; Устюжанин, Коротаев 2022]; этот фактор идентифицирован и в качестве значимого предиктора массовых протестов [Hendrix, Haggard 2015], тесно коррелирующих с невооруженными революционными выступлениями. Кроме того, безработица идентифицирована в качестве значимого предиктора, с одной стороны, террористической активности [Bagchi, Paul 2018; Okafor, Piesse 2018] (нередко тесно коррелирующей с вооруженными революционными событиями), а с другой — массовых протестов [Nam 2007; Pritchard 2019; Raisi 2021; Raleigh 2015], хотя безработица, по всей видимости, может оказывать существенно разное влияние на массовую протестную дестабилизацию в разных регионах мира [Коротаев, Хохлова и др. 2018]. Все это говорит о крайней желательности дополнительного исследования безработицы как возможного фактора революционной дестабилизации.

134

Выводы

Таким образом, проведенные к настоящему времени количественные кросс-национальные исследования экономических факторов революционной дестабилизации (которые мы считаем возможным относить к пятому поколению исследований революций) показывают, что одни и те же экономические факторы могут оказывать очень разное влияние на вероятность начала вооруженных восстаний, с одной стороны, и невооруженных революционных выступлений — с другой. Эти исследования показывают, что вероятность невооруженных революционных выступлений наиболее высока в экономически среднеразвитых странах, не имеющих нефтяных доходов, на фоне быстрого роста цен на продовольствие (при этом провоцировать такие выступления может как экономический спад, так и экономический подъем). С другой стороны, вооруженные восстания наиболее вероятны в бедных странах с сырьевой экономикой на фоне экономического спада и падения инвестиций в основной капитал.

1 Безработица, впрочем, идентифицирована в качестве значимого предиктора массовых протестов, хотя она, по всей видимости, может оказывать существенно разное влияние в разных регионах мира [Коротаев и др. 2018].

Библиография / References

Голдстоун Д. (2006) К теории революции четвертого поколения, *Логос*, 5(56): 58–103.

— Goldstoun D. (2006) К teorii revolyucii chetvertogo pokoleniya, *Logos*, 5(56): 58–103. — in Russ.

Голдстоун Д., Гринин Л. Е., Коротаев А. В. (2022) Волны революций XXI столетия. *Полис: Политические исследования*, (4): 108–119.

— Goldstone J., Grinin L. E., Korotayev A. V. (2022) Volny revolyucij XXI stoletiya. *Polis: Politicheskie issledovaniya*, (4): 108–119. — in Russ.

Жданов А. И., Коротаев А. В. (2023) Выборы, тип режима и риски революционной дестабилизации: опыт количественного анализа. *Социология власти*, 34(1): 3–30.

— Zhdanov A. I., Korotayev A. V. (2023) Vybory, tip rezhima i riski revolyucionnoj destabilizacii: opyt kolichestvennogo analiza. *Sociologiya vlasti*, 34(1): 3–30. — in Russ.

Инглхарт Р., Вельцель К. (2011) *Модернизация, культурные изменения и демократия*, М.: Новое изд-во

— Inglehart R., Welzel C. (2011) *Modernizaciya, kul'turnye izmeneniya i demokratiya*, М.: Novoe izd-vo. — in Russ.

Коротаев А. В., Билюга С. Э., Шишкина А. Р. (2016) ВВП на душу населения, уровень протестной активности и тип режима: опыт количественного анализа, *Сравнительная политика*, 7 (4): 72–94.

— Korotayev A. V., Bilyuga E., Shishkina A. R. (2016) VVP na dushu naseleniya, uroven' protestnoj aktivnosti i tip rezhima: opyt kolichestvennogo analiza. *Sravnitel'naya politika*, 7 (4): 72–94. — in Russ.

Коротаев А. В., Билюга С. Э., Шишкина А. Р. (2017а) ВВП на душу населения, интенсивность антиправительственных демонстраций и уровень образования. Кросс-национальный анализ. *Полития: Анализ. Хроника. Прогноз*, 84(1): 127–143.

— Korotayev A. V., Bilyuga S. E., Shishkina A. R. (2017a) VVP na dushu naseleniya, intensivnost' antipravitel'svennyh demonstracij i uroven' obrazovaniya. Kross-nacional'nyj analiz. *Politiya: Analiz. Hronika. Prognoz*, 84(1): 127–143. — in Russ.

Коротаев А. В., Билюга С. Э., Шишкина А. Р. (2017б) Экономический рост и социально-политическая дестабилизация: опыт глобального анализа. *Полис: Политические исследования*, (2): 155–169.

— Korotayev A. V., Bilyuga S. E., Shishkina A. R. (2017b) Ekonomicheskij rost i social'no-politicheskaya destabilizaciya: opyt global'nogo analiza. *Polis: Politicheskie issledovaniya*, (2): 155–169. — in Russ.

Коротаев А. В., Божевольнов Ю. В., Гринин Л. Е., Зинькина Ю. В., Малков С. Ю. (2011) Ловушка на выходе из ловушки. Логические и математические модели. А. А. Акаева (ред.) *Проекты и риски будущего*, М.: Красанд/URSS: 138–164.

— Korotayev A. V., Bozhevol'nov Yu. V., Grinin L. E., Zinkina J. V., Malkov S. YU. (2011) Lovushka na vyhode iz lovushki. Logicheskie i matematicheskie modeli.

A. A. Akaeva (red.) *Proekty i riski budushchego*, M.: Krasand/URSS: 138-164. — in Russ.

Коротаев А. В., Васькин И. А., Билюга С. Э. (2017) Гипотеза Олсона-Хантингтона о криволинейной зависимости между уровнем экономического развития и социально-политической дестабилизацией: опыт количественного анализа. *Социологическое обозрение*, 16 (1): 9-47.

— Korotayev A. V., Vaskin I. A., Bilyuga S. E. (2017) Gipoteza Olsona-Huntingtona o krivolineynoy zavisimosti mezhdu urovnem ekonomicheskogo razvitiya i social'no-politicheskoy destabilizaciej: opyt kolichestvennogo analiza. *Sociologicheskoe obozrenie*, 16 (1): 9-47. — in Russ.

Коротаев А. В., Гринин Л. Е., Малков С. Ю., Исаев Л. М., Филин Н. А., Билюга С. Э., Зинькина Ю. В., Слинко Е. В., Шишкина А. Р., Шульгин С. Г., Мещерина К. В., Айсин М. Б., Иванов Е. А., Кокликов В. О., Медведев И. А., Романов Д. М., Слав М., Сойер П. (2021) *Социально-политическая дестабилизация в странах африканской макрзоны неустойчивости: количественный анализ и прогнозирование рисков*, М.: Ленанд/URSS.

— Korotayev A. V., Grinin L. E., Malkov S. Yu., Issaev L. M., Filin N. A., Bilyuga S. E., Zinkina J. V., Slinko E. V., Shishkina A. R., Shulgin S. G., Meshcherina K. V., Ajsin M. B., Ivanov E. A., Koklikov V. O., Medvedev I. A., Romanov D. M., Slav M., Sawyer P. (2021) *Social'no-politicheskaya destabilizaciya v stranah afrazijskoj makrozony nestabil'nosti: kolichestvennyj analiz i prognozirovanie riskov*, M.: Lenand/URSS. — in Russ.

Коротаев А. В., Гринин Л. Е., Медведев И. А., Слав М. (2022) Типы политических режимов и риски революционной дестабилизации в XXI веке. *Социологическое обозрение*, 21 (2): 9-65.

— Korotayev A. V., Grinin L. E., Medvedev I. A., Slav M. (2022) Tipy politicheskikh rezhimov i riski revolyucionnoj destabilizacii v XXI veke. *Sociologicheskoe obozrenie*, 21 (2): 9-65. — in Russ.

Коротаев А. В., Исаев Л. М., Васильев А. М. (2015) Количественный анализ революционной волны 2013-2014 гг. *Социологические исследования*, (8): 119-127.

— Korotayev A. V., Issaev L. M., Vasiliev A. M. (2015) Kolichestvennyj analiz revolyucionnoj volny 2013-2014 gg. *Sociologicheskie issledovaniya*, (8): 119-127. — in Russ.

Коротаев А. В., Малков А. С., Бурова А. Н., Зинькина Ю. В., Ходунов А. С. (2012) Ловушка на выходе из ловушки. Математическое моделирование социально-политической дестабилизации в странах мир-системной периферии и события «арабской весны» 2011 г. Моделирование и прогнозирование глобального, регионального и национального развития. А. А. Акаев (ред.). М.: Librokom/URSS: 210-276.

— Korotayev A. V., Malkov A. S., Burova A. N., Zinkina J. V., Khodunov A. S. (2012) Lovushka na vyhode iz lovushki. Matematicheskoe modelirovanie social'no-politicheskoy destabilizacii v stranah mir-sistemnoj periferii i sobytiya arab-skoj vesny 2011 g. Modelirovanie i prognozirovanie global'nogo, regional'nogo i nacional'nogo razvitiya. A. A. Akaev (ed.). M.: Librokom/URSS: 210-276. — in Russ.

Коротаев А. В., Соьер П. С., Гринин Л. Е., Шишкина А. Р., Романов Д. М. (2020) Социально-экономическое развитие и антиправительственные протесты в свете новых результатов количественного анализа глобальных баз данных. *Социологический журнал*, 26 (4): 61-78.

— Korotayev A. V., Sawyer P. S., Grinin L. E., Shishkina A. R., Romanov D. M. (2020) Social'no-ekonomicheskoe razvitiye i antipravitel'stvennyye protesty v svete novykh rezul'tatov kolichestvennogo analiza global'nyh baz dannyh. *Sociologicheskij zhurnal*, 26 (4): 61-78. — in Russ.

Коротаев А. В., Хохлова А. А., Цирель С. В. (2018) Безработица как предиктор социально-политической дестабилизации в странах Западной и Восточной Европы. *Экономическая социология*, 19 (2): 118-167.

— Korotayev A. V., Khokhlova A. A., Tsirel S. V. (2018) Bezrabotica kak prediktor social'no-politicheskoy destabilizacii v stranah Zapadnoj i Vostochnoj Evropy. *Ekonomicheskaya sociologiya*, 19 (2): 118-167. — in Russ.

Ленин В. И. (1969) Крах II Интернационала. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. Т. 26. М.: Государственное издательство политической литературы.

— Lenin V. I. (1969) Krah II Internacionala. Lenin V. I. Polnoe sobranie sochinenij. 5-e izd. T. 26. M.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoy literatury. — in Russ.

Маркс К., Энгельс Ф. (1955 [1948]) «Манифест Коммунистической партии». Маркс К. и Ф. Энгельс: Сочинения. 2-е изд. Т. 4. М.: Государственное издательство политической литературы.

— Marks K., Engel's F. (1955 [1948]) «Manifest Kommunisticheskoy partii». Marks K. i F. Engel': Sochineniya. 2-e izd. T. 4. M.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoy literatury. — in Russ.

Медведев И. А., Коротаев А. В. (2021) Структурные факторы мирной и вооруженной революционной смены власти: опыт анализа методами машинного обучения. *Системный мониторинг глобальных и региональных рисков*, 12: 145-189.

— Medvedev I. A., Korotayev A. V. (2021) Strukturnye faktory mirnoj i vooruzhennoj revolyucionnoj smeny vlasti: opyt analiza metodami mashinnogo obucheniya. *Sistemnyj monitoring globalnyh i regionalnyh riskov*, 12: 145-189. — in Russ.

Медведев И. А., Соьер П. С., Коротаев А. В. (2020) К применению методов машинного обучения для ранжирования факторов дестабилизации. Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев, Д. А. Быканова (ред.) *Системный мониторинг глобальных и региональных рисков*, 11: 397-432.

— Medvedev I. A., Sawyer P. S., Korotayev A. V. (2020) K primeneniyu metodov mashinnogo obucheniya dlya ranzhirovaniya faktorov destabilizacii. *Sistemnyj monitoring globalnyh i regionalnyh riskov*, 11: 397-432. — in Russ.

Медведев И. А., Устюжанин В. В., Коротаев А. В. (2022) Применение методов машинного обучения для ранжирования факторов и прогнозирования невооруженной и вооруженной революционной дестабилизации в африканской макроне нестабильности. *Системный мониторинг глобальных и региональных рисков*, 13: 134-191.

— Medvedev I. A., Ustyuzhanin V. V., Korotayev A. V. (2022) Primenenie metod mashinnogo obucheniya dlya ranzhirovaniya faktorov i prognozirovaniya nevooruzhennoj i vooruzhennoj revolyucionnoj destabilizacii v afrazijskoj makrozone nestabil'nosti. *Sistemnyj monitoring globalnyh i regionalnyh riskov*, 13: 134–191. — in Russ.

Розов Н. С., Пустовойт Ю. А., Филиппов С. И., Цыганков В. В. (2019) *Революционные волны в ритмах глобальной модернизации*, М.: Красанд/URSS.

— Rozov N. S., Pustovojt Yu. A., Filippov S. I., Tsygankov V. V. (2019) *Revolucionnyye volny v ritmah global'noj modernizacii*, М.: Krasand/URSS. — in Russ.

Слав М., Коротаев А. В. (2021) К регрессионному анализу рисков революционной дестабилизации в афразийской макрорегии неустойчивости в XXI веке. *Системный мониторинг глобальных и региональных рисков*, 12: 219–241.

— Slav M., Korotayev A. V. (2021) K regressionnomu analizu riskov revolyucionnoj destabilizacii v afrazijskoj makrozone nestabil'nosti v XXI veke. *Sistemnyj monitoring globalnyh i regionalnyh riskov*, 12: 219–241. — in Russ.

Устюжанин В. В., Жодзишская П. А., Коротаев А. В. (2022). Демографические факторы как предикторы революционных ситуаций. Опыт количественного анализа. *Социологический журнал*, 28 (4): 3–32.

138

— Ustyuzhanin V. V., Zhodzishskaya P. A., Korotayev A. V. (2022) Demograficheskie faktory kak prediktory revolyucionnyh situacij. *Opyt kolichestvennogo analiza. Sociologicheskij zhurnal*, 28 (4): 3–32. — in Russ.

Устюжанин В. В., Коротаев А. В. (2022) Регрессионное моделирование вооруженной и невооруженной революционной дестабилизации в афразийской макрорегии неустойчивости. *Системный мониторинг глобальных и региональных рисков*, 13: 192–226.

— Ustyuzhanin V. V., Korotayev A. V. (2022) Regressionnoe modelirovanie vooruzhennoj i nevooruzhennoj revolyucionnoj destabilizacii v afrazijskoj makrozone nestabil'nosti. *Sistemnyj monitoring globalnyh i regionalnyh riskov*, 13: 192–226. — in Russ.

Устюжанин В. В., Коротаев А. В., Гринин Л. Е. (2021) Революционные события XXI века в афразийской макрорегии неустойчивости и некоторых других мир-системных зонах: предварительный количественный анализ. *Системный мониторинг глобальных и региональных рисков*, 12: 106–144.

— Ustyuzhanin V. V., Korotayev A. V., Grinin L. E. (2021) Revolyucionnyye so-bytiya XXI veka v afrazijskoj makrozone nestabil'nosti i nekotoryh drugih mir-sistemnyh zonah: predvaritelnyj kolichestvennyj analiz. *Sistemnyj monitoring globalnyh i regional'nyh riskov*, 12: 106–144. — in Russ.

Устюжанин В. В., Михеева В. А., Сумерников И. А., Коротаев А. В. (2023) Экономические истоки революций: связь между ВВП и рисками революционных выступлений. *Полития: Анализ. Хроника. Прогноз*, (1): 64–87.

— Ustyuzhanin V. V., Miheeva V. A., Sumernikov I. A., Korotayev A. V. (2023) Ekonomicheskie istoki revolyucij: svyaz' mezhdu VVP i riskami revolyucionnyh vystuplenij. *Politiya: Analiz. Hronika. Prognoz*, (1): 64–87. — in Russ.

Устюжанин В. В., Степанищева Я. В., Галлямова А. А., Гринин Л. Е., Коротаев А. В. (2023) Образование и риски революционной дестабилизации: опыт количественного анализа. *Социологическое обозрение*, 22 (1): 98–128.

— Ustyuzhanin V. V., Stepanishcheva Ya. V., Gallyamova A. A., Grinin L. E., Korotaev A. V. (2023) Obrazovanie i riski revolyucionnoy destabilizacii: opyt kolichestvennogo analiza. *Sociologicheskoe obozrenie*, 22 (1): 98–128. — in Russ.

Устюжанин В. В., Сумерников И. А., Гринин Л. Е., Коротаев А. В. (2022) Урбанизация и революции: количественный анализ. *Социологические исследования*, (10): 85–95.

— Ustyuzhanin V. V., Sumernikov I. A., Grinin L. E., Korotaev A. V. (2022) Urbani-zaciya i revolyucii: kolichestvennyj analiz. *Sociologicheskie issledovaniya*, (10): 85–95. — in Russ.

Шульц Э. Э. (2016) *Теория революции: революции и современные цивилизации*, М.: Ленанд/URSS.

— Shulz E. E. (2016) *Teoriya revolyucii: revolyucii i sovremennye civilizacii*, М.: Lenand/URSS. — in Russ.

Albrecht H., Koehler K. (2020) Revolutionary Mass Uprisings in Authoritarian Regimes. *International Area Studies Review*, 23 (2): 135–159.

Allinson J. (2019) A Fifth Generation of Revolution Theory? *Journal of Historical Sociology*, 32 (1): 142–151.

Ang A. U., Dinar S., Lucas R. E. (2014) Protests by the young and digitally restless: The means, motives, and opportunities of anti-government demonstrations. *Information, Communication & Society*, 17 (10): 1228–1249.

Aya R. (1990) *Rethinking Revolutions and Collective Violence: Studies on Concept, Theory, and Method*, Amsterdam: Het Spinhuis.

Bacallao-Pino L. M. (2016) Redes Sociales, Acción Colectiva y Elecciones: Los Usos de Facebook Por El Movimiento Estudiantil Chile (Durante La Campaña Electoral de 2013). *Palabra Clave — Revista de Comunicación*, 19 (3): 810–837.

Bagchi A., & Paul J. A. (2018) Youth unemployment and terrorism in the MENAP (Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan) region. *Socio-Economic Planning Sciences*, (64): 9–20.

Beck C. J., Bukovansky M., Chenoweth E., Lawson G., Nepstad S. E., Ritter D. (2022) *On Revolutions: Unruly Politics in the Contemporary World*, Oxford: Oxford University Press.

Beissinger M. R. (2007) Structure and Example in Modular Political Phe mena: The Diffusion of Bulldozer/Rose/Orange/Tulip Revolutions. *Perspectives on Politics*, 5 (2): 259–276.

Beissinger M. R. (2022) *The Revolutionary City: Urbanization and the Global Transformation of Rebellion*, Princeton: Princeton University Press.

Benjamin A. A. Fifth Generation of Revolutionary Theory Is Yet to Come. *Journal of Historical Sociology*, 32 (1): 142–151.

Besançon M. L. (2005) Relative Resources: Inequality in Ethnic Wars, Revolutions, and Genocides. *Journal of Peace Research*, 42 (4): 393–415.

Brancati D. (2014) Pocketbook Protests: Explaining the Emergence of Pro-Democracy Protests Worldwide. *Comparative Political Studies*, 47 (11): 1503–1530.

Brancati D. (2016) *Democracy Protests: Origins, Features, and Significance*, Cambridge: Cambridge University Press.

Brinton C. (1965) *The Anatomy of Revolution*. New York: Vintage books

Butcher C., Svensson I. (2016) Manufacturing Dissent: Modernization and the Onset of Major Nonviolent Resistance Campaigns. *Journal of Conflict Resolution*, 60 (2): 311–339.

Cheweth E., Shay C. W. (2020) List of Campaigns in NAVCO 1.3. Cambridge, MA: Harvard Dataverse. 2020. Available at: <https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/ON9XNDN9XND>.

Chenoweth E., Stephan M. J. (2011) *Why civil resistance works: the strategic logic of Non-violent conflict*, New York: Columbia University Press.

Chenoweth E., Ulfelder J. (2017) Can Structural Conditions Explain the Onset of Non-violent Uprisings? *Journal of Conflict Resolution*, 61 (2): 298–324.

Christensen B., & Groshek J. (2020) Emerging media, political protests, and government repression in autocracies and democracies from 1995 to 2012. *International Communication Gazette*, 82 (8): 685–704.

Cincotta R., Weber H. (2021) Youthful Age Structures and the Risks of Revolutionary and Separatist Conflicts. *Global Political Demography: The Politics of Population Change, The Age-structural theory of state behavior* / A. Goerres, Vanhuysse (eds.) New York: Palgrave Macmillan

Collier P., and Anke H. (1998) On Economic Causes of Civil War. *Oxford Economic Articles*, 50 (4): 563–73.

Coppedge M. et al. (2021) V-Dem Dataset. 2021 Available at: <https://www.v-dem.net/data/dataset-archive/> (дата доступа: 19.12.2022)

Davies J. C. (1962) Toward a theory of revolution. *American sociological review*, 27 (1): 5–19.

Esteso-Pérez A. (2021) Illiberalism, Revolution and the 2016 Macedonian Elections: The Effects of Social Movements on Electoral Accountability. *Intersections*, 7 (4): 32–51.

Fearon J. D., Laitin D. D. (2003) Ethnicity, Insurgency, and Civil War. *American Political Science Review*, 97 (1): 75–90.

Foran J. (2005) *Taking Power: On the Origins of Third World Revolutions*, New York: Cambridge University Press.

Fox J. (2004) The Rise of Religious Nationalism and Conflict: Ethnic Conflict and Revolutionary Wars, 1945–2001. *Journal of Peace Research*, 41 (6): 715–731.

Gleditsch K., Dahl M., Gates S., González B. (2021) Accounting for Numbers: Group Characteristics and the Choice of Violent and Nonviolent Tactics. *The Economics of Peace and Security Journal*, 16 (1): 1–49.

Gleditsch K., Rivera M. (2017) The Diffusion of Nonviolent Campaigns. *Journal of Conflict Resolution*, 61 (5): 1120–1145.

Goldstone J. A. (1980) Theories of Revolution: The Third Generation. *World Politics*, 32 (3): 425–453.

- Goldstone J. A. (1991) *Revolution and Rebellion in the Early Modern World*, Berkeley: University of California Press.
- Goldstone J. A. (2001) Toward a Fourth Generation of Revolutionary Theory. *Annual Review of Political Science*, 4 (1): 139–187.
- Goldstone J. A. (2014) *Revolutions: A Very Short Introduction*, Oxford: New York: Oxford University Press.
- Goldstone J. A., Grinin L., Korotayev A. (2022a) Changing yet Persistent: Revolutions and Revolutionary Events. Handbook of Revolutions in the 21st Century: The New Waves of Revolutions, and the Causes and Effects of Disruptive Political Change / J. Goldstone, L. Grinin, A. Korotayev (eds.) Cham: Springer.
- Goldstone J. A., Grinin L., Korotayev A. (2022b) The Phenomenon and Theories of Revolutions. Handbook of Revolutions in the 21st Century: The New Waves of Revolutions, and the Causes and Effects of Disruptive Political Change / J. Goldstone, L. Grinin, A. Korotayev (eds.) Cham: Springer.
- Grinin L. (2022a) Revolution and modernization traps. Handbook of Revolutions in the 21st Century: The New Waves of Revolutions, and the Causes and Effects of Disruptive Political Change / J. Goldstone, L. Grinin, A. Korotayev (eds.) Cham: Springer.
- Grinin L. (2022b) The European Revolutions and Revolutionary Waves of the 19th Century: Their Causes and Consequences. Handbook of Revolutions in the 21st Century: The New Waves of Revolutions, and the Causes and Effects of Disruptive Political Change / J. Goldstone, L. Grinin, A. Korotayev (eds.) Cham: Springer.
- Grasso M. T., & Giugni M. (2019) Political values and extra-institutional political participation: The impact of economic redistributive and social libertarian preferences on protest behavior. *International Political Science Review*, 40 (4): 470–485.
- Hendrix C. S., Haggard S. (2015) Global food prices, regime type, and urban unrest in the developing world. *Journal of Peace Research*, 52 (2): 143–157.
- Hollyer J. R., Rosendorff B. P., Vreeland J. R. (2015) Transparency, protest, and autocratic instability. *American Political Science Review*, 109 (4): 764–784.
- Jakobsen T. G., Listhaug O. (2014) Social change and the politics of protest. The civic culture transformed: From allegiant to assertive citizens / R. J. Dalton, C. Welzel (eds.) Cambridge: Cambridge University Press.
- Kadivar M. A., Ketchley N. (2018) Sticks, Stones, and Molotov Cocktails: Unarmed Collective Violence and Democratization. *Socius: Sociological Research for a Dynamic World*, (4): 1–16.
- Keller F. (2012) (Why) Do Revolutions Spread? Paper presented at the Annual Meeting of the American Political Science Association. August 2012. Available at: https://www.researchgate.net/publication/275954363_Why_Do_Revolutions_Spread
- Knight J., Sened I. (1995) *Explaining Social Institutions*, Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Knutsen C. H. (2014) Income Growth and Revolutions: Income Growth and Revolutions. *Social Science Quarterly*, 95(4): 920–937.
- Korotayev A., Bilyuga S., Shishkina A. (2018) GDP Per Capita and Protest Activity: A Quantitative Reanalysis. *Cross-Cultural Research*, 52 (4): 406–440.

Korotayev A., Grinin L., Bilyuga S., Meshcherina K., & Shishkina A. (2017) Economic Development, Sociopolitical Destabilization and Inequality. *Russian Sociological Review*, 16 (3): 30–57.

Korotayev A., Issaev L., Zinkina J. (2015) Center-periphery dissonance as a possible factor of the revolutionary wave of 2013–2014: A cross-national analysis. *Cross-Cultural Research*, 49 (5): 461–488.

Korotayev A., Sawyer P., Romanov D. (2021) Socio-Economic Development and Protests. A Quantitative Reanalysis. *Comparative Sociology*, 20 (2): 195–222.

Korotayev A., Vaskin I., Bilyuga S., Ilyin I. (2018) Economic Development and Sociopolitical Destabilization: A Re-Analysis. *Cliodynamics: The Journal of Quantitative History and Cultural Evolution*, 9 (1): 59–118.

Korotayev A., Zinkina J., Kobzeva S., Bogevolnov J., Khaltourina D., Malkov A., Malkov S. (2011) A Trap at the Escape from the Trap? Demographic-Structural Factors of Political Instability in Modern Africa and West Asia. *Cliodynamics*, 2 (2): 276–303.

Kselman D., Emerson N. (2011) Protest Voting in Plurality Elections: A Theory of Voter Signaling. *Public Choice*, 148 (3–4): 395–418.

Lawson G. (2019) *Anatomies of Revolution*, Cambridge: Cambridge University Press.

Medvedev I., Ustyuzhanin V., Zinkina J., Korotayev A. (2022) Machine learning for ranking factors of global and regional protest destabilization with a special focus on Afrasian instability macrozone. *Comparative Sociology*, 21(6): 604–645.

Molina V., José E. (2002) The Presidential and Parliamentary Elections of the Bolivarian Revolution in Venezuela: Change and Continuity (1998–2000). *Bulletin of Latin American Research*, 21 (2): 219–247.

Moore B. (1970) *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World*, Boston: Beacon Press.

Munro D., Zeisberger C. (2011) Demographics: The Ratio of Revolution. *SSRN Electronic Journal*, (42): 1–24.

Nam T. (2007) Rough Days in Democracies: Comparing Protests in Democracies. *Economic Journal of Political Research*, 46 (1): 97–120.

Odegard P. H. (1939) The Process of Revolution. By George Sawyer Pettee. *American Political Science Review*, 33 (4): 692–694.

Okafor G., & Piesse J. (2018) Empirical investigation into the determinants of terrorism: Evidence from fragile states. *Defence and Peace Economics*, 29 (6): 697–711.

Parsa M. (2000) *States, Ideologies, and Social Revolutions: A Comparative Analysis of Iran, Nicaragua, and the Philippines*, New York: Cambridge University Press.

Petee G. (1938) *The Process of Revolution*, New York: Harper and Brothers.

Pritchard D. (2019) Protest events, welfare generosity, and welfare state regimes: A comparative analysis of welfare states and social unrest. *Contention*, 7 (2): 31–50.

Raisi A. (2021) The reciprocal impact of electoral turnout on protest participation in developing countries: evidence from Iran's 2018 uprising. *Democratization*, 28 (4): 703–722.

Raleigh C. (2015) Urban violence patterns across African states. *International Studies Review*, 17 (1): 90–106.

Ritter D. (2014) *The Iron Cage of Liberalism: International Politics and Unarmed Revolutions in the Middle East and North Africa*, Oxford: Oxford Univ. Press.

Ross M. L. (2001) Does Oil Hinder Democracy? *World Politics*, 53 (3): 325–361.

Sawyer P., Romanov D., Slav M., & Korotayev A. (2022). Urbanization, the Youth, and Protest: A Cross-National Analysis. *Cross-Cultural Research*, 56 (2–3): 125–149.

Selbin E. (2010) *Revolution, Rebellion, Resistance: The Power of Story*, London: Zed Books.

Shaheen S. (2015) *Soziale Aufstände. Konzeptualisierung, Bemessung, Ursachen Und Folgerungen. Social Uprisings: Conceptualization, Measurement, Causes and Implications*, Marburg: Philipps-University of Marburg.

Skocpol T. (2008) *States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China*, Cambridge: Cambridge Univ. Press.

Smith B. (2004) Oil Wealth and Regime Survival in the Developing World, 1960–1999. *American Journal of Political Science*, 48 (2): 232–246.

De Soysa, Indra. (2000) The Resource Curse: Are Civil Wars Driven by Rapacity or Paucity? Greed & Grievance: Economic Agendas in Civil Wars / M. Berdal, D. Malone (ed.) Boulder: Lynne Rienner.

Sorokin P. (1925) *The Sociology of Revolution*, Philadelphia: Lippincott.

Streeck W. (2014) *Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism*, Brooklyn, NY: Verso.

Su Y.-P. (2015) Anti-Government Protests in Democracies: A Test of Institutional Explanations. *Comparative Politics*, 47 (2): 149–167.

Tilly C. (1973) Does Modernization Breed Revolution? *Comparative Politics*, 5(3): 425–447.

Walter B. F. (2022) *How Civil Wars Start. First Edition*, New York: Crown.

Wimmer A., Cederman L., Min B. (2009) Ethnic Politics and Armed Conflict: A Configurational Analysis of a New Global Data Set. *American Sociological Review*, 74. (2): 316–37.

Wolf E. R. (1973) *Peasant Wars of the Twentieth Century*, London: Faber and Faber.

Zhdanov A., Korotayev A. (2022) Factors of Deconsolidation of a Liberal Democratic Regime: The Case of the United States. *Cliodynamics*, 13 (1): 1–34.

143

Рекомендация для цитирования:

Коротаев А. В., Жданов А. И. (2023) Количественный анализ экономических факторов революционной дестабилизации: результаты и перспективы. *Социология власти*, 35 (1): 118–159.

For citations:

Korotaev A. V., Zhdanov A. I. (2023) A Quantitative Analysis of Economic Factors of Revolutionary Destabilization: Results and Prospects. *Sociology of Power*, 35 (1): 118–159.

Поступила в редакцию: 11.01.2023; принята в печать: 25.02.2023

Received: 11.01.2023; Accepted for publication: 25.02.2023

Приложение. Экономические факторы революционной дестабилизации
(результаты количественных кросс-национальных исследований)

ФАКТОР	Источник и название независимой переменной	SP	IP	IN	SN	Тип революции: вооружённая, невооружённая, разделение не проводилось (смешанная)	Зависимая переменная	Выборка/период
	Albrecht and Koehler 2020 (лаг ВВП, как на основе показателей мирового развития Всемирного банка/ GDP lag, both from the World Bank's World Development Indicators)	8	2	1	1	Смешанная	Революционная ситуация (revolutionary situation)	недемократические режимы с 1945 по 2015 год (non-democratic regimes between 1945 and 2015.)
ВВП на душу населения/ GDP per capita /wealth	Besançon, 2005 (Натуральный логарифм реального ВВП на душу населения / Natural log of real GDP per capita)						Этническая революция (Ethnic)	
					4			
						Вооружённая		временные ряды с 1960 по 1992, 1995 или 1999 годы (time series from 1960 to 1992, 1995, or 1999)
		1		3			Революция (Revolutions)	
		1		3			Геноцид (Genocide)	
	Cincotta and Weber, 2021 (Логарифмическое преобразование ВВП на душу населения в 2010 г. в долларах США. Источник: Всемирный банк. /Log10 transform of GDP per capita, in 2010 US\$. Source: World Bank's)						Революционный конфликт (revolutionary conflict)	
					1	Вооружённая		
								1975-2010
						Вооружённая	Сепаратистский конфликт (Separatist conflict)	
					1			

ФАКТОР	Источник и название независимой переменной	SP	IP	IN	SN	Тип революции: вооружённая, невооружённая, разделение не проводилось (смешанная)	Зависимая переменная	Выборка/период	
ВВП на душу населения/ GDP per capita /wealth	Dahl, Gates, Gleditsch, González, 2021 (Логарифм ВВП/ Ln GDP)	1			6	Невооружённая	Невооружённая кампания (Nonviolent Campaigns)	Набор данных о ненасильственных и насильственных кампаниях и результатах NAVCO/стратегии проекта данных о сопротивлении SRDP (Nonviolent and Violent Campaigns and Outcomes Dataset NAVCO/ strategies of Resistance Data Project SRDP)	
						1	Вооружённая		Гражданские войны по данным (UCDP - Uppsala Conflict Data Project)
						1	Вооружённая		Этническая гражданская война (Ethnic CW)
						1	Вооружённая		Неэтническая гражданская война (Non-Ethnic CW)
		1				Вооружённая	Вероятность выбора тактики для гражданской войны (CW Pr(tactic), violence)	Проект данных о конфликте в Упсале (UCDP 1945-2015)	
						Невооружённая	Вероятность выбора тактики для невооружённых выступлений (Pr(tactic), non-violence)		
							Глобальная база данных о терроризме, 1970-2016 гг. (Global Terrorism Database 1970-2016) для вооружённых выступлений, База данных социальных, политических и экономических событий (SPEED, 1945-2015) для невооружённых выступлений		

ФАКТОР	Источник и название независимой переменной	Тип революции: вооружённая, невооружённая, разделение не проводилось (смешанная)				Зависимая переменная	Выборка/период
		SP	IP	IN	SN		
ВВП на душу населения/ GDP per capita /wealth	Fox, 2004 (ВВП на душу населения / Per-capita GNP)	1	1			Вооружённая Восстание (Rebellion)	1996-2000
	Gleditsch, Rivara, 2017 (натуральный логарифм валового внутреннего продукта на основе данных Гледича /natural log of gross domestic product based on data from Gleditsch)		10	2		Невооружённая кампания (Nonviolent campaign onset)	Ненасиленные и насильственные кампании и результаты. Данные NAVCO, разработанные Ченоветом и Стефаном, 2011 г. (Nonviolent and Violent Campaigns and Outcomes NAVCO data developed by Chenoweth and Stephan 2011)
	Keller, 2012 (натуральный логарифм ВВП на душу населения на основе данных Гледича / log GDP per capita, Gleditsch)	2	4	11		Смешанная Революционное событие (revolutionary events both violent and non-violent)	1946-2007
	Wimmer, Andreas et al., 2009 (ВВП из Мировой Таблицы Пенна, Всемирный банк/ from Penn World Table, World Bank's)				5	Вооружённая Начало конфликта (Onset of Conflicts)	155 государств с 1946 по 2005 г. (155 states from 1946 to 2005)
				5	7	Вооружённая Этнический конфликт (Ethnic Conflict)	

ФАКТОР	Источник и название независимой переменной	Тип революции: вооружённая, невооружённая, разделение не проводилось (смешанная)					Зависимая переменная	Выборка/период
		SP	IP	IN	SN	3 5		
ВВП на душу населения/ GDP per capita /wealth	Shaheen, 2015 (логарифм ВВП из Мировой Таблицы Пенна, версия 7.1 / log. Source: Penn World Table Version 7.1)	1	2	2	2	Вооружённая	Композитный индекс социальных восстаний: Демонстрация, Забастовка, Бунт, Партизанская война, Революция, Интенсивность, Величина -насиленные и ненасильственные/SUCI - Social Uprisings Composite Index Demonstration, Strike, Riot, Guerrilla Warfare, Revolution, Intensity, Magnitude - violent and non-violent)	1946 - 2011.
	Beissinger, 2022 (лаг ВВП на душу населения. (тыс.\$) / GDP per cap. (\$ thousands), lag)	2	3	Вооружённая			Социальная/сельская революция (Social/Rural)	База данных Бейссинджера 1946-2014
	9 тестов: значимая перевёрнутая U-образная криволинейная зависимость, усиливающаяся со временем	Невооружённая			Городская гражданская революция (Urban civic)			
		1	3	10	Смешанная		Все революционные эпизоды (All episodes/ Urban)	

ФАКТОР	Источник и название независимой переменной	SP	IP	IN	SN	Тип революции: вооружённая, невооружённая, разделение не проводилось (смешанная)	Зависимая переменная	Выборка/период
ВВП на душу населения/ GDP per capita /wealth	Коротаяев, Issaev et al. 2015	значимая перевернутая U-образная криволинейная зависимость				Невооружённая	Невооружённые революционные выступления по модели «центрального коллапса»	БД невооружённых революционных выступлений по модели «центрального коллапса», 2013-14 гг.
		значимая перевернутая U-образная криволинейная зависимость				Невооружённая	Невооружённые революционные выступления по модели «центрального коллапса»	БД невооружённых революционных выступлений по модели «центрального коллапса», 2013-14 гг.
	Медведев, Коротаяев 2021 (ВВП на душу населения по ППС, в постоянных международных долларах 2017 г.)	Значимый фактор				Невооружённая	Невооружённые революционные выступления по модели «центрального коллапса»	Глобальная (БД РНФ), 1920-2020
		Значимый фактор				Невооружённая	Невооружённые революционные выступления	
Слав, Коротаяев 2021 (ВВП на душу населения по ППС, в постоянных международных долларах 2017 г.)		Значимый фактор				Невооружённая	Невооружённые революционные выступления	Африканская макроразона нестабильности (БД РНФ), 1920-2020
		значимая перевернутая U-образная криволинейная зависимость				Невооружённая	Невооружённые революционные выступления	Глобальная (БД РНФ), 1920-2020
		значимая перевернутая U-образная криволинейная зависимость				Невооружённая	Невооружённые революционные выступления	Африканская макроразона нестабильности (БД РНФ), 1920-2020

ФАКТОР	Источник и название независимой переменной	SP	IP	IN	SN	Тип революции: вооружённая, невооружённая, разделение не проводилось (смешанная)	Зависимая переменная	Выборка/период
ВВП на душу населения/ GDP per capita /wealth	Медведев и др. 2022 (ВВП на душу населения по ППС, в постоянных международных долларах 2017 г.)	значимая перевернутая U-образная криволинейная зависимость с выраженным положительным склоном					Невооружённая	Глобальный уровень (по совмещенной базе данных Бейсинджер-РНФ)
		Значимый фактор					Невооружённые революционные выступления	Глобальный уровень (NAVCO 1.3)
		Значимый фактор					Невооружённая	Афразийская макрореона нестабильности (по совмещенной базе данных Бейсинджер-РНФ)
		Значимый фактор					Невооружённые революционные выступления	Афразийская макрореона нестабильности (NAVCO 1.3)
	Устожанин, Коротаев 2022 (ln ВВП на душу населения по ППС, в постоянных международных долларах 2017 г.)	Отрицательно значимый фактор					Вооружённые революционные выступления	Глобальный уровень (по совмещенной базе данных Бейсинджер-РНФ)
		1 1					Вооружённые революционные выступления	Афразийская макрореона нестабильности (по совмещенной базе данных Бейсинджер-РНФ)

ФАКТОР	Источник и название независимой переменной	Тип революции: вооружённая, невооружённая, разделение не проводилось (смешанная)				Зависимая переменная	Выборка/период
		SP	IP	IN	SN		
ВВП на душу населения/ GDP per capita /wealth	Устожанин, Михеева и др. 2023 (натуральный логарифм ВВП на душу населения в ценах 2017 г. по ИПС)	2	2	1	Вооружённая	Вооружённые революционные выступления	Глобальная (NAVCO), 1900-2019
					4 теста: значимая перевернутая U-образная криволинейная зависимость (риски невооружённой революционной дестабилизации усиливаются по мере роста подушевого ВВП в слабо и средне-развитых странах, но начинают уменьшаться по мере дальнейшего роста ВВП в высокоразвитых странах)	Невооружённая	
	Knutsen, 2014 (натуральный логарифм ВВП на душу населения, лаг в 15 лет)	2	2	2	Смешанная	Хотя бы одна революционная попытка или хотя бы одна успешная революция	1919-2003

ФАКТОР	Источник и название независимой переменной	SP	IP	IN	SN	Тип революции: вооружённая, невооружённая, разделение не проводилось (смешанная)	Зависимая переменная	Выборка/период
	Klutsen, 2014 (натуральный логарифм ВВП на душу населения)	1	3	2	Смешанная	Хотя бы одна революционная попытка или хотя бы одна успешная революция		1919-2003
	Gleditsch, Rivera, 2017 (по данным Гледича /based on data from Gleditsch)		12	Невооружённая		Начало ненасильственной кампании (Nonviolent campaign onset)	Ненасильственные и насильственные кампании и результаты. Данные NAVCO, разработанные Ченовет и Стефан, 2011 г. (Nonviolent and Violent Campaigns and Outcomes NAVCO data developed by Chenoweth and Stephan 2011)	
	Keller, 2012 (Рост ВВП /GDP growth, Heston et al, 2009)	10	1	Смешанная	революционные события (revolutionary events)			1946-2007
Темпы экономического роста/ Economic growth	Shaheen, 2015 (GDP growth, Heston et al, 2009)	4	3	Невооружённая	Композитный индекс социальных восстаний (SUCI)			1946 - 2011
	Chenoweth, Ulfelder, 2017 (изменение в процентах реального ВВП на душу населения Всемирный банк /percentage change in real GDP per capita World Bank)							
		Незначимый фактор	Невооружённая	Революционный эпизод			Основные эпизоды раздора (MEC - Major Episodes of Contention)	

ФАКТОР	Источник и название независимой переменной	SP	IP	IN	SN	Тип революции: вооружённая, невооружённая, разделение не проводилось (смешанная)	Зависимая переменная	Выборка/период
	Beissinger, 2022 (лаг роста ВВП / GDP growth, lag)	3	4			Вооружённая	Социальные/ Сельские революции и революционные раздоры и попытки военного переворота (Social/Rural and revolutionary contention and military coup attempts)	1946-2014 гг. Холодная война и периоды после холодной войны первая половина двадцатого века и период после холодной войны (1946-2014 Cold War and post-Cold War periods first half of twentieth century vs post-Cold War period)
							Городская гражданская революция (urban civic)	
							Невооружённая кампания (Nonviolent Campaign)	NAVCO, 1960 to 2006.
							Вооружённая кампания (Violent Campaign)	NAVCO, 1960 to 2006.
Темпы экономического роста/ Economic growth	Butcher, Svensson, 2016 Рост ВВП с лагом / GDP Growth (lag)	1				Невооружённая	Ненасильственный протест, набор данных о социальных конфликтах в Африке (Nonviolent Protest, Social conflict in Africa dataset, SCAD)	Африка 1990-2009.
		1				Вооружённая	Начало гражданской войны UCDF (UCDF Civil War Onset)	Africa (SCAD), 1990 to 2009.

ФАКТОР	Источник и название независимой переменной	SP	IP	IN	SN	Тип революции: вооружённая, невооружённая, разделение не проводилось (смешанная)	Зависимая переменная	Выборка/период
Темпы экономического роста/ Economic growth	Медведев, Коротаев 2021 (годовой прирост полушевого ВВП в процентах)						Невооружённые революционные выступления	Глобальная (БД РНФ), 1920–2020
							Вооружённые революционные выступления	Афразийская макрореона нестабильности (БД РНФ), 1920–2020
							Невооружённые революционные выступления	Афразийская макрореона нестабильности (БД РНФ), 1920–2020
							Вооружённые революционные выступления	Глобальная (БД РНФ), 1920–2020
Темпы экономического роста/ Economic growth	Слав, Коротаев, 2021 (с лагом)			1			Вооружённые революционные выступления	Афразийская макрореона нестабильности (БД РНФ), 1920–2020
							Невооружённые революционные выступления	Глобальная (БД РНФ), 1920–2020
							Вооружённые революционные выступления	Афразийская макрореона нестабильности (БД РНФ), 1920–2020
							Невооружённые революционные выступления	Афразийская макрореона нестабильности (БД РНФ), 1920–2020
	Медведев и др. 2022						Невооружённые революционные выступления	Глобальный уровень (по совмещенной базе данных Бейсдинджер-РНФ)
							Вооружённые революционные выступления	Глобальный уровень (по совмещенной базе данных Бейсдинджер-РНФ)

ФАКТОР	Источник и название независимой переменной	SP	IP	IN	SN	Тип революции: вооружённая, невооружённая, разделение не проводилось (смешанная)	Зависимая переменная	Выборка/период
Темпы экономического роста * уровень демократии	Устойчивание, Жоджишская и др. 2022 (годовой прирост подушевого ВВП в процентах), с лагом	2	Значимая связь между зависимой и независимой переменной	Значимая связь между зависимой и независимой переменной	1	Вооружённая	Невооружённая	Глобальный уровень (NAVCO 1.3)
							Невооружённые революционные выступления-«кампании»	
							Невооружённые революционные выступления	Африканская макрорегиональная нестабильность (по совмещённой базе данных Бейсинджер-РНФ)
							Невооружённые революционные выступления-«кампании»	Африканская макрорегиональная нестабильность (NAVCO 1.3)
							Вооружённые революционные выступления	Африканская макрорегиональная нестабильность (база данных UCDF)
							Вооружённые революционные выступления-«кампании»	
							Невооружённые революционные выступления-«кампании»	Глобальная (NAVCO), 1950-2019

ФАКТОР	Источник и название независимой переменной	SP	IP	IN	SN	Тип революции: вооружённая, невооружённая, разделение не проводилось (смешанная)	Зависимая переменная	Выборка/период
Темпы роста инвестиций в основной капитал (gross fixed capital formation annual growth)	Knutson, 2014 (рост ВВП на душу населения)			1	13	Смешанная	Хотя бы одна революционная попытка или хотя бы одна успешная революция	1919-2003
	Knutson, 2014 (рост ВВП на душу населения * уровень демократии по Polity)		1		1	Смешанная	Хотя бы одна революционная попытка или хотя бы одна успешная революция	1919-2003
	Слав, Коротаев, 2021 (с лагом)				2	Вооружённая	Вооруженные революционные выступления	Глобальная (БД РНФ), 1920-2020
Нефтяные доходы и доходы от полезных ископаемых/Oil and mineral rents	Cincotta and Weber, 2021 (Нефть + рента от минеральных ресурсов > 15% от ВВП /Oil + mineral rents >15% of GDP)	1				Вооружённая	Революционный конфликт (revolutionary conflict)	1975-2010
		1				Вооружённая	Сепаратистский конфликт (Separatist conflict)	
	Keller, 2012 (доля экспорта нефти в ВВП страны / percentage that oil exports make up of a country's GDP, based on Bueno de Mesquita and Smith, 2010)	1	4			Смешанная	Революционное событие (revolutionary events)	
		1				Смешанная	Революционное событие (revolutionary events)	

ФАКТОР	Источник и название независимой переменной	SP	IP	IN	SN	Тип революции: вооружённая, невооружённая, разделение не проводилось (смешанная)	Зависимая переменная	Выборка/период
Нефтяные доходы и доходы от полезных ископаемых/ Oil and mineral rents	Wimmer, Andreas et al., 2009 (Добыча нефти на душу населения /Oil production per capita, based on data from Wimmer and Min)	2	2			Вооружённая	Начало конфликта (Onset of Conflicts)	155 государств с 1946 по 2005 г.
		3	5	1		Вооружённая	Этнический конфликт (Ethnic Conflict)	155 государств с 1946 по 2005 г.
	Shaheen, 2015	2	2			Вооружённая	Композитный индекс социальных восстаний (SUCI)	
		1	1			Невооружённая		1946-2011
	Beissinger, 2022	2	2			Вооружённая	Социальная/сельская революция (Social/Rural)	
	(логарифм производства нефти с лагом /Ln (oil production), lag)			7		Невооружённая	Городская гражданская революция (urban civic)	
		1	2	10		Смешанная	Все эпизоды/ городская революция (All episodes/ Urban)	1946-2014
	Beissinger, 2022					Вооружённая	Количество смертей во время революции (deaths in revolutions)	
	Дамми-переменная для крупного производителя алмазов / Dummy for major diamond producer	1						
	Knutson, 2014	1		1		Смешанная	Хотя бы одна революционная попытка или хотя бы одна успешная революция	1919-2003
	(натуральный логарифм нефтяных доходов на душу населения)							

ФАКТОР	Источник и название независимой переменной	SP	IP	IN	SN	Тип революции: вооружённая, невооружённая, разделение не проводилось (смешанная)	Зависимая переменная	Выборка/период
Доля сырьевых и с/х товаров в экспорте/ Share of Primary commodities in Export (+ agricultural)	Besançon, 2005 (Экспорт сырьевых товаров/общий экспорт / Primary commodities exports/total exports from Collier & Hoeffler, 2004)	1	1	1		Вооружённая	Этнической война (Ethnic Wars)	временные ряды с 1960 по 1992, 1995 или 1999 годы (time series from 1960 to 1992, 1995, or 1999)
		1	1	1			Революция (Revolutions)	
		1	1	1			Геноцид (Genocide)	
Либерализация торговли/ Trade liberalization	Chenoweth, Ulfelder, 2017 Членство в ГСТТ или ВТО/ GATT/WTO member	Не значимая связь				Невооружённая	Ненасильственное гражданское восстание (Civil Resistance, non-violent)	Основные эпизоды раздора (MEC - Major Episodes of Contention)
Уровень развития с/х Agriculture	Albrecht Koehler 2020 (Сельское хозяйство в процентах от валового внутреннего продукта / Agriculture as percentage of gross domestic product)	1	3	2		Смешанная	Революционная ситуация (revolutionary situation - socially inclusive mass uprisings that constitute threats to the elites)	недемократических режимов в период с 1945 по 2015 год (non-democratic regimes between 1945 and 2015)
							Революционная ситуация (revolutionary situation - socially inclusive mass uprisings that constitute threats to the elites)	недемократических режимов в период с 1945 по 2015 год (non-democratic regimes between 1945 and 2015)
Обрабатывающая промышленность/ manufacturing/ Industry	Albrecht Koehler 2020 (Промышленность в процентах от ВВП / Industry as percentage of GDP)	6	1			Смешанная	Революционная ситуация (revolutionary situation - socially inclusive mass uprisings that constitute threats to the elites)	недемократических режимов в период с 1945 по 2015 год (non-democratic regimes between 1945 and 2015)
		Не значимая связь					Ненасильственное гражданское восстание (Civil Resistance, non-violent)	Основные эпизоды раздора (MEC - Major Episodes of Contention)

ФАКТОР	Источник и название независимой переменной	SP	IP	IN	SN	Тип революции: вооружённая, невооружённая, разделение не проводилось (смешанная)	Зависимая переменная	Выборка/период
	Butcher, Svensson, 2016 (доля производства в ВВП с лагом / lag, proportion of manufacturing to GDP)	4				Невооружённая	Ненасильственная кампания (Nonviolent Campaign)	NAVCO, 1960-2006
				3		Вооружённая	Насильственная кампания (Violent Campaign)	NAVCO, 1960-2006.
		4				Невооружённая	Ненасильственный протест (Nonviolent Protest SCAD)	Африка, 1990 - 2009 (SCAD)
				3		Вооружённая	UCDP Civil War Onset	
Импорт/ Imports	Медведев, Коротаев, 2021 (доля обрабатывающей промышленности в ВВП)		Значимая связь			Вооружённая	революционные выступления	Африканская макрореона нестабильности (БД РФ), 1920-2020
	Dahl, Gates, Gleditsch, González, 2021 (импорт в процентах от ВВП / Imports as a percentage of GDP)	1				Вооружённая	Вероятность выбора тактики для гражданской войны (CW Pr(tactic), violence)	Глобальная база данных о терроризме, 1970-2016 гг. (Global Terrorism Database 1970-2016) для вооружённых выступлений,
				1		Невооружённая	Вероятность выбора тактики для невооружённых выступлений (Pr(tactic), non-violence)	База данных социальных, политических и экономических событий (SPEED, 1945-2015) для невооружённых выступлений
		1	3	4		Вооружённая		
		1	6			Невооружённая	Композитный индекс социальных восстаний (SUCI)	1946 - 2011
Безработица/ Unemployment	Shaheen, 2015 (Доля рабочей силы, которая не имеет работы, но доступна и ищет работу. Источник: Всемирный банк / The share of the labor force that is without work but available for and seeking employment. Source: World Bank)					Вооружённая		

ФАКТОР	Источник и название независимой переменной	SP	IP	IN	SN	Тип революции: вооружённая, невооружённая, разделение не проводилось (смешанная)	Зависимая переменная	Выборка/период
Бедность/poverty	Chenoweth, Ulfelder, 2017		Значимая связь			Невооружённая	Революционный эпизод	Основные эпизоды раздора (MEC - Major Episodes of Contention)
Инфляция/ Inflation	Chenoweth, Ulfelder, 2017 (Индекс потребительских цен Всемирный банк / Consumer price index World Bank)		Значимая связь			Невооружённая	Революционный эпизод	Основные эпизоды раздора (MEC - Major Episodes of Contention)
Продовольственная инфляция	Медведев, Коротаев, 2021 (Индекс цен на продукты питания)		Значимая связь			Невооружённая	Революция	Афразийская макророна нестабильности (БД РНФ), 1920–2020
	Медведев и др., 2022 (индекс цен на продовольствие FAO / FAO Food Price Index)		Значимая связь			Невооружённая	Революционное выступление	Глобальный уровень (по совмещенной базе данных Бейссинджер-РНФ), XXI век
	Устюжанин, Коротаев, 2022 (индекс цен на продовольствие FAO / FAO Food Price Index)	2	Значимая связь			Невооружённая	Революционное выступление	Афразийская макророна нестабильности (по совмещенной базе данных Бейссинджер-РНФ)
						Невооружённая	Революционное выступление	Афразийская макророна нестабильности (по совмещенной базе данных Бейссинджер-РНФ)

ВЛАДИМИР С. МАЛАХОВ¹

РАНХиГС, Москва, Россия

ORCID: 0000-0003-0154-5785

НИНА А. БАГДАСАРОВА²

Американский университет в Центральной Азии, Бишкек, Кыргызстан

ГУЛЬНАРА К. ИБРАЕВА³

PIL Research Company, Бишкек, Кыргызстан

САОДАТ К. ОЛИМОВА⁴

НИИЦ «Шарк», Душанбе, Таджикистан

Трансформации политического воображаемого в постсоветской Центральной Азии: случаи Кыргызстана и Таджикистана⁵

160

doi: 10.22394/2074-0492-2023-1-160-189

-
- 1 Малахов Владимир Сергеевич — доктор политических наук, профессор, Институт общественных наук РАНХиГС. Москва, Россия. Научные интересы: этничность и национализм, культурное разнообразие, миграционные исследования, исследования гражданства. E-mail: malakhov-vs@ranepa.ru
 - 2 Багдасарова Нина Ароновна — кандидат психологических наук, профессор кафедры психологии Американского университета в Центральной Азии (Бишкек, Кыргызстан). Научные интересы: политика многообразия, проблемы равенства, психология образования. E-mail: bagdasarova_n@auca.kg; nina.bagdasarova@gmail.com
 - 3 Ибраева Гульнара Кубанычбековна — кандидат социологических наук, основатель Исследовательской компании PIL Research Company, Кыргызстан. Научные интересы: социокультурное разнообразие, миграционные исследования, гендерные и исследования гражданства. E-mail: ibraeva@gmail.com
 - 4 Олимова Саодат Кузиевна — кандидат философских наук, директор Научно-исследовательского центра «Шарк» (ORIENS), Душанбе, Республика Таджикистан. Научные интересы: миграционные исследования, ислам, конфликты, социальные институты и организация обществ Центральной Азии. E-mail: s_olimova@mail.ru
 - 5 Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

Acknowledgments: The article was written on the basis of the RANEPa state assignment research programme.

Резюме:

В статье анализируется структура и динамика политического воображаемого двух стран постсоветской Центральной Азии — Кыргызстана и Таджикистана. Как показывают авторы, России в этой структуре принадлежит особое место. Долгое время она не воспринималась многими рядовыми гражданами данных государств как иностранное государство наряду с другими. Такое восприятие было обусловлено рядом факторов, важнейший из которых — советская институциональная и психологическая инерция. На институциональном уровне советская инерция выражалась прежде всего в прозрачности границ между Россией и центральноазиатскими странами. На психологическом уровне она находила проявление в ностальгии по советскому прошлому. Накладываясь на понимание значимости миграции в Россию для материального благополучия домашних хозяйств, эта ностальгия порождала высокий уровень лояльности Москве. В последнее время, однако, Российская Федерация в глазах рядовых жителей Кыргызстана и Таджикистана постепенно становится иностранным государством в ряду других. В представлениях людей Россия по-прежнему имеет специфический статус, но эта специфика все более явно включена в глобальный контекст, в котором наряду с Москвой значение имеют Пекин и Вашингтон (а также Стамбул и Тегеран). Процесс превращения России в обычное «зарубежье» шел и раньше, однако резко ускорился после 24 февраля 2022 года. Авторы прослеживают признаки дистанцирования от России как на уровне правящих элит, так и на уровне гражданского общества. Это, в частности, усилия правительств по демонстрации многовекторности во внешней политике, изменения в публичной риторике первых лиц, а также проявления антироссийских настроений в публичной сфере Кыргызстана.

161

Ключевые слова: политическое воображаемое, национальная идентичность, суверенитет, Центральная Азия, Кыргызстан, Таджикистан, Россия

Vladimir Malakhov¹

RANEPa, Moscow, Russia

Nina Bagdasarova²

American University of Central Asia, Bishkek, Kyrgyzstan

- 1 Malakhov Vladimir Sergeevich — Dr. of Sciences (Political Science), professor, School for Advanced Studies in the Humanities, Institute for Social Sciences RANEPa. Moscow, Russia. Research interests: ethnicity and nationalism, cultural diversity, migration studies, citizenship studies. e-mail vmalachov@yandex.ru
- 2 Bagdasarova Nina Aronovna — PhD in Psychology, Professor of the Department of Psychology at the American University of Central Asia (Bishkek, Kyrgyzstan). Research interests: Diversity politics, equality issues, educational psychology. E-mail: bagdasarova_n@auca.kg; nina.bagdasarova@gmail.com

Gulnara Ibraeva¹

PIL Research Company, Kyrgyzstan

Saodat Olimiva²

Research Center "Shark" (Oriens), Dushanbe, Tajikistan

Transformations of the Political Imaginary in Post-Soviet Central Asia: The Cases of Kyrgyzstan and Tajikistan

Abstract:

The paper examines the structure and dynamics of the political imaginary of the two countries of post-Soviet Central Asia - Kyrgyzstan and Tajikistan. As the authors show, Russia has a special place in this structure. For a long time, many ordinary citizens of these states did not perceive Russia as a foreign state on an equal footing with others. This perception was due to a number of factors, the most important of which was Soviet institutional and psychological inertia. At the institutional level, Soviet inertia was expressed primarily in the transparency of the borders between Russia and the Central Asian countries. On a psychological level, it manifested itself in nostalgia for the Soviet past. It was the overlapping of soviet nostalgia with the understanding of the importance of migration to Russia for the material well-being of households that gave rise to a high level of loyalty to Moscow. Recently, however, the Russian Federation has started to gradually become a foreign state among others in the eyes of ordinary residents of Kyrgyzstan and Tajikistan. In the minds of people, Russia still has a specific status, but this specificity is increasingly seen in a global context; in this context, other actors along with Moscow matter (Beijing and Washington, as well as Istanbul and Tehran). The process of turning Russia into an ordinary "abroad" was going on before, but it accelerated sharply after February 24, 2022. The authors identify signs of distancing from Russia both at the level of the ruling elites and at the level of civil society. Among these signs are, in particular, the desire of governments to demonstrate a multi-vector foreign policy, a change in the public rhetoric of top officials, as well as manifestations of anti-Russian sentiment in the public sphere of Kyrgyzstan.

Keywords: political imaginary, national identity, sovereignty, Central Asia, Kyrgyzstan, Tajikistan, Russia

- 1 Ibrayeva Gulnara Kubanychbekovna — PhD in Sociology, Founder of PIL Research Company, Kyrgyzstan. Research Interests: Sociocultural Diversity, Migration Studies, Gender and Citizenship Studies. E-mail: ibraeva@gmail.com
- 2 Olimova Saodat Kuzievna — Candidate of Philosophy, Director of the Research Center "SHARK" (ORIENS), Dushanbe, Republic of Tajikistan. Research interests: migration studies, Islam, conflicts, social institutions and organization of societies in Central Asia E-mail: s_olimova@mail.ru

Полтора десятилетия назад английский комик и кинопродюсер Саша Барон Коэн выпустил скандальный фильм «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана». В ответ на возмущенные заявления казахстанцев (включая официальных лиц) автор ленты заявил, что показанная в ней страна не имеет никакого отношения к реальному Казахстану — выбран же последний был только потому, что о нем в Америке никто ничего не знает. В самом деле, центральноазиатские государства, возникшие после распада СССР, сливались в представлении западной публики в неразличимое пятно, а то и вовсе ассоциировались с Россией¹. И хотя ситуация в академическом пространстве, разумеется, никогда не была столь безнадежной, как в пространстве публичном, исследователи, специализирующиеся на данном регионе, традиционно сетовали на дефицит уделяемого ему внимания [Cole, Kandiyoti 2002; Liu 2011; Горшенина 2007]². Исключение составляли разве что security studies [Allison 2004; Peimani 2009; Patnaik 2016; de Haas 2016³]. Интерес к данному региону постепенно возрастает, однако до сих пор в литературе доминирует оптика, в которой страны, в него входящие, лишены агентности. Они выступают скорее как объекты геополитического соперничества, чем как самостоятельные субъекты. Историки и антропологи не раз отмечали это обстоятельство: Центральная Азия в глазах внешнего наблюдателя (смотрит ли он на нее из Лондона, Парижа, Вашингтона или Москвы) — вечная «мировая периферия», нечто принципиально зависимое, пешка в «большой шахматной игре» и т. д. [Абашин 2007; Ремнев 2011; Моррисон 2017; Горшенина 2019]. Отсюда проистекает задача смены перспективы: необходимо перейти от взгляда извне к взгляду «изнутри». Что думают о себе и об окружающем мире сами люди, живущие в этой части суши? Как они представляют себе отношения их стран с соседями, с региональными и мировыми сверхдержавами, и чего ожидают от этих отношений в обозримом будущем?

Ниже мы намерены обозначить возможную стратегию работы с этими вопросами, обратившись к политическому воображаемому⁴ двух центральноазиатских стран — Кыргызстана и Таджики-

1 Показательно, что демонстрация фильмов режиссеров из Центральной Азии в Нью-Йорке еще в 2010-е годы проходила в формате *Russian cinema*.

2 Как отмечает С. Абашин, на каждые 100 публикаций о постсоветском пространстве лишь 5–7 приходится на Центральную Азию [Abashin 2015].

3 Примечательно название периодического издания, в котором вышла эта статья: «Журнал славянских военных исследований» (курсив мой. — В. М.).

4 Экспликацию данной категории см.: [Аренас, Дзеновска 2010; Быстрова, Дудник 2019]

стана. Обычно подобные сюжеты обсуждаются в концептуальной рамке политической идентичности [Нойманн 2004; Малинова 2010, 2016; Тимофеев 2010; Семененко 2011]. Политическая идентичность отсылает к способам, которыми правящие элиты позиционируют свое государство на международной сцене, тогда как политическое воображаемое — к образам и представлениям, в которых видят свою страну ее граждане в целом. Перефокусировка с «идентичности» на «воображаемое» позволит, как мы надеемся, преодолеть стихийный государствоцентризм исследовательского взгляда, сместив внимание на уровень *обществ*.

Выбор Кыргызстана и Таджикистана обусловлен особым местом, которое занимает в структуре их политического воображаемого Россия. Если остальные три государства постсоветской Центральной Азии за тридцать лет добились относительной автономии от Москвы, то статус Кыргызстана и Таджикистана до недавнего времени описывался в категориях «суверенной зависимости» или «зависимой независимости» [Atkin 2011; Heathershaw 2011; Laruelle 2018]. Иными словами, эти страны не окончательно «суверенизировались», оставаясь привязанными к бывшему имперскому центру невидимой пуповиной, причем эта привязка — как мы надеемся показать ниже — обусловлена не только экономическими и политическими, но и социально-психологическими факторами.

Станет ли 24.02.22 в этом смысле цезурой? Прослеживаются ли существенные изменения в отношении двух рассматриваемых стран к России после начала военного противостояния в Украине?

В российской орбите: правящие элиты

Специфика выбранных нами двух государств¹ заключается, среди прочего, в том, что их руководство до сих пор не предпринимало активных шагов по символическому дистанцированию от России. Это было заметно и в топонимике кыргызской и таджикской столиц, и в проводимой Бишкеком и Душанбе исторической политике, и в составе государственных праздников, и в устройстве публичной риторики чиновников.

Весьма красноречивы названия районов в Бишкеке (Ленинский, Октябрьский, Свердловский и Первомайский), а также горная вершина в Кыргызстане, в 2011 году названная пиком им. В. Путина. В Душанбе центральные улицы были переименованы (проспект Ленина стал проспектом Рудаки), однако целый ряд прежних назва-

1 Различия между двумя этими странами мы выносим за скобки.

ний сохранились (улица Титова, улица Фучика, совхоз Дзержинского и т. д.).

В обоих государствах нерабочими днями, наряду с праздниками по исламскому календарю, являются 8 марта, 1 мая, 9 мая и даже 23 февраля. В Кыргызстане даже официальные названия этих праздников либо не претерпели изменений с советских времен (Международный женский день), либо переименованы на российский лад (23 февраля — День защитника Отечества, 1 мая — Праздник труда). Кыргызстанцы отмечают и 7 ноября (7–8 ноября — нерабочие дни, именуемые «Днями истории и памяти предков»). В Таджикистане ситуация чуть иная: 23 февраля называется Днем вооруженных сил Республики Таджикистан, а 8 марта — Днем матери.

Показательно и то, что ни в той, ни в другой стране на протяжении всех постсоветских десятилетий не наблюдалось педалирования темы колониализма и деколонизации, столь характерных для официального дискурса в Узбекистане [Abashin 2011] и все более активно присутствующих в публичной сфере Казахстана [Kudaibergenova 2016; Laguelle 2021]. В этой связи показательно содержание учебников истории. В Таджикистане освещение национальной истории основывается на монографии Бободжона Гафурова «Таджики», написанной еще по советскому канону¹. (Эта книга была издана огромными тиражами и подарена президентом Таджикистана Э. Рахмоном каждой таджикской семье.) В кыргызских учебниках истории — опять-таки, в отличие от узбекских — тема колониализма смягчена. Колониальным называется только время нахождения кыргызов в составе царской России. Что касается СССР, то этот период в основном оценивается сквозь призму модернизации (создание национальной государственности, ликвидация неграмотности, появление национальной интеллигенции, институты социальной защиты т. д.)². Официальные лица обоих государств избегают риторики постколониализма, периодически всплывающей у их визави из соседних стран³.

- 1 Академик Б. Гофуров (1908–1977) был ученым-востоковедом и крупным партийным деятелем, одно время даже возглавлял ЦК Компартии Таджикской ССР.
- 2 Хотя авторы учебников и оценивают ряд событий и явлений первых десятилетий XX века (восстание 1916 года, басмаческое движение и т. д.) совсем иначе, чем это делала официальная советская историография.
- 3 Напомним, к примеру, заявления бывшего министра информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова о необходимости «деколонизации сознания».

Тяготение к России: общества

Не так давно одна молодая таджикская исследовательница выступила со статьей с саркастическим названием: «Как я могу быть постсоветской, если я никогда не была советской?» [Ibabez-Tigado 2015]. Между тем случай Таджикистана (как и Кыргызстана) как раз из тех, в которых проблематика присутствия советского институционального и ментального наследия в постсоветскую эпоху особенно актуальна. Сама автор, будучи рожденной после 1991 года, конечно, не была советской. Но советскими были ее родители. Советскими были их соседи — в том прежде всего смысле, что их социализация проходила в рамках советских институтов, а эти институты не могли быть (и не были) демонтированы в одночасье. Более того, драматичное социально-экономическое положение, в котором оказались эти страны в результате упадка промышленного производства, деиндустриализации, безработицы, исчезновения системы социальной защиты и т. д., не способствовало тому, чтобы их руководство могло бросить все силы на строительство новых, несоветских институтов. (В таджикском случае дело усугублялось гражданской войной, длившейся до 1997 года.) Очевидно, в первую очередь по этой причине рядовые таджикские и киргизские граждане обратились к такому средству выживания, как миграция. Страной назначения последней была, разумеется, Россия. А поскольку в первое десятилетие после распада СССР граница с Россией оставалась весьма условной¹, неудивительно, что жители новообразованных независимых государств продолжали жить в воображаемой единой стране. Добавим сюда такое обстоятельство, как стереотипы сознания и поведенческие навыки, сформированные в советский период; добавим сюда также опыт тех мигрировавших в Россию кыргызстанцев и таджикстанцев, кто отучился в российских учебных заведениях или отслужил в Советской армии², и мы по-

166

1 До 2002 года включительно граждане этих стран могли въезжать в Россию по документам советского образца. Затем еще более 10 лет для пересечения границы было достаточно внутреннего паспорта, и лишь после 2015 года для этого потребовался загранпаспорт. Однако разрешения на въезд в РФ (визы) по-прежнему не требуется. В этом смысле границы между постсоветскими государствами были и остаются прозрачными.

2 Для многих таджикстанцев 1950–1970-х годов рождения стало настоящим шоком подписание в 2003 году межгосударственного соглашения между РФ и РТ, отменившего действие советских документов. Эти люди лишь тогда осознали, что привычное представление, согласно которому «Москва — столица нашей родины», больше не соответствует действительности. Они, разумеется, понимали, что юридически Советского Союза не существует,

лучим уникальную психологическую ситуацию, еще ждущую своих романистов.

В 1990-е годы в регионе начинает складываться советская ностальгия — тоска по (идеализированному) образу СССР, который люди мысленно противопоставляли собственным «несостоявшимся государствам».

На этом умонастроении уместно остановиться отдельно.

Ностальгия по СССР

В 1990-е годы в Таджикистане существовало движение за восстановление СССР, имевшее массовую поддержку. Так, в 1996 году под манифестом, призывавшим восстановить Советский Союз, подписалось более 1,5 миллиона граждан Таджикистана — это практически половина взрослого населения страны на тот момент [Олимова, Олимов 1999: 40].

Советская ностальгия со временем не только не пошла на убыль, но, напротив, усилилась. Чем дальше уходил в прошлое Советский Союз, тем сильнее становилась тоска по вымышленному «золотому веку». Вот что отмечает в этой связи Джозеф Сахадео, на протяжении многих лет изучавший настроения постсоветских мигрантов в России¹:

«Информанты обнаружили ностальгию по советской системе — не столько по социальным гарантиям, с ней связанным, сколько по очевидным свободам и вертикальной мобильности. Когда мигранты возвращались в памяти к соответствующему периоду своей жизни, их ностальгия усиливалась. Ксенофобия, характерная для сегодняшней России, лишь усиливает “закон набирающих ценность воспоминаний” — прошлое предстает в более приятном свете и выглядит проще, чем оно было на самом деле» [Sahadeo 2012: 358].

С момента публикации работы Дж. Сахадео прошло целое десятилетие (а сами его исследования проводились несколькими годами ранее), и можно предположить, что с тех пор настроения центральноазиатских мигрантов и их соотечественников на родине изменились. Между тем это не так — во всяком случае в Таджикистане.

В марте 2022 года таджикистанский журналист Марат Мамаджоев отмечал:

но инерция отношения к Москве как к центру общего социокультурного пространства сохранялась.

1 Свои опросы он проводил, в частности, среди киргизских, азербайджанских, молдавских и таджикских мигрантов.

«Наши люди воспринимают Россию как СССР, хотя у этого проекта нет ничего общего с советским государством. Сейчас наши граждане больше ассоциируют себя не с Таджикистаном, а с Кремлем. <...> Нужна дискуссия и ревизия того, что у нас есть. Мы же фактически не знаем, на каком этапе мы сейчас находимся и куда нам идти дальше. Советский проект давным-давно потерпел крах, но мы все еще держимся за него, воспринимаем Россию как продолжение СССР и не двигаемся дальше»¹.

Любопытно, что даже в случаях, когда простые люди в Таджикистане демонстрируют критичное отношение к России, они зачастую мотивируют это отступлением постсоветской России от советских идеалов.

В России и ее устоях нет ничего хорошего. Раньше можно было сказать, что было к чему стремиться и брать с России пример, а сейчас — нет. Наш народ не уважают, обращаются с большинством не соответствующим образом. Что касается Америки, то я вообще ничего не хочу говорить, но мой племянник хвалит жизнь в Америке, так как проживает там. Но я не знаю, я там не был. О Китае также не могу ничего сказать о том, что стоит ли брать с них пример. Но что касается экономического развития, то Китай, конечно, хорошо развивается. Каждому своя Родина. Везде любят и уважают свой народ, несмотря на то, что страны многонациональны.

А., 35 лет, торговец (Интервью С. Олимовой, август 2022)

Что касается Кыргызстана, то советская ностальгия здесь, возможно, не приобрела аналогичных масштабов, и тем не менее это умонастроение долгое время было свойственно немалому числу рядовых граждан. Приведем наблюдение, сделанное американско-белорусской исследовательницей Еленой Гаповой в середине 2000-х годов. Ее поразил контраст между повесткой конференции, на которую она ехала вместе с центральноазиатскими коллегами («пост-колониальный феминизм»), и настроениями жителей киргизских городков, мимо которых они проезжали: население «грезило восстановлением СССР — на фоне лозунгов во славу обретенной независимости» [Sub altera specie 2008: 92].

Разумеется, далеко не все общество в Кыргызстане и Таджикистане, особенно в молодых когортах, подвержено советской ностальгии. Однако будучи наложено на широкую вовлеченность граждан

1 https://newreporter.org/2022/05/03/marat-mamadshoev-kazhdyy-den-auditoriya-v-tadzhikistane-slushaet-argumenty-bezumnyx-zhurnalystov/?fbclid=IwAR06FrrKmX4JRq3_OWnwE0NVd2jg3MoHx4JAUeiGgB5vTHp-6RzeNF6D4zY

обеих стран в миграционные процессы¹, данное умонастроение способствует особому отношению к России.

Пророссийские установки в общественном мнении

Подавляющее большинство населения обеих стран демонстрирует высокий уровень симпатий к России. Вот как выглядело отношение таджикистанцев к различным странам, согласно опросу общественного мнения, проведенному Центром «Шарк» (Душанбе) в 2016 году.

Табл. 1. Распределение респондентов по их отношению к различным странам (% , N = 2040)

Отношение	Россия	Китай	Иран	США
Очень доброжелательное	76,0	44,5	27,9	12,2
Скорее доброжелательное	21,6	39,2	55,9	33,1
Скорее недоброжелательное	0,9	11,2	7,6	33,1
Очень недоброжелательное	0,5	1,1	1,4	12,2
Не знаю	0,8	4,1	7,2	11,4
Всего	100	100	100	100

169

Как видим, доля пророссийски настроенных респондентов составляет около 98 %, при полутора процентах настроенных анти-российски и крайне незначительном числе воздержавшихся от ответа. В то же время антиамериканские настроения проявили 45 %, а от ответа уклонился каждый десятый.

В Кыргызстане пророссийские установки выражены чуть слабее. Согласно опросу Central Asia Barometer при Центре Вудро Вильсона, проводившемуся с июня 2017 по ноябрь 2019 года, доля граждан этой страны, настроенных к России «очень доброжелательно», составила 39 %, доля настроенных «скорее доброжелательно» — 47 %, при этом

¹ Таджикистан и Кыргызстан занимают третье и четвертое место в мире, соответственно, по доле денежных переводов от мигрантов в структуре ВВП. 90 % трудовой миграции приходится на Россию.

те, кто уклонился от ответа или заявил о своем недоброжелательном отношении к России, в совокупности составила 11%. Тем не менее общее количество положительно настроенных впечатляет: это 86 % от всех респондентов [Laguette, Ross 2020]. Отметим, что в Узбекистане и Казахстане соответствующие показатели на 10–15 процентных пунктов ниже [Ibid.]¹.

Вплоть до самого недавнего времени среди таджикских граждан можно было наблюдать проявления лояльности России, носившие несколько избыточный, эксцессивный характер. Назовем это явление «феноменом эксцессивной лояльности».

Феномен эксцессивной лояльности

Не будет преувеличением сказать, что на протяжении 2010-х годов российский президент в глазах многих жителей Кыргызстана и Таджикистана был едва ли не предметом культа. В ютубе по запросу «Таджики в России» можно, среди прочего, натолкнуться на видеоклип «ВВП» (Владимир Владимирович Путин). Песню написал и разместил в Сети некто Толибжон Курбанханов — по одним данным, «парень с душанбинской автомойки», по другим — предприниматель, занимающийся перегонном автомобилей и живущий попеременно в Таджикистане и России. Материал был вывешен накануне выборов и представлял собой неприкрытый панегирик президенту (на тот момент премьер-министру) России. Клип набрал 1,6 млн просмотров, что вдохновило автора создать еще два аналогичных произведения. За этим последовал короткий момент славы — блогера пригласили на один из федеральных каналов, а другой канал рассказывал о нем как о типичном проявлении любви к главе российского государства, разлитой по всему постсоветскому пространству. Шестью годами позднее, накануне президентских выборов 2018 года, Т. Курбанханов записывает еще одну песню во славу Путина, что не могло пройти мимо внимания прессы². Тексты всех этих песен столь гротескно сервильны, что и у комментаторов

1 Обращает на себя внимание, в сколь большой мере ответы респондентов зависят от того, как они представляют себе ожидания опрашивающих их социологов. В случаях, когда опросы проводились американскими аналитическими центрами, число таджикстанцев, заявивших о своем позитивном отношении к США, резко возросло, тогда как число признавших в своей нелюбви к Америке, напротив, резко сократилось по сравнению с аналогичными показателями опроса, проведенного их соотечественниками из Центра «Шарк».

2 См.: «Таджик спел четвертую песню о Путине, побив собственный рекорд» // Asia-Plus. 20.03.2018 <https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/soci>

в СМИ, и у зрителей в Сети постоянно возникал вопрос об искренности автора. И хотя некоторые из вопрошавших допускали элемент троллинга, подавляющее большинство склонялось к выводу, что таджикский блогер изложил в своих песнях собственные мысли. Гравировка на циферблате его часов, которая крупным планом появляется в одном из клипов («Я люблю Путина»), кажется, отражает его личную позицию.

Т. Курбанханов — далеко не единственный таджикский сочинитель такого рода. На ресурсе Asia-Plus в том же 2018 году вышел материал под красноречивым названием «Сахара с ним — цветущий сад, Не будь его, Россия — ад. Таджикские поэты о Путине»¹. Героем повествования в данном случае выступал автор по имени Азам Рахимов, учитель русского языка и литературы из г. Истаравшан.

Проявления подобного рода эксцессивной лояльности можно наблюдать не только в интернете. Высока вероятность столкнуться с манифестациями такой лояльности в точках сервиса — мастерских по мелкому ремонту (от обуви и изготовления ключей и замене батареек в часах), хозяевами или работниками которых являются мигранты из Центральной Азии (в основном из Таджикистана и Узбекистана). Такие заведения зачастую увешаны самодельными плакатами, представляющими собой фотомонтаж из снимков В. Путина рядом с хозяином данной точки сервиса. Иногда это просто серии фотографий Путина, снабженные надписями вроде «Владимир Владимирович, мы с Вами!»².

Мы, конечно, не знаем, что на самом деле стоит за подобными жестами. Демонстрация лояльности в таких случаях вполне может быть мотивирована вовсе не искренними чувствами, а соображениями выживания. Выходец из Центральной Азии, живущий в не самой благоприятной среде, как умеет, посылает этой среде сигнал «я свой!».

Пророссийские настроения транслируются в электоральное поведение жителей Кыргызстана и Таджикистана, имеющих российское гражданство. Материал на ресурсе Asia-Plus, посвященный президентским выборам в России в 2018 году, носил красноречи-

ety/20180320/tadzhik-spel-chetvertuyu-pesnyu-o-putine-pobiv-sobstvennii-rekord

1 <https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20180316/sahara-s-nim-tsve-tutshii-sad-ne-bud-ego-rossiya-ad-tadzhikskie-poeti-o-putine>

2 Весной 2022 года, после объявления очередного пакета антироссийских санкций, одному из авторов этих строк попала на глаза сопровождающая путинское фото экскламация: «Хотите изолировать Россию? А изолянты хватит?» На вопрос, кто это сочиняет и изготавливает, хозяин мастерской по имени Рашид ответил: «Мы с друзьями».

вый заголовок «Как Центральная Азия Путина выбирала». Речь там шла о кыргызстанцах, отказавшихся от кыргызского паспорта ради российского (и, соответственно, ради российской пенсии и форм политической защиты, которых они лишены на родине), и о таджикстанцах, по несколько часов стоявших в очереди у избирательных участков для того, чтобы «отдать свой гражданский долг». 95 % пришедших к избирательным урнам отдали свои голоса за Путина. У некоторых молодых мужчин на майках красовалось изображение того, за кого они проголосуют¹.

Опять-таки, о репрезентативности картинки, которую можно наблюдать у таких избирательных участков, судить трудно. Во-первых, потому, что получение второго паспорта² всегда мотивировано чисто прагматическими соображениями. Во-вторых, потому, что нам не дано знать, какие соображения стоят за демонстрацией лояльности (особенно в ситуации, когда риски столкновения с произволом властей и/или ксенофобией обывателей достаточно высоки).

Как бы то ни было, за последнее время произошло немало значимых событий, которые не могли не повлиять на установки рядовых граждан Кыргызстана и Таджикистана, а также на позиции их правящих элит.

172

Трансформации политического воображаемого

1. Правящие элиты

Сегодня мы являемся свидетелями процесса отдаления центральноазиатских государств от России, затронувшего в том числе и страны, избранные нами для анализа.

Строго говоря, изменения в отношении к России в Кыргызстане наметились еще весной 2021 года — в период вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе. Пассивная позиция России была истолкована кыргызстанским руководством как фактическая поддержка Таджикистана³. Тогда же в парламенте страны впервые

1 <https://asiaplustj.info/ru/news/centralasia/20180320/kak-tsentralnaya-aziya-putina-vibirala>

2 Межгосударственное соглашение между РФ и РТ разрешает сохранять оба гражданства.

3 Откровенное раздражение в элитах вызвало награждение на этом фоне российским орденом президента Э. Рахмона, состоявшееся в октябре того же года в Москве. См.: https://kaktus.media/doc/468487_vyzyvaet_nedoyoymenie_press_sekretar_mid_kr_prokommentiroval_nagradu_rahmona_ot_pyatina.html. Аналогично отреагировала на это награждение и общественность.

прозвучали предложения о выходе из ОДКБ, а президент Жапаров дал пространное интервью турецкой прессе, в котором указал на ошибочную внешнеполитическую линию прежнего руководства и на необходимость более тесного сотрудничества с Турцией.

После 24 февраля 2022 года признаки дистанцирования от России прослеживаются в обеих анализируемых странах — как в риторике официальных лиц, так и в проводимой ими символической политике¹. В июле Таджикистан переименовал две горных вершины — пик Маяковского и пик Октябрьский присвоены национальные имена². В парламенте Кыргызстана периодически активизируются депутаты, выступающие с инициативой сменить алфавит с кириллицы на латиницу, а также усилить позиции государственного языка в публичном пространстве. В январе 2023 года в первом чтении был принят Закон о государственном языке, который, хотя и не отменяет статуса русского языка как официального, предусматривает меры по продвижению кыргызского языка, чреватые, по мнению экспертов, возможностью популистских злоупотреблений³.

Во время саммита в Астане (октябрь 2022) таджикский президент Рахмон произносит монолог, в котором, среди прочего, призывает президента Путина перестать обращаться с государствами Центральной Азии как с частями бывшего СССР⁴. В ноябре спикер парламента Кыргызстана выступает с предложением изменить названия районов в столице страны (те самые Ленинский, Первомайский и проч., о которых шла речь выше)⁵.

173

См.: <https://vesti.kg/politika/item/104991-omurbek-abdyrakhmanov-putin-navernoe-schitaet-chto-dejstviya-rakhmona-pravilnye-i-on-ego-nadezhnyj-drug.html>

- 1 Дело, впрочем, символической политикой не ограничивается. К примеру, с 2004 года все центральноазиатские государства, за исключением Туркменистана, участвуют в программе «Региональное партнерство», запущенной по инициативе США. В рамках программы ежегодно проводятся командно-штабные учения. В августе 2022-го они в течение десяти дней проходили в Душанбе. В учениях приняли участие военные из США, Пакистана, Монголии и четырех стран постсоветской Центральной Азии.
- 2 <https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20220701/v-tadzhikistane-pereimenovali-piki-mayakovskogo-i-oktyabrskii>
- 3 «Как закон о госязыке изменит отношение к русскому языку в Киргизии. И может ли это стать проблемой в отношениях Бишкека с Москвой». <https://www.rbc.ru/politics/21/01/2023/63ca82739a794704c8f07d89>
- 4 Рахмон — Путину: «Мы хотим, чтобы нас уважали». Отметим, что это выступление Рахмона набрало в ютьюбе 10 млн просмотров <https://www.youtube.com/watch?v=koplRt5-eUE>
- 5 <https://ru.sputnik.kg/20221125/kyrgyzstan-bishkek-rayon-pereimenovanie-shakiev-1070323372.html>

Возможно, слишком большое значение придавать подобным символическим действиям не стоит. Структурная зависимость обеих стран от России слишком велика, чтобы их лидеры могли позволить себе предпринять серьезные практические шаги по переориентации на другие центры власти. Демонстративные жесты, нами перечисленные, представляют собой сигнал о своем «неполном удовлетворении» действиями Москвы, однако форма и содержание этого сигнала всякий раз тщательно взвешены. Например, президент С. Жапаров, не поехав в российскую столицу 7 октября 2022 года на неформальный саммит по случаю 70-летия президента Путина, (а) поздравил юбиляра по телефону, объяснив свое отсутствие уважительными причинами, и (б) делегировал в Москву госсекретаря. Упомянутая выше речь главы Таджикистана, которая многими наблюдателями расценивалась как едва ли не бунт, на поверку оказывается весьма амбивалентной. Достаточно прислушаться к интонациям и использованной Э. Рахмоном риторике. «Где мы что-то нарушили? Где не так поздоровались? <...> Мы что, чужестранцы какие-нибудь?» — обращается он к В. Путину. (Уже лексика говорит сама за себя: говорящий по умолчанию исходит из того, что представляемая им страна не является для России таким же иностранным государством, как, скажем, Дания.) Сетуня на недостаточно уважительное отношение Москвы к Душанбе, президент Рахмон сообщает хозяину Кремля о чередѣ шагов с таджикской стороны, которые должны показать лояльность России (открыто столько-то новых школ, по всей стране — обязательное преподавание русского языка и т. д.). Иначе говоря, его послание — скорее просьба младшего партнера к старшему, чем манифест о несогласии главы одного суверенного государства с политикой другого.

Кроме того, Кыргызстан и Таджикистан не совершили ни дипломатических, ни символических действий, подобных тем, на которые решились их соседи¹. И все же нельзя не отметить, что руководство обеих стран активизировало усилия по осуществлению давно продекларированной «многовекторной» внешней политики, пусть и с постоянной оглядкой на Москву.

2. Гражданское общество

В марте 2022 года в Бишкеке и других городах Кыргызстана прошли митинги — как с протестами против действий России в Украине,

1 В ряду этих действий — заявление МИД Узбекистана о непризнании ДНР, ЛНР и других присоединенных к России украинских территорий, а также аналогичные заявления президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

так и в поддержку России. В мае группа кыргызстанских альпинистов водрузила на пик имени Путина украинский флаг. Поскольку это явно пахивало дипломатическим скандалом, власти попросили другую группу альпинистов флаг снять. 17 августа, в преддверии Дня государственного флага Украины, украинское посольство в Кыргызстане сообщало о том, что местные альпинисты водрузили украинский флаг на пике Хан-Тенгри¹. В прессе также были сообщения о фреске в поддержку Украины, появившейся на одной из улиц Бишкека, равно как и о том, что на следующий день она была закрашена², а еще через день была в слегка измененном виде растражирована в Сети известной бишкекской художницей³.

Судебными решениями проведение массовых мероприятий на основных площадях столицы было запрещено — сначала с 11 марта на месяц, а затем запрет был продлен до 1 июля и касался всех видов публичных акций по вопросу российско-украинского конфликта. Несмотря на это, 2 апреля в Бишкеке состоялось еще два митинга. Первый — в поддержку России, второй — «против путинизма». Правда, участники второго митинга смогли простоять на площади не более четверти часа, после чего все они были задержаны милицией и обвинены в том, что «предприняли провокационную попытку пройти пешим маршем до посольства Российской Федерации»⁴.

175

С тех пор страсти перетекли в виртуальное пространство. Вот как суммировала дискурс полярных информационных каналов медиа-эксперт Э. Токтогулова:

«В местном сегменте соцсетей отмечено, что “фабрики троллей”, работающие на нынешнюю кыргызскую власть, продвигают установку в поддержку политики России. Аргументация следующая:

“В России миллионы кыргызских мигрантов, критика России отразится на них негативно и страна останется без их ежегодных миллиардов долларов перечислений”.

“Если не соглашаться с Россией, она спровоцирует очередной военный конфликт на границе Таджикистана с Кыргызстаном и поддержит агрессию против нас”.

1 https://24.kg/obschestvo/242597_alpinistyi_izkyrgyzystana_vodruzili_ukrainskiy_flag_napik_han-tengri/

2 https://24.kg/obschestvo/240059_vbishkeke_zakrasili_fresku_osolidarnosti_ipodderjke_ukrainskogo_naroda/

3 См.: https://24.kg/obschestvo/240186_fresku_opodderjke_ukraintsev_zakrasili_atatyana_zelenskaya_sozdala_tsifrovuyu/

4 <https://cabar.asia/ru/kak-ranshe-uzhe-ne-budet-kak-vojna-v-ukraine-skazyvaetsya-na-otnosheniyah-mezhdu-lyudmi-v-kyrgyzstane>

“Кыргызстан — маленькое и слабое государство с неустойчивой политической системой, огромным внешним долгом и зависимостью от импорта, уж лучше быть под Россией, чем под Китаем, все равно кто-то нас должен крышевать”.

“Только благодаря России Китай не нападает на Кыргызстан, она наш единственный защитник от Китая”.

Контраргументы пользователей, настроенных антироссийски, выглядят следующим образом:

“Россия — тонущий корабль, который, затонув, потянет и нас на дно, надо срочно выходить из всех союзов с ней, пока не поздно”.

“Вторичные санкции — реальная угроза для Кыргызстана, даже если он сегодня занимает нейтральную позицию”.

“Россия не остановится на Украине, бывшие советские республики — следующие цели в возрождении русской империи, эти призывы не первый год артикулируются политиками и СМИ в России”.

“Кыргызстан должен начать строить свою самостоятельную независимую политику, перестать быть губернией России, для этого есть потенциал — люди, ресурсы, идеи”¹.

176

Ряд блогеров активно используют плакаты и карикатуры, обвиняя Путина в агрессии против Украины и призывая граждан КР не молчать. Их оппоненты возражают, опираясь на довод о зависимости антироссийских комментаторов от западных спонсоров. Так, журналист Дайырбек Орунбеков, выступил на своей странице в соцсетях со следующим заявлением:

«Уважаемые неправительственные организации, проамериканские гражданские активисты! Вы — те, кто получает американские гранты, обвиняете Путина и созываете людей на митинг. Ваш митинг никому не поможет (может быть, вы отработываете свои гранты), наоборот, принесет больше вреда. Например, не исключено, что украинские и западные СМИ покажут ваш митинг на своих сайтах с фотографиями, заявив, что “Кыргызстан провел митинг в поддержку Украины и против России”. По сути, им все равно, что выйдут 5-6 проамериканских грантоедов. Возможно, это окажет негативное влияние на отношения между Россией и Кыргызстаном. Сегодня миллионы кыргызстанцев находятся в трудовой миграции. Вы не подумали, что ваши бездумные митинги и мероприятия негативно повлияют на миллионы наших кыргызских соотечественников? В погоне за очередным грантом не суйте свой

1 Токтогулова Э. Третья мировая. Информационная. http://center.kg/article/452?fbclid=IwAR3oz5rpOBSkmHXtFD0Lm3-B_5XGtXT0N5My4OGLGDovEZiryeb9a1ELyF4

нос, не ввязывайтесь в конфликт между двумя большими странами, в этот раз посидите тихо дома»¹.

Раскол повлиял и на повседневные отношения граждан. Нередки были обращения в медиа, когда люди обращались к органам власти с требованием прекратить пропагандистскую деятельность на рабочих местах кыргызстанцев. Так, например, блог «Клооп медиа» рассказывает об организованной учительницей средней школы кампании травли ученицы выпускного класса, высказавшей протест против российской пропаганды на уроках географии².

В Таджикистане ситуация принципиально иная. Поскольку режим Э. Рахмона жестко контролирует публичную сферу, о настроениях рядовых таджикстанцев судить трудно не только на основании публикаций в СМИ, но и на основании сообщений в открытых соцсетях.

Тем не менее одно наблюдение в этой связи сделать позволено. В Таджикистане значительно ниже доля тех, кто получает информацию из интернета, чем в Кыргызстане. Среди кыргызской молодежи (18–29 лет) эта доля составляет 82 %, тогда как среди таджикской — 48 %; в старших возрастных группах (от 30 до 49 лет) в Кыргызстане на интернет полагаются более 70 % респондентов, а в Таджикистане — менее 40 %³. Возможно, это отчасти объясняет полученные нами результаты интервью. Таджикские респонденты демонстрируют если не единодушие, то очевидное доминирование однозначно пророссийских взглядов, в то время как кыргызские — высокую степень плюрализма мнений.

177

Настроения в таджикском и кыргызском обществах согласно интервью

1. Таджикистан

В августе 2022 года мы провели интервью в шести городах Таджикистана. Было опрошено 24 человека. Все — мужчины с высшим образованием, в основном среднего и старшего возраста (четверо — младше 30).

1 https://www.vb.kg/doc/414662_dayyrbek_orynbekov_obratilsia_k_mitingyushim_protiv_voyny_na_ykraine.html

2 <https://kloop.kg/blog/2022/05/20/ona-otmetila-cto-ves-klass-nachal-podstrekat-ee-doch-chtoby-ona-ne-prerekalas-s-pedagogom-a-segodnya-ee-stal-tseply>

3 См.: <https://ca-barometer.org/assets/files/froala/f67ac6f34d17e7e3b51e3be30aedb-9ffe60d9ae9.pdf>

Большинство респондентов демонстрировали высокую степень лояльности России. В оценках российско-украинского конфликта доминировала однозначная поддержка российской позиции и осуждение Запада.

Это стычка интересов сверхдержав. Конечно, здесь наравне с конкуренцией между Западом и Россией есть еще и внутренний фактор. Возьмем историю смены президентов Украины... Националисты, которые появились в Украине, полностью унижают религию. Они открыто показывают, пропагандируют, внушают фашистскую идеологию. В таком случае естественно, что Россия не смогла тихо сидеть в стороне. Я полагаю, что это и привело к битве и кровопролитию.

Ш., 69 лет, преподаватель университета

Сегодня, к сожалению, Запад превратил Украину в поле апробирования своего оружия. Дают оружие, не важно, что солдаты умрут. Сегодня Украина погрязла в долгах по самые уши, несколько поколений будут отдавать. Поэтому нужно как можно скорее сесть вокруг переговорного стола и решить это мирным путем, пока города не развалились. Украина цивилизованная, развитая страна в сердце Европы. Нельзя допустить, чтобы один региональный конфликт перешел в третью мировую войну. Надо это предотвратить.

Дж., 43 года, доцент университета

В этом конфликте виновна Украина. Но пострадали не только украинцы, русские, но и многие другие народы, и наш — тоже.

А., 26 лет, аспирант

Звучали и более радикально антизападные мнения. Примечательно, что респонденты зачастую мотивировали свою пророссийскую позицию тем, что работа в России для них и их сограждан является важным источником дохода.

Я поддерживаю позицию России, так как именно туда мы едем зарабатывать, помогаем нашим семьям. То, что РФ сейчас борется не только с Украиной, но и со всем миром, Европой, Америкой, Канадой, это и есть глобальная проблема.

Н., 34 года, учитель

И лишь некоторые респонденты позволяли себе робко высказаться в слегка ином ключе.

Я не могу сказать, кто виноват, но я знаю точно, что в этом конфликте страдает и наше население. Этот конфликт — война между Украиной и Россией — была ошибочным вариантом.

Х., 39 лет, программист

Мне жалко Украину. Она является пешкой в большой игре.

Б., 60 лет, руководитель дехканского хозяйства

Когда мы просили наших респондентов высказаться о внешне-политических приоритетах Таджикистана в обозримом будущем, большинство из них называли в качестве партнеров Россию и Китай.

Я думаю, что наиболее важным международным партнером станет Россия, так как именно туда направлены основные потоки трудовых мигрантов и именно оттуда поступают финансовые переводы, что улучшает экономическое положение нашей Родины в целом.

Э., 32 года, журналист

Правда, партнерство с Россией обосновывалось не только исторически устоявшимися связями, но и чисто прагматическими соображениями.

179

Есть пословица: «Из всех зол — выбирать наименьшее зло». Наименьшим злом для нас является Россия. Я думаю, именно Россия станет наиболее важным международным партнером для нас через 20 лет.

Ф., 55 лет, учитель истории

В ходе интервью мы не раз убеждались в том, что часть таджикстанцев по-прежнему смотрит на Россию сквозь советские очки.

Я думаю, среди международных партнеров нашей республики наиболее важным партнером является именно Россия. Мой выбор по причине того, что с РФ мы сотрудничаем с XVIII века (sic!) и это наиболее знакомая нам модель развития. Необходимо отметить, насколько развилась наша республика за все эти годы, что было раньше (до СССР) и сравните, что теперь. Сколько строительных проектов было построено, сколько помощи оказывала Россия, а также нашу безопасность обеспечивает военная дивизия, расположенная в нашей республике до сих пор. Все это говорит о том, что с этой страной необходимо сотрудничать и дружить, поддерживать отношения. Модель развития экономики также подходит и нам.

Э., 55 лет, предприниматель

Для некоторых из наших респондентов рассуждения на злободневные темы становились поводом поностальгировать по советским временам.

Проблема Украины появилась не за десять-двадцать лет. Ее истоки — с давних времен, после Первой мировой войны. Там есть позиция Америки и стран Европы. Россия также борется за свои интересы. И та холодная война, которая началась после Второй мировой и закончилась распадом Советского Союза, можно посмотреть ее цели — *предотвращение распространения социалистического общества* (курсив наш. — Авт.).

Н., 46 лет, госслужащий

2. Кыргызстан

Интервью, проведенные нами в июле-августе 2022 года в Кыргызской Республике¹, обнаружили высокую фрагментированность общества. Разброс мнений относительно российско-украинского конфликта предельно широк — от радикально пророссийских до радикально проукраинских. Важно, что Кыргызстан полиэтничен². Однако, как мы покажем ниже, различия во мнениях не совпадают с этническими различиями.

Одна из опрошенных заявила о безоговорочной поддержке Кремля; живя в Кыргызстане, она чувствует себя частью России.

Я русский человек, всегда была ее патриотом... каждый должен любить свою родину и если надо, умереть за нее.

И., 45 лет, женщина, парикмахер

Патриотизм для респондентки означает личную преданность «вождю» и безоговорочную поддержку проводимой им политики:

Я каждое утро молюсь за Владимира Владимировича Путина. Если страна выбрала его, надо идти с ним до конца. Народ должен поддерживать своего президента.

1 Было проведено 17 интервью с людьми разными по этнической принадлежности, полу, возрасту и социальному положению, преимущественно в Бишкеке.

2 Самое многочисленное этническое меньшинство — узбеки (около 15 %). 5,1 % населения республики составляют русские (это более 340 тыс. чел.). Есть и другие этнические группы, самые крупные из которых — дунгане и уйгуры.

Респондентка и ее супруг ожидают получения российского гражданства, намерены переехать в Россию и вместе записаться в добровольцы. Она убеждена, что взгляды ее семьи разделяют многие этнические русские, живущие в КР.

Нас много таких (русских и даже нерусских в Киргизии) — просто, может, не говорят об этом.

Надо отметить, однако, что столь радикально «прокремлевских» взглядов никто из опрошенных больше не придерживался, а те кыргызстанцы, которых можно отнести к пророссийски настроенным, высказывались неоднозначно. Приведем один показательный фрагмент:

Честно сказать, я нейтралитет держу <...>. Мне как-то все равно... Вообще, все равно... Там много непонятного! Кто, и зачем, и почему... Но там добровольцев много.

— Да?

— Вот когда было объявлено, мобилизация началась — очень много добровольцев собралось... Еще пошли много и по повестке.

— Серьезно? Не только по повестке много народу идет?

— Ну да, я как раз, вот я когда иду на работу, иду с работы — там военный комиссариат. Вот вечером, когда шел с работы, смотрю, много стоят. Я спросил: «Вы что, по повестке пришли?» А они говорят: «Нет, сами!» — «Как сами?» — «Ну вот, надо же Родину защищать...» Ну то есть добровольно идут... Я бы тоже пошел...

— А вот хороший вопрос: если бы призвали, пошел бы? Ну если бы был гражданин России?

— Я бы пошел. Это единственное место, где за убийство ничего не дают. (*Шутит.*)

С., 42 года, смешанного русско-корейского происхождения, электрик, жил год в Новосибирске

Позицию значительной части респондентов можно охарактеризовать как *конформизм*. Это люди, которые меняют свое мнение в зависимости от ситуации и с оглядкой на предполагаемое большинство.

Россия — наш большой брат. Если России наступит конец, то и нам наступит конец. Когда ЛНР-ДНР в оппозиции были 8 лет назад, я вообще готов был поехать и защищать как патриот. Сейчас, если бы я был украинцем, я бы пошел воевать против агрессора России. Какое они право имеют вторгаться туда? Сейчас у меня то есть нет патриотизма ...

К., 32 года, смешанного татарско-русского происхождения, фитнес-тренер

В рассуждениях респондентов, отнесенных нами к «конформистам», причудливо сочетаются различные нарративы:

Мое отношение к событиям не изменилось, просто думала, что будет быстрая кампания, что Россия сделает блицкриг, освобождая ЛНР и ДНР. А они пошли дальше. Сначала это меня тревожило очень, а теперь привычно, нет особой остроты восприятия. Украина воюет за независимость свою, землю. Россия против фашизма и против порядка, который угнетает русских в Украине. Неявно участвует блок НАТО, есть сочувствующие и поддерживают санкциями в отношении России и поставками оружия в Украину. Их интерес — ослабить Россию.

Ч., 60 лет, кыргызка, финансист

Тот же самый респондент, который говорил, что у него «нет патриотизма» по отношению к России, заявил следующее:

Возможно, в недалеком будущем, когда придется хватать наскоро документы и бежать, то бежать, кроме как в Россию, некуда. У меня есть вера, что Россия поднимется и станет вновь великой державой, во всяком случае питаю надежду. Но надо, чтобы они перестали тянуться к Западу и пересмотрели свои приоритеты. Им нет места в G8. Нет иллюзий, если бы у России не было ядерного оружия, Запад сделал бы с ними то, что сделали с Ливией, Сирией.

К., 32 года, смешанного татарско-русского происхождения, фитнес-тренер

Нередко к конформизму примешивается национализм.

Раньше я Путина очень уважал. Я работал в Питере много лет, мой хозяева еще тогда плохо относились к Путину и критиковали. Там, в Питере, процентов 50 Путина ненавидели. А я очень уважал. Но теперь перестал уважать. Даже в кыргызско-таджикском конфликте Путин поддержал именно таджиков. К нам что-то он перестал хорошо относиться.

38 лет, кыргыз, таксист

Часть ответов может быть подведена под категории *антиимпериализма и антиколониализма*.

Не неолиберальные войны, которые ведут западные страны с выкачиванием ресурсов. Хотя и они неокOLONиальные. Но другой вид.

Россия предлагает всем колониализм XIX века, по лекалам XIX века: горячая война с потерями, с аннексией территории...

А., 35 лет, кыргыз, преподаватель вуза

Респонденты, отнесенные нами к этой категории, настроены радикально антимилитаристски.

Двойные стандарты в РФ: Чечню не отдают, а Крым и ЛНР и ДНР захватили. Хотя пытаются представить «превентивный характер» военного вторжения. Россия называет это спецоперацией и в результате 8 лет убивают мирных жителей в Украине. У нас у всех депрессивное состояние, хоть мы и далеко от военных действий. Мой муж воевал в Афгане. Мы очень плохо к любой войне относимся. Разные цифры о погибших, а сколько останется инвалидами, в том числе психическими? Они потом проживают в мирное время дома, а голова остается на войне. Издержки для обеих сторон будут колоссальные.

Л., 61 год, уйгурка, муниципальная служащая

У меня теперь нет друзей детства. Из всех остался один, он признал, что это агрессия России против суверенного государства. С другими осознал, что они либо находятся в добровольном невежестве, они только кремлевский нарратив и повторяют. После начала января, когда Россия ввела войска в Казахстан, давила людей танками, расстреливала, мне стало страшно, поскольку дискурс о террористах из Кыргызской Республики пошел.

А., 35 лет, кыргыз, преподаватель вуза

183

Очевидно, однако, что сколько-нибудь строгие типологизации нарративов, используемых респондентами, вряд ли возможны. В их рассуждениях переплетаются разные логики. Например, аргументация морально-правового характера может сменяться аргументами об этнической близости.

Сначала был шок и желание защитить украинцев. Но потом... не оправдываю, но что делает Путин, чего не делают другие в мире? Украинцы кричат: «нас бомбят». А уйгуров в Китае уже как давно убивают? Что произошло в Ливии или Сирии? Что за монополизация статуса жертвы? Но все молчат. Поэтому, с одной стороны, когда украинцы кричат: «не молчите, нас убивают», часто хочется ответить — вы все молчите про уйгуров. Мы уже пять лет не можем общаться со своими близкими. Их там истребляют за связь с нами. Мы не знаем, что происходит там. И никто на это не обращает внимания. Это истребление стало обыденностью. Путин такой же империалист, как и другие.

Л., 61 год, уйгурка, муниципальная служащая

К числу бесспорных выводов, которые позволяет сделать анализ интервью с гражданами Кыргызстана, относится то, что после фев-

раля 2022 года окончательно разрушена информационная монополия России. Рядовые кыргызстанцы все более активно пользуются альтернативными каналами информации.

За 8 лет мнение изменилось: до начала войны мы не смотрели украинское ТВ, не соприкасались. Мы только мозги российским ТВ промывали. И потому кыргызы в основном Россию поддерживали. Мы 8 лет слышали только пропаганду о бандеровцах и фашистах. Потом случайно на ютьюбе Гордона стал слушать.

Н., 57 лет, кыргыз, служащий

Разумеется, качественных исследований недостаточно для того, чтобы оценить соотношение долей «пророссийски» и «антироссийски» настроенных кыргызстанцев. Такую оценку, с учетом погрешности, позволяют дать количественные исследования. Согласно опросу, проведенному исследовательским институтом в Бишкеке Central Asia Barometer, кыргызские респонденты ответили на вопрос «Кто, по-Вашему, несет наибольшую ответственность за события в Украине?» следующим образом: Россия — 14 %; обе стороны — 7 %; Украина — 36 %; США — 13 %. Четверть опрошенных (24 %) от ответа уклонились.

184

Новые и новейшие тренды

Еще совсем недавно российские обыватели острили «Курица не птица, Киргизия — не заграница». Симметричные чувства по отношению к России могли переживать и рядовые кыргызстанцы. Сегодня, однако, подобные поговорки уже нерелевантны. Кыргызстан уже осенью 2022 году превратился в заграницу для тех «релокантов», которые, не сумев обустроиться в Казахстане, стали искать работу и жилье в Кыргызской Республике. Кроме того, учитывая активность националистически настроенных кыргызских политиков, публичное пространство страны в будущем может стать менее комфортным для русскоязычных, чем это было до сих пор.

На протяжении многих лет российские госслужбы рапортовали о внушительных количествах таджикских граждан, получивших гражданство России. Однако после февраля и особенно после сентября 2022 года российский паспорт для мужчин призывного возраста превратился из предмета мечтаний в источник проблем.

В октябре 2022 года на полигоне в Белгородской области произошли трагические события: мобилизованные из Таджикистана открыли стрельбу по сослуживцам. Как предполагают эксперты,

конфликт произошел на этнорелигиозной почве¹. Тем самым высветился драматизм ситуации, в которой находятся выходцы из центральноазиатских республик в современной России. Та лояльность Москве, в демонстрации которой таджикистанцы в прежние времена не знали себе равных, оказалась во многом напускной.

Несмотря на то что официальный Душанбе делает все возможное для того, чтобы показать свою близость Москве, и не допускает появления в печати материалов, способных вызвать ее раздражение, после 24.02.2022 в таджикских медиа стали появляться статьи, сами заголовки которых говорят о дистанцировании страны от северного соседа: «Как трудовые мигранты из Центральной Азии нашли альтернативу работе в России»; «Будет ли теперь польза от российского диплома?» и т.п.².

Заключение

Россия до недавнего времени занимала особое место в картине мира рядовых граждан анализируемых стран. Многие из них энергично демонстрировали лояльность России. Эта лояльность подчас принимала несколько гротескные формы. Но даже если допустить здесь элемент трикстерства, невозможно отрицать исключительную роль северного соседа в структурировании политического воображаемого таджикистанцев и кыргызстанцев.

И Кыргызстан, и Таджикистан по-прежнему находятся в орбите России. Их структурная зависимость от Москвы столь велика, что оставляет чрезвычайно мало пространства маневра для правящих элит с точки зрения реализации «многовекторной» внешней политики, официально продекларированной еще в первые годы после обретения суверенитета.

Вместе с тем нельзя не отметить происходящих в последнее время изменений. Во-первых, в Кыргызстане — и на уровне элит, и на уровне публики — широко распространено разочарование в России после апрельских событий 2021 года (длящийся пограничный конфликт с Таджикистаном, в котором, как считают кыргызстанцы, Москва взяла сторону Душанбе). Во-вторых, после начала военного противостояния с Украиной Россия утрачивает тот образ, который она в Центральной Азии имела на протяжении всего пост-

1 <https://www.dw.com/ru/bojna-na-belgorodskom-poligone-cto-izvestno/a-63455310>

2 <https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20220621/kak-trudovie-migranti-iz-tsentralnoi-azii-nashli-alternativu-rabote-v-rossii>; <https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20220621/budet-li-teper-polza-ot-rossiiskogo-diploma>

советского тридцатилетия (а именно гаранта безопасности во всех смыслах этого слова). Если до 2022 года российский паспорт был предметом мечтаний большинства вовлеченных в трудовую миграцию граждан Таджикистана (межгосударственный договор позволял удерживать двойное гражданство), то после февраля и особенно после объявления частичной мобилизации в сентябре этот документ для мужчин призывного возраста стал проблематичным.

Октябрьские события на полигоне в Белгородской области высветили драматизм ситуации, в которой находятся выходцы из центральноазиатских стран в сегодняшней России.

В Кыргызстане наметились небывалые расколы в общественном мнении. О глубине этих расколов свидетельствуют и соцопросы, и анализ кыргызских соцсетей, а также интервью, проведенные нами в конце лета того же года. Учитывая, что информационная монополия России в регионе разрушена, похоже, что поляризация мнений в обозримой перспективе будет лишь нарастать. О ситуации в Таджикистане, в силу контроля над публичной сферой со стороны властей, судить затруднительно. Однако и здесь просматриваются признаки отдаления от Москвы.

186

Все это позволяет сделать вывод, что Россия постепенно перестает занимать то место в политическом воображаемом обеих стран, которое она занимала до сих пор.

Библиография / References

Абашин С. (2011) Нации и постколониализм в Центральной Азии двадцать лет спустя: переосмысливая категории анализа. *Ab imperio*, 3: 193-210.

— Abashin S. (2011) Nations and Postcolonialism in Central Asia Twenty Years Later: Rethinking the Categories of Analysis. *Ab imperio*, 3: 193-210. — in Russ.

Абашин С. Н. (2007) *Национализмы в Средней Азии: в поисках идентичности*, М.: СПб.: Алетейя.

— Abashin S. N. (2007) *Nationalisms in Central Asia: in search of identity*, М.: SPb.: Aleteyya. — in Russ.

Аренас И., Дзеновска Д. (2010) Делать «народ». Политическое воображаемое и материальность баррикад в Мексике и Латвии. *Laboratorium: Журнал социальных исследований*, 2: 399-402.

— Arenas I., Dzenovska D. (2010) Making “the people”. The Political Imagination and the Materiality of the Barricades in Mexico and Latvia. *Laboratorium: Journal of Social Research*, 2: 399-402. — in Russ.

Быстрова Я. В., Дудник С. И. (2019) Политическое воображаемое в эпоху сталинской модернизации. *Конфликтология*, 14(3): 84-94.

— Bystrova Ya.V., Dudnik S. I. (2019) The Political Imaginary in the Age of Stalinist Modernization. *Conflictology*, 14(3): 84-94. — in Russ.

Горшенина С. (2007) Извечна ли маргинальность русского колониального Туркестана, или Войдет ли постсоветская Средняя Азия в область post-исследований? *Ab imperio*, 2: 209-258.

— Gorshenina S. (2007) Is the marginality of Russian colonial Turkestan eternal, or will post-Soviet Central Asia enter the field of post-research? *Ab imperio*, 2: 209-258. — in Russ.

Горшенина С. М. (2019) *Изобретение концепта Средней/Центральной Азии: между наукой и геополитикой* / Пер. с фр. М. Р. Майзульса. Вашингтон: Программа изучения Центральной Азии, Университет Джорджа Вашингтона.

— Gorshenina S. M. (2019) *The invention of the concept of Central/Central Asia: between science and geopolitics* / Per. from fr. M. R. Maysulsa. Washington: Central Asian Studies Program, George Washington University. — in Russ.

Малашенко А., Колесников А. (2012) Постсоветского пространства не существует. *Московский центр Карнеги*. URL: <https://carnegiemoscow.org/2012/06/08/rupub-48498> (дата обращения: 03.02.2022).

— Malashenko A., Kolesnikov A. (2012) There is no post-Soviet space. *Moscow Carnegie Center*. URL: <https://carnegiemoscow.org/2012/06/08/en-pub-48498> (accessed 03.02.2022). — in Russ.

Малинова О. Ю. (2010) Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России. *ПОЛИС: Политические исследования*, 2: 90-105.

— Malinova O.Yu. (2010) Symbolic Politics and the Construction of Macropolitical Identity in Post-Soviet Russia. *POLIS: Political Studies*, 2: 90-105. — in Russ.

Малинова О. Ю. (2016) Официальный исторический нарратив как элемент политики идентичности в России: от 1990-х к 2000-м годам. *ПОЛИС: Политические исследования*, 6: 139-158.

— Malinova O.Yu. (2016) Official historical narrative as an element of identity politics in Russia: from the 1990s to the 2000s. *POLIS: Political Studies*, 6: 139-158. — in Russ.

Моррисон А. (2017). *Центральная Азия: «Великий шелковый путь» и «Большая игра» — лишь мифы, далекие от реальности*. URL: <https://russian.eurasianet.org/node/64596/>

— Morrison A. (2017). *Central Asia: The Great Silk Road and the Great Game are just myths far from reality*. URL: <https://russian.eurasianet.org/node/64596/> — in Russ.

Нойманн И. (2004) *Использование другого. Образы Востока в формировании европейских идентичностей*, М.: Новое издательство.

— Neumann I. (2004) *Using the Other. Images of the East in the formation of European identities*, Moscow: New publishing house. — in Russ.

Олимова О., Олимов М. (1999) *Таджикистан на пороге перемен*, М.: Центр стратегических и политических исследований, Научно-аналитический центр «Шарк».

— Olimova O., Olimov M. (1999) *Tajikistan on the Threshold of Change*, M.: Center for Strategic and Political Studies, Sharq Research and Analytical Center. — in Russ.

Ремнев А. (2011) Колониальность, постколониальность и «историческая политика» в современном Казахстане. *Ab Imperio*, 1: 169-205.

— Remnev A. (2011) Coloniality, post-coloniality and “historical politics” in modern Kazakhstan. *Ab Imperio*, 1: 169-205. — in Russ.

Семененко И. С. (2011) Политическая идентичность в контексте политики идентичности. *ПОЛИТЭКС*, 7(2): 5-24.

— Semenenko I. S. (2011) Political identity in the context of identity politics. *POLITEKS*, 7(2): 5-24. — in Russ.

Тимофеев И. Н. (2010) Российская политическая идентичность сквозь призму интерпретации истории. *Вестник МГИМО-Университета*, 3 (12): 51-59.

— Timofeev I. N. (2010) Russian political identity through the prism of the interpretation of history. *Bulletin of MGIMO-University*, 3 (12): 51-59.

Abashin S. (2015) Soviet Central Asia on the Periphery. *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*, 16(2): 359-374.

Allison R. (2004) Regionalism, regional structure and security management. *International Affairs*, 80(3): 463-483.

Atkin M. (2011) Tajikistan: from de facto colony to sovereign dependency. Sally N. Cummings, Raymond Hinnebusch (eds) *Sovereignty After Empire: Comparing Middle East and Central Asia*. Edinburg: Edinburg University Press.

Cole J., Kandiyoti D. (2002) Nationalism and the Colonial Legacy in the Middle East and Central Asia: Introduction. *International Journal of Middle East Studies*, 34: 189-203.

De Haas M. (2016) Security policy and developments in Central Asia: Security documents compared with security challenges. *The Journal of Slavic Military Studies*, 29 (2): 203-226.

Gleason A. (2010) Eurasia: What is it? Is it? *Journal of Eurasian Studies*, 1(1): 26-32.

Heathershaw J., Herzig E. (eds) (2012) *The Transformation of Tajikistan: the Sources of Statehood*, L.: Routledge.

Heathershaw J. (2011) Tajikistan amidst globalization: state failure or state transformation? *Central Asian Survey*, 30 (1): 147-168.

Ibabez-Tirado D. (2015) How can I be post Soviet if I was never Soviet? *Central Asian Survey*, 34 (2): 190-203.

Laruelle M. (2018) (ed.) *Tajikistan on the Move: State-Building and Societal Transformations*, Lanham, Boulder, New York, London: Lexington Books, 2018.

Laruelle M. 2021. *Central Peripheries: Nationhood in Central Asia*, L.: UCLpress.

Laruelle M., Royce D. (2020) No Great Game: Central Asia's Public Opinion on Russia, China and the US. *Kennan Cable*, 56. https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/KI_200805_cable%2056_final.pdf (дата обращения: 11.03.2023).

Liu M. Y. (2011) Central Asia in the Post-Cold War World. *Annual Review of Anthropology*, 40: 115-131.

Patnaik A. (2016) *Central Asia: Geopolitics, Security, Stability*, L.: Routledge.

Peimani H. (2009) *Conflict and Security in Central Asia and Caucasus*, Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO.

Sahadeo J. (2012) Soviet “Blacks” and Place Making in Leningrad and Moscow. *Slavic Review*, 71(2): 331-358.

Рекомендация для цитирования:

Малахов В. С., Багдасарова Н. А., Ибраева Г. К., Олимова С. К. (2023) Трансформации политического воображаемого в постсоветской Центральной Азии: случаи Кыргызстана и Таджикистана. *Социология власти*, 35 (1): 160-189.

For citations:

Malakhov V. S., Bagdasarova N. A., Ibraeva G. K., Olimova S. K. (2023) Transformations of the Political Imaginary in Post-Soviet Central Asia: The Cases of Kyrgyzstan and Tajikistan. *Sociology of Power*, 35 (1): 160-189.

Поступила в редакцию: 19.01.2023; принята в печать: 07.03.2023

Received: 19.01.2023; Accepted for publication: 07.03.2023

ИРИНА А. СКАЛАБАН¹

Новосибирский государственный технический университет, Россия
ORCID: 0000-0002-8380-1947

ЮРИЙ С. ЛОБАНОВ²

Музей Новосибирска, Россия
ORCID: 0000-0003-1982-5558

ЗОЯ Н. СЕРГЕЕВА³

Новосибирский государственный технический университет, Россия
ORCID: 0000-0003-4296-2008

СВЕТЛАНА Ю. ВОЛЧЕНКО⁴

Новосибирский государственный технический университет, Россия
ORCID: 0000-0002-0108-2162

«Уровень опасений зашкаливает!»: как изменения становятся триггерами городских конфликтов. Кейс г. Новосибирска

- 1 Скалабан Ирина Анатольевна — доцент, доктор социологических наук, научный руководитель Лаборатории городских исследований Института социальных технологий Новосибирского государственного технического университета. Научные интересы: общественное участие, социальные конфликты и конвенции, городские изменения, городские конфликты, городские сообщества, конфликтная мобилизация, оборонительные сообщества. E-mail: skalaban_i@mail.ru
- 2 Лобанов Юрий Сергеевич — кандидат философских наук, пресс-секретарь Музея Новосибирска. Научные интересы: общественное участие, социальные конфликты и конвенции, городские изменения, городские конфликты, городские сообщества, городские сети и коммуникации, теория и практика медиакоммуникаций. Email: lobanov-y@mail.ru
- 3 Сергеева Зоя Николаевна — доцент, кандидат социологических наук, начальник управления информационной политики Новосибирского государственного технического университета, исполнительный директор эндаумент-фонда НГТУ. Научные интересы: социология коммуникаций, электоральный PR, интегрированные маркетинговые коммуникации. E-mail: z.sergeeva@corp.nstu.ru
- 4 Волченко Светлана Юрьевна — старший преподаватель кафедры Социальной работы и социальной антропологии Новосибирского государственного технического университета. Научные интересы: социальные технологии, гендерные конфликты, городские конфликты, межсекторное партнерство, социальная экономика. E-mail: yurkova@corp.nstu.ru

doi: 10.22394/2074-0492-2023-1-190-218

Резюме:

В статье предпринята попытка теоретического и эмпирического анализа возникновения и развития городского конфликта через концепты триггеров, триггерных ситуаций и критического эпизода (Л. Болтански, Л. Тевено) на материалах конфликтов Новосибирской городской агломерации последних десяти лет. Источником послужила созданная авторами геоинформационная база данных, содержащая структурированное описание более 200 случаев городских конфликтов. Триггер представлен как сложный механизм, способствующий обострению напряжения (триггер риска), манифестированию и/или эскалированию конфликта. Триггер формируется только тогда, когда инициируемая адресантом ситуация изменения будет воспринята адресатом как угроза, что создает условия для смены способов действия горожан и режимов вовлеченности. Морфологический анализ триггеров в контексте разворачивающегося конфликта позволил выделить несколько режимов формирования триггеров: инвестиционный, институциональный, нормативный, ценностный. Доказано, что в современном городе в условиях активных изменений наиболее конфликтогенерирующими являются триггеры инвестиционного типа, а наибольший триггерный потенциал свойственен первым шагам по выводу проекта в публичную сферу, его манифестированию. Однако анализ связи между характером триггера и исходом конфликта показал, что конфликты, вызванные именно триггерами инвестиционного типа, имеют более высокую вероятность урегулирования, а частные инвесторы гибче в выполнении требований протестующих, чем органы власти, особенно если не опираются на безусловную поддержку последних. Это не отменяет важную проблему — низкое качество принимаемых решений в сфере конфликторегулирования. Лишь незначительная часть акторов стремится к установлению эквивалентности — большая часть конфликтов оканчивается полной победой одной из сторон либо отменой проекта в пользу протестующих.

191

Ключевые слова: город, публичный конфликт, триггер, эскалация, манифестация, исход конфликта, геоинформационная база данных

Irina A. Skalan¹

Novosibirsk State Technical University, Russia

-
- 1 Skalan Irina Anatolyevna — Associate Professor, Doctor of Sociology, Scientific Supervisor of the Urban Research Laboratory, Institute of Social Technologies, Novosibirsk State Technical University. Research interests: public participation, social conflicts and conventions, urban change, urban conflicts, urban communities, conflict mobilization, defensive communities. Email: skalaban_i@mail.ru

Yuri S. Lobanov¹

Museum of Novosibirsk, Russia

Zoya N. Sergeeva²

Novosibirsk State Technical University, Russia

Svetlana Y. Volchenko³

Novosibirsk State Technical University, Russia

‘The Level of Fears Is off the Scale!’: Triggers of Urban Conflicts in the Context of Municipal Management (Novosibirsk Case Study)

Abstract:

This article represents a comprehensive study of transition peculiarities from a latent stage to the open demonstration of conflict, drawing on the concepts of base trigger, trigger situation, and crucial episode (L. Boltanski, L. Thévenot). The trigger situations of urban conflicts were studied on the broad empirical material of the Novosibirsk urban agglomeration over the last decade. The research authors created a geoinformation database containing a structured description of more than two hundred cases of urban conflict. The trigger is presented as a complex mechanism that contributes to the aggravation of tension (risk trigger) or the manifestation and/or escalation of conflict, which can be launched only when the addressee perceives the situation of change initiated by the addresser as a threat — which, in turn, creates the conditions for changing of actions, order of involvement and register. This opens up opportunities for influencing and managing the situation of change. A morphological analysis of triggers of the unfolding conflict made it possible to identify several groups determined by investment, institutional, normative, and value regulations. In a modern actively changing city, the investment-type trigger was empirically shown to be the most conflict-generating, with the first steps of project publicizing and proclamation having the greatest trigger potential. However, an analysis of the relationship between the nature of the trigger and the outcome of

192

-
- 1 Lobanov Yuri Sergeevich — Candidate of Philosophical Sciences, Press secretary of the Museum of Novosibirsk. Research interests: public participation, social conflicts and conventions, urban change, urban conflicts, urban communities, urban networks and communications, theory and practice of media communications. Email: lobanov-y@mail.ru
 - 2 Sergeeva Zoya Nikolaevna — Associate Professor, Candidate of Sociological Sciences, Head of the Information Policy Department of the Novosibirsk State Technical University, Executive Director of the NSTU Endowment Fund. Research interests: sociology of communications, electoral PR, integrated marketing communications. E-mail: z.sergeeva@corp.nstu.ru
 - 3 Volchenko Svetlana Yuryevna — Senior Lecturer, Department of Social Work and Social Anthropology, Institute of Social Technologies, Novosibirsk State Technical University. Research interests: social technologies, gender conflicts, urban conflicts, intersectoral partnership, social economy. E-mail: yurkova@corp.nstu.ru

the conflict showed that conflicts caused in particular by the investment-type triggers have a higher probability of settlement. As a rule, private investors are more flexible in meeting the demands of the protesters than the authorities, especially if the investors do not rely on the unconditional support of the authorities. This does not negate the important issue of the poor quality of decision-making in conflict regulation. Just a few conflict actors aim to fix the balance, which is why only a small part of the conflicts ends with the search for a compromise; mostly the conflicts end with a complete victory of one of the parties or the cancellation of the project in favor of the protesters.

Keywords: city, public conflict, trigger, escalation, manifestation, outcome of the conflict, geoinformation database

Введение

Город по мере «урбанистического сдвига» продуцирует не только беспрецедентное в истории человечества число социальных, экономических и технологических инноваций, но и становится эпицентром многообразных конфликтов. Их характерная особенность — многослойность и пересечение в одном физическом пространстве разномасштабных локальных, городских, региональных, федеральных и даже международных интересов и репрезентаций пространства, что порождает противоречия и провоцирует появление многообразных форм конфликтования — от мирных до насильственных. Такие конфликты запускают процессы выхода за пределы однотипных недифференцированных «практических моментов», «принимаемых как должное» [Boltanski 2009: 102], и стимулируют рост критических действий горожан. Они ресурсозатратны, слабо предсказуемы и, в случае потери контроля над ситуацией, могут оказать негативное влияние на развитие города, отдельных территорий и благополучие населения. При современных информационных технологиях все социальное пространство города потенциально может стать полем битвы между соперничающими акторами политических и экономических отношений, которые соревнуются за поддержку и лояльность горожан [Bhavnani et al. 2019]. Поэтому направленное воздействие на конфликт не может ограничиваться монополией на насилие в городской среде и контролем за легитимностью. «Уход» горожанина в менее публичные режимы, «локальные ремонты» и «корректировки» [Boltanski 2009: 63-64] лишь нейтрализуют конфликт, часто превращая его в «холодный», давая шанс проявиться в ином месте и в иное время.

Между тем, будучи производной от жизни города, социального мира, в который горожанин погружен, конфликт особенно активно проявляет себя в условиях интенсивных изменений в городской

среде: реализации инфраструктурных проектов, усиления миграционной мобильности и иных трансформациях, затрагивающих образ жизни, значимые ценности и традиции горожан. В этом случае он ставит на паузу «прагматический регистр» жизни горожанина, вовлекая его в новые несвойственные опривыченному миру практики.

Важный этап на этом пути — поиск ответа на вопрос: как и при каких обстоятельствах происходит «смена регистра» с прагматического на метапрагматический и из рутинных практик горожан, их «молчаливого согласия» в кругу вещей, которые «принимаются как должное» [Thévenot 2014], возникает открытый конфликт с городской или локальной повесткой? Что становится тем самым «спусковым крючком», который запускает сам процесс конфликта и обуславливает смену режимов вовлеченности? И здесь мы видим уместность обращения к термину, редко используемому социологами, — *триггер*.

Цель статьи — предложить концептуализацию сложного механизма возникновения городского конфликта, роли и сущности событий, запускающих переход вовлеченных в повседневные отношения горожан к конфронтационным способам решения проблемы, их влияния на характер протекания и исход городских конфликтов.

194

Что такое триггер конфликта?

«Триггер» как научная категория фигурирует в широком диапазоне исследований конфликтных взаимодействий — от межличностного до международного уровня. Однако он остается, пожалуй, наименее теоретически проработанным элементом социального конфликта. Между тем термин «триггер» отнюдь не нов. Двести лет назад он уже использовался в журналах по механике для обозначения спусковых механизмов инженерных конструкций [Скалабан и др. 2022]. Однако в социальных науках представление о триггере начало формироваться через осмысление реакции на то, что для субъекта стало вызовом или провокацией. Одним из первых этот термин использовал Чарльз Кули для описания эмоциональной реакции субъекта, не требующей значимого повода для ее осуществления [Colley 1897]. Но уже в ранних работах исследователей чикагской социологической школы триггерными характеристиками, выраженными в эмоциональной реакции на раздражитель, наделялась не только личность, но и сообщество. Так, Роберт А. Вудс отмечал способность соседских сообществ подобно общественному разуму продуцировать триггерные (импульсивные) реакции [Woods 1914], а Роберт Парк указывал, что местные ассоциации, созданные на основе спонтанной организации соседей, — это структуры, существующие именно с целью выражения этих «местных чувств» [Park 1915].

В настоящее время «триггер» представляет собой междисциплинарную категорию. На пересечении социологической и психологической традиций триггер интерпретируется как раздражитель, который провоцирует изменение эмоционального состояния субъекта и/или активизирует поведенческие изменения [Boysen 2016; Юмашев 2018]. Важно, что, в отличие от противоречий или причин конфликта, триггер непременно имеет внешнее выражение, проявляется через события или действия, вызванные ожиданием/предчувствием событий [Herbert 2017]. В то же время триггер можно определить как внешнее эмоциональное проявление причинности, однако сам по себе он причиной не является и причину не раскрывает, а скорее только обозначает ее, выступает ее катализатором. Похожим образом триггер интерпретируется и в сфере управления. Это возможность управления проектами, продуктивного изменения влияния триггерных событий на отношения или поведение сотрудников в организации, в частности, восприятие ими справедливости [O'Neill et al. 2017]. Более овеществленно триггер обозначен в политологическом дискурсе [Дейк 2013]. Здесь он определяется «как устное или письменное высказывание представителей власти, вызывающее острую негативную реакцию общественности и СМИ и имеющее прагматическую организацию» [Руженцева и др. 2020].

195

Ориентируясь на представленные подходы, можно опереться на достаточно устоявшуюся в научном плане структуру триггера: актора, запускающего (инициирующего) триггер (*адресант*), воспринимающего (*адресата-реципиента*), *интенции* (или направленного непосредственного или опосредованного действия разной степени рациональности) и *реакции* со стороны реципиентов (в случае города — горожан, общественников, представителей органов власти, бизнес-структур, СМИ). Важно учитывать, что весь этот механизм начинает работать, и интенция (заявления, действия или отказ от действий) вызывает острую негативную реакцию реципиента только тогда, когда затрагивает его ценности, интересы или потребности и разворачивается в *триггерную ситуацию*, способную при определенных условиях перейти в инцидент [Скалабан и др. 2022].

К таким типам триггерирующих интенций специалисты в области политической лингвистики относят «триггеры-мнения» — суждения, транслируемые чиновниками, депутатами и иными лидерами мнений; «триггеры-предложения» — умозаключения вероятности от государственных лиц и индивидуальные и групповые «триггеры-реакции» на мнения и предложения [Руженцева и др. 2020]. Публичный триггер может выражаться в виде острых провокативных ситуаций и может быть направлен на получение конкретной эмоциональной реакции от широкой аудитории [Еременко и др. 2021].

Конфликт является не обязательной, но вероятной реакцией на триггер и без триггера состояться не может. Это позволяет нам обозначить следующее, сложившееся в традиции критического анализа понимание этого явления: триггеры конфликта — это внезапно срабатывающие факторы, случившиеся или предполагаемые события, иные неожиданно происходящие изменения, которые вызывают резко негативную реакцию акторов, «запускают» конфликт либо переводят конфликт в активную фазу, продвигают его в сторону эскалации, стремясь тем самым «отменить» или смягчить последствия нежелательных изменений для акторов.

Критические способности и критический момент. Расширение концептуальных рамок

По всей видимости, главный мотив российских исследований городского конфликта сегодня — конструирование теоретических рамок его анализа. Потребность в его комплексном осмыслении в контексте городских изменений показывает определенное смещение внимания с субъектов конфликтных отношений — городских движений [Клеман 2013; Блинкин и др. 2018], городского активизма [Печенков и др. 2021] — к городским конфликтам как целостному явлению. При всем многообразии апробируемых концептуальных рамок почти все они опираются или содержат в своем основании метаконцепт «пространство», позволяющий соединить в той или иной интерпретации важные компоненты: акторов, их позиции, иерархии, структурные характеристики конфликтных взаимодействий и ресурсы. В попытке уловить одновременно структуру и изменчивость, динамизм формирующихся альянсов и противодействий, конфликтные пространства наделяются свойствами связанных арен [Jaspeg 2015; Желнина и др. 2021], полей [Флигстин и др. 2022], городских режимов [Mossberger et al. 2001; Бедерсон и др. 2021], «сцен» [Тевено и др. 2013], событий [Тыканова и др. 2022].

В процессе уточнения границ конфликта исследователи фиксируют его «начало», связывая с «корнями», которые темпорально могут быть весьма удалены [Желнина и др. 2022]. Но как устроен процесс перехода к открытому конфликту? Что побуждает конфликт случиться здесь и сейчас?

Определенные наброски схем такого перехода, имеющих потенциал для рефлексии, видятся в нескольких подходах: концепции критической способности прагматической социологии Л. Тевено и Л. Болтански и теориях поля Н. Флигстина, Д. Макадама.

С точки зрения Л. Тевено и Л. Болтански, в момент осмысления разногласия «человек, понимающий, что что-то не так, редко хранит

молчание. Чаще всего он не оставляет свои чувства при себе». Это понимание означает для человека невозможность жить так дальше и стремление обозначить проблему [Тевено и др. 2013]. Проявление этого недовольства временно и вариативно, в диапазоне от «сцены» до «спора». Имманентно оно содержит в себе триггерную ситуацию: раздражитель и реакцию на него и трансформируется в «критический момент — это тот самый момент, когда разногласие становится очевидным» [Тевено и др. 2013: 74]. Различия — в степени легитимации реакции на раздражитель. Сцена — спонтанный процесс обмена в режимах критики и оправдания может принимать разные формы, начиная с пререканий и заканчивая насилием, в отличие от спора, который представляет собой правовой процесс. Важный аспект: акторы, ориентированные на достижение конвенции, стремятся к эквивалентности, координации действий, что ориентирует их на выбор по возможности и «с учетом личностной и локальной подоплеки» [Тевено и др., 2013: 69] стратегии «спора», с присущей ей системой объективированных правил.

Со своей стороны, Н. Флигстин и Д. Макадам скорее фокусируются на осмыслении связи между интерпретацией дестабилизирующих изменений, осуществляемых игроками и приводящих к конфликту, а также имеющихся у них представлениях о его развитии как возможности или серьезной угрозе. «Коллективное отнесение события к угрозам или возможностям само по себе не означает начала спора», — отмечают они. Для этого требуется, чтобы те, кто увидел их, располагали организационными ресурсами, необходимыми для поддержания и мобилизации действия, чтобы усилилось взаимодействие, включающее использование инновационных и ранее запретных правил и форм коллективного действия [Флигстин и др. 2022].

Конструируя момент перехода к конфликту, оба подхода расширяют возможности понимания этого процесса, акцентируя внимание на вариативных и интерпретативных аспектах действий. Однако конструирование процесса перехода к открытому публичному конфликту возвращает нас к проблеме выделения и описания его механизма. В этом плане «триггер» как концепт востребован, если конфликт осмысливается через динамические характеристики и необходимо понимание связи между событием/изменением и реакцией на него в перспективе всего конфликта, если весь конфликт или конфликтные эпизоды есть пролонгированный или периодически воспроизводимый критический момент. В силу того, что вычленить весь диапазон триггеров и триггерных ситуаций для публичного конфликта или его событийной компоненты на уровне города часто бывает непросто, считаем перспективным опереться на эмпирический материал города, способного относительно регулярно производить конфликты.

Стратегия и методы исследования

Для осмысления места триггера в городском конфликте представляются перспективными линзы прагматической социологии Л. Тевено и Л. Болтански, а также городской морфологии [Bhavnani et al. 2019]. Им свойственно внимание к ситуациям, «в которых привычный порядок вещей подвергается сомнению или критикуется» [Тевено и др. 2013], к формам существования города и собственно городского конфликта, процессам трансформации пространственных и структурных характеристик. Ориентация на достижение прагматического результата — изменений в исследуемой среде — и составляет предмет их анализа, что позволит определить подходящие инструменты влияния на конфликт.

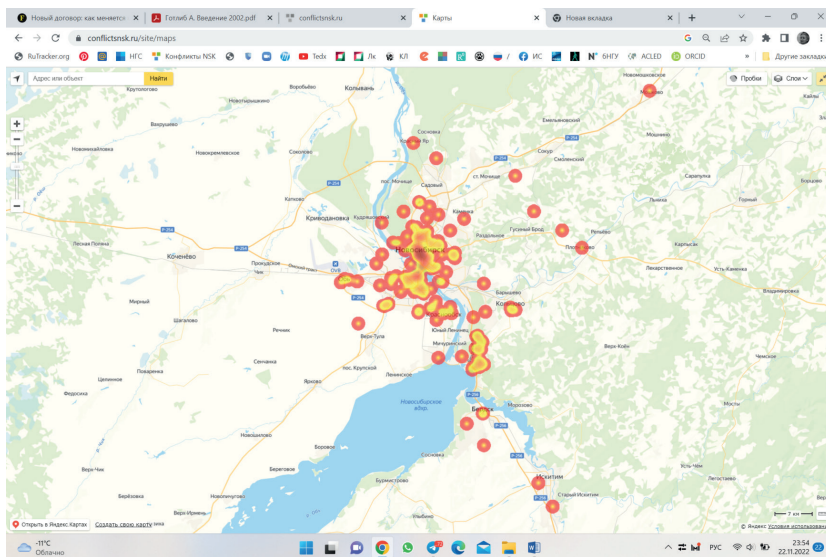
Объект эмпирического исследования — городские конфликты Новосибирска, крупнейшего муниципального образования России. Ему свойственны как типичные проблемы крупных городов мира (высокая миграционная мобильность, дефицит территорий, загрязнение, активные снос и застройка), так и проблемы, характерные для периферийных российских миллионников (недофинансирование, ограниченная самостоятельность местных органов власти в принятии решений). Это — город-миллионник с высокой конфликтной, протестной активностью и живым гражданским обществом. В отличие от многих крупных городов России он не имеет четкой экономической специализации, поэтому в нем представлены конфликты, которые генерируются проектами разных экономических сфер. Все это позволяет рассматривать Новосибирск как модельный город в плане состояния и перспектив развития городских конфликтов, что подтверждают и аналитики: Новосибирску последних лет (2015–2020 гг.) свойственен конфронтационный городской режим с высокой степенью политической конкуренции и нефрагментированным бизнесом [Бедерсон и др. 2021].

Эмпирической базой исследования стала Геоинформационная база данных конфликтов Новосибирской агломерации (<https://conflictsnsk.ru>), разработанная авторами статьи (рис. 1). Ее наполнение осуществляется с помощью геокодирования случаев городских конфликтов. В базе фиксируются выявленные ситуации с признаками конфликтов, которые по укрупненной схеме можно описать: конфликт/общая характеристика = триггер/реакция + событие + событие + ... + акторы, включая сообщество, сформировавшееся в конфликте или вовлеченное в конфликт (при наличии). Каждый из выделенных компонентов дифференцируется еще по ряду оснований, среди которых объект, повестка, позиции, формы репрезентации, исход конфликта и пр. [Скалабан 2021]. На момент загрузки данных для настоящего исследования в базе имелись кейсы разной

степени наполненности по 217 конфликтам, структурированные описания 385 составляющих их событий за последние десять лет. Сведения по каждому из конфликтов в открытых источниках существенно различаются по полноте данных, что затрудняет их сравнение по всем компонентам, особенно таким, как стоимость проекта, ставшего триггером конфликта (для тех ситуаций, где это было уместно), уровень резонанса конфликта. В конфликтах выделен 191 триггер.

Рисунок 1. Тепловая карта конфликтов Новосибирской агломерации 2011–2022

Fig. 1. Heat map of the of conflicts in the Novosibirsk agglomeration 2011–2022



199

Случаи конфликтов методом качественно-количественного контент-анализа медиатекстов, социальных сетей с применением информационной автоматизированной системы мониторинга Scan-interfax.ru и сервиса статистики и аналитики контента сообществ социальных сетей (Popsters)¹. Исследуемая совокупность постов выделялась в социальной сети «ВКонтакте» (VK). Это обусловлено: популярностью использования площадки (возросла активность авторов, количество публикаций достигло 50 млн в день); ее «раз-

1 Вопреки устоявшимся представлениям, что социальные сети отражают всю городскую событийность, анализ сети VK показал, что из 172 конфликтов, прошедших проверку на присутствие в социальных сетях, 21% (35 из 172) конфликтов, появившихся в СМИ, в этой социальной сети не обсуждается.

воротом» в сторону формирования комьюнити, дискуссионной площадки, пространства воспринимающих конфликт¹.

Триггеры городских конфликтов: проявление и логика эскалации

Если отталкиваться от концепции триггера, то ситуация возникновения городского или локального публичного конфликта может выглядеть так: будучи «спусковым крючком» предстоящих изменений в пространстве и времени, триггер проявляется либо в виде открытых публичных событий (презентации проекта, начала строительных работ, премьеры спектакля или открытия выставки, общественной акции) или изменений, происходящих в городской среде. Они попадают в поле зрения потенциального актора, способного инициировать конфликт, непосредственно через его участие в событиях или опосредованно, через новости, документы, слухи, изменение режимов пользования, доступа к инфраструктуре.

В том и другом случае, чтобы стать конфликтом, событие интерпретируется горожанами, его потенциальными акторами, как угроза изменения городского пространства или снижения качества жизни. Чаще всего это происходит тогда, когда нарушается привычный порядок действий, исключается усвоенный способ его прежнего/желаемого использования или требуется переопределение собственников давно «присвоенного» пространства или ресурса. Случившееся событие позволяет акторам-адресатам осознать меру риска для актуальной ценности/ресурса — от ограничения использования до его полной потери и, возможно, даже обозначит сроки, в которые это может произойти. Но это осознание как изменение режимов вовлеченности редко происходит одновременно, поскольку событие приобретает триггерные свойства не тогда, когда оно случилось, а когда оно было воспринято как проблемное, выраженное в стремлении к отказу или сопротивлению. Таким образом, неопределенность поступков и действий присуща обеим сторонам.

Инициированное девелопером (инициирующий актор, адресант) появление строительного забора в непосредственной близости от жилого дома на месте, где в перспективе планировался школьный стадион, запускает коллективную конфликтную реакцию со стороны жителей соседних домов (воспринимающий актор, адресат) только тогда, когда они интерпретируют этот забор как сигнал запуска «точечного» строительства, к школе отношения не имеющего (триггерная ситуация) [K1].

1 Brand Analytics. «Как изменились соцсети в марте 2022 года». URL: <https://br-analytics.ru/blog/social-media-march-2022/>

Но свойствами неопределенности и неприемлемости, то есть триггерным потенциалом обладают не только действия в отношении «присвоенных» горожанами объектов, но и процедуры по реализации прав жителей на общественное участие: отказ в сотрудничестве или взаимодействии, недопуск/неприглашение оформившейся группы пользователей — противников изменений к обсуждению/презентации проекта, отсутствие информирования о проекте, полноценных переговоров, указание на недостаточный статус, компетентность или авторитет участников, стремящихся разрешить проблему.

Интерпретация изменений как дестабилизирующих не всегда прогнозируема и может стать реакцией горожан даже на рутинные, с точки зрения специалистов, действия. Плановый снос (в перспективе замена) старых деревьев во дворе по причине их возраста и аварийности без должного информирования может быть воспринят жителями как прямая или косвенная угроза подготовки строительной площадки под точечную застройку.

Общественная реакция на триггер как перспективу городского конфликта всегда проявляет себя через публично оформленные эмоции: недовольство жителей, зафиксированное в социальных сетях, местной прессе или эмоции вкупе с активными действиями в режиме «спора» — от писем в прокуратуру до режима «сцены» нелегитимных митингов и блокирования проездов к месту строительства спецтехники. Однако реакция на триггер может допускать и деэскалирующий эффект. Воплощение такого эффекта может быть достигнуто посредством опросов или сбора подписей, когда на первом этапе действия расцениваются как «выход негативных настроений», а на завершающем могут быть приняты как реальный аргумент к деэскалации и затуханию конфликта, переопределения ситуации как приемлемой.

Несмотря на то что детальное соотнесение режимов оправдания сторон в инициируемом конфликте авторам статьи еще предстоит, предварительный анализ риторики в отобранных из массива данных конфликтах с «зеленой» (экологической) повесткой показывает, что наибольшие тревоги горожан — адресатов триггеров связаны с выходом ситуации на пределы привычного и усвоенного: необратимостью изменений; разрушением привычности, эстетики места; в градостроительных конфликтах — с беспокойством усиления давления на существующую социальную инфраструктуру, качеством и рисками эксплуатации жилищно-коммунального комплекса, выражаемую через риторику безопасности; перспективой общего снижения качества жизни через потерю важных городских ресурсов. Поэтому уже в условиях триггерной ситуации со свойственным ей языком отрицания и эмоций запускается процесс поиска приемле-

мости между сторонами: уточняются позиции адресантов, заявляемые ими проблемы переводятся на «нормативный» и «технический» языки, трансформируются в вопросы законности создания/функционирования объектов и целесообразности их функционирования для тех или иных групп горожан или решения поставленных задач.

На тенденцию апелляции жителей к нормативным стандартам справедливости указывали и Тевено с Болтански [Хархордин 2007: 36]. В контексте драматургии конфликта это выглядит как стремление отчасти преодолеть несводимость друг к другу стандартов справедливости, то есть перевести «сцену» в «спор», объединившись в один мир. Однако используемые аргументы горожан как адресантов триггеров резонируют не столько с риторикой рынка (например, девелоперов), сколько претендуют на созвучность с риторикой органов власти, которые стабильно воспринимаются жителями как арбитры или ресурс для решения проблемы. Взаимодействие по проблеме начинается с «обращений», «жалоб» в органы исполнительной, судебной или законодательной власти. Механизмы влияния на структуры власти институционально устойчивы и понятны. Реакция на триггер в виде протеста или блокирования техники происходит уже в условиях стремительно разворачивающихся триггерных ситуаций. Болтански и Тевено определяют такие действия, как разоблачение или обесценивание позиций другой стороны, что позволяет расширить сферу выражения несогласия [Болтански и др. 2013: 334].

В случаях сохранения режима «спора» адресанты скорее стремятся к эквивалентности режимов коммуникации, даже если их требования с позиций «власти» и «рынка» кажутся последним неадекватными.

«Хотим, чтобы наш лес никаким образом не был порублен. Если вдруг эта комплексная застройка будет осуществлена, пострадает весь жилой массив. У нас на Шлюзе нет спортивного комплекса, нет места, где могла бы отдохнуть молодежь. Наша жемчужина — лес. Кроме того, если будет построен очередной многоквартирник, у нас еще острее встанет вопрос парковки автомобилей, а наши квартиры в старых домах резко упадут в цене» [И1].

Анализ кейсов показывает, что триггерные ситуации могут возникать на разных этапах конфликта, продвигая его по ступеням эскалации. Динамика конфликта позволяет выделить последовательно формирующиеся типы: *триггер риска, манифестирующий и эскалирующий триггеры.*

Внезапно произошедшее в городе одиночное событие редко становится триггером, исключая чрезвычайные происшествия социального, природного и техногенного характера, коллективно определяемые общественностью как «трагедия». В большинстве случаев триггерному событию предшествуют ряд иных источников напряжения или событий, которые можно определить, как *триггеры риска:*

факторы или события, способные оказать влияние на общественные настроения и устойчивость системы управления на латентной стадии конфликта.

Информация о списании мэрией значительных долгов за аренду земли крупной строительной компании сама по себе может не привести к городскому конфликту и стать триггером риска. Но в условиях понижения качества жизни горожан или деградации городской среды, когда недостаток ресурсов для развития города становится критическим и очевидным, эти действия могут стимулировать рост негативных общественных настроений, публичную критику муниципальных органов власти [К2].

Вероятность перехода в открытый конфликт увеличится в случае обострения социальных проблем одновременно в разных мирах: на застроенных территориях в «пространствах жизни» горожан, открытой конкуренции политических и экономических групп в публичной сфере. В этом случае несколько триггеров риска могут накладываться друг на друга, усиливая социальную чувствительность и повышая вероятность трансформации одного из них в манифестирующий триггер.

Таковым может стать публично обозначенное событие или ряд связанных событий (информация об изменении правил, действия по началу реализации проекта, информация о банкротстве строительной компании и пр.), которые вызывают открытую негативную или противоречивую общественную реакцию и влекут за собой ответные конфликтные действия. Поскольку эти события касаются людей, имеющих опыт и компетентности разных миров, они легче вовлекаются в оспаривание приемлемости испытаний, в которые они вовлечены [Болтански и др. 2013: 337].

Неприятный запах от городского полигона твердых коммунальных отходов вызывает недовольство жителей, отражаемое в новых медиа, местных СМИ и через поток индивидуальных и коллективных жалоб в органы власти с требованием принятия мер (триггерная ситуация). Его длительное сохранение или усиление в условиях климатического отклонения — жары или чрезвычайного происшествия (триггерный фактор), отсутствие приемлемой для горожан реакции со стороны органов муниципальной власти (триггерный фактор) в совокупности выражаются в «повышении ставок» публичной активности: горожане обращаются к президенту России с просьбой закрыть свалку или расселить их дома, к руководителю Следственного комитета России с просьбой проверить законность бездействия мэрии [К3] [К3: Малыгина против горящей свалки, 2022].

Однако сам факт манифестирования конфликта не останавливает формирование триггеров, а скорее стимулирует их появление, особенно в том случае, если акторы-адресаты обладают техническими и организационными ресурсами, мобилизационным потенциалом. Возникает феномен *эскалирующего триггера*, когда триггерными свойствами наделяются конфликтные действия одной или обеих сторон,

реакция на которые позволяет конфликту делать следующий «рыжок», выводя его на новую ступень эскалации или задавая ему новый вектор.

Манифестирующим триггером резонансного новосибирского конфликта стал снос группы елей на одной из центральных улиц города. Протестующие жители окрестных домов обратились в мэрию с требованием отменить это разрешение. Начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Иван Митряшин заявил протестующим, что «никакие вопли жителей в расчет приниматься не будут, потому что есть специалисты (которые приняли решение о сносе. — Прим. авт.)». Это заявление резко увеличило количество публикаций о конфликте в СМИ и соцсетях, переводя конфликт из бытовой и градостроительной в гражданскую и политическую плоскость. Через несколько дней чиновник был снят с должности [К4].

Вариантом эскалирующего триггера может стать дистанцирование от проблемы или отказ от соучастия стороны акторов, наделенных полномочиями или ресурсами конфликторегулирования, например, отказ органов власти от посредничества или арбитражирования конфликта, их бездействие, с точки зрения жителей, отрицание ими факта нарушений.

204

«Население возмущено, что наши запросы в прокуратуру по всем вопросам имеют один результат: “Всё в рамках закона”... Депутаты поддержали население, но оказалось, что все документы подписаны и повернуть строительство коллектора назад почти невозможно» [И2].

Другим вариантом эскалирующего триггера могут стать рассогласование действий органов власти в проектировании изменений на территориях. *«Уровень опасений зашкаливает и ситуация мерзкая. В двух разных документах одновременно кто-то в мэрии подгоняет участок под жилую застройку, пока другой департамент мэрии планирует рядом парк», —* говорит координатор новосибирского общественного движения по защите городской среды от точечной застройки [И3].

Формирование триггерных ситуаций и последующее разрастание конфликта усиливает риски приватизации «голоса» всего сообщества активными группами жителей, вовлеченными в конфликт. Это требует новых неординарных решений по осуществлению общественного консультирования, выделению и пониманию всего спектра позиций пользователей территории.

Режимы формирования триггеров городских конфликтов

Многообразие триггеров на разных динамических отрезках должно быть дополнено определением их предметных различий. Эмпирический материал позволил выделить четыре основных режима, способствующих формированию триггеров, провоцирующих городской конфликт (см. табл. 1):

— *инвестиционный*, вызванный планами, процессом или результатами реализации инвестиционных градостроительных проектов, а также работой коммерческих предприятий или компаний. Ключевым критерием здесь является освоение, привлечение или выгодное размещение инвестиций;

— *институциональный*, вызванный кризисом/дисфункцией или изменениями структуры городских институтов и институций, установленных отношений, образа действия: небуранный снег, пыльные улицы, переполненные поликлиники и школы;

— *нормативный*; строго говоря, этот режим — органическая часть институционального, но часто выступает как самостоятельный режим или объект оспаривания и управленческого воздействия: изменение законов или узаконенных норм городской жизни, распоряжений, продуцируемых органами власти разного уровня. Среди них: утверждение нового генплана города, постановление о создании в городе особо охраняемых природных территорий;

— *ценностный*; характеризуется действиями, часто ответными, направленными на утверждение, отмену или изменение тех или иных ценностей. Среди них: установка памятников «одиозным», по мнению части горожан, историческим личностям; недопустимые с гражданских или религиозных позиций художественные выставки, спектакли и кинопоказы.

205

Таблица 1. Режимы формирования триггеров в конфликтах
Новосибирской агломерации (число триггеров, процентное соотношение)
Formation modes of triggers in conflicts in the Novosibirsk agglomeration
(number of triggers, percentage)

Режим	Институциональный	Нормативный	Инвестиционный	Ценностный
Число триггеров	72 (37,6%)	8 (4,2%)	81 (42,5%)	30 (15,7%)

Наиболее конфликтогенерирующие в Новосибирске — *инвестиционные режимы*, а наиболее конфликтогенная отрасль экономики — строительство (см. табл. 2). Из них почти половина возникает в сфере строительства жилья, остальные в относительно равных пропорциях распределяются между строительством коммерческой недвижимости, транспортной инфраструктуры, социальных объектов, мусорных полигонов. Значительная доля триггерных ситуаций инвестиционного типа — маркер интенсивности развития городской агломерации. Одна-

ко в последние годы в Новосибирске число триггерных ситуаций смещается в сторону увеличения триггеров институционального типа. Это свидетельствует о наличии системных проблем в сферах городского хозяйства и управления, особенно тех аспектов, которые значимы для горожан, что они и демонстрируют конфликтной реакцией на триггер.

Таблица 2. Сферы городской жизни, инициирующие триггеры публичных конфликтов (число случаев)¹
Areas of urban life that trigger public conflicts (number of cases)

Сфера	Управление/нормы	Промышленность	Торговля и услуги	Строительство	Благоустройство	Культурные ценности
Число триггеров	47/13	2	8	71	31	32

206

Анализ триггерных ситуаций инвестиционного типа показывает, что наибольший триггерный потенциал свойственен первым шагам по опубличиванию проекта. Они делают его «видимым» для пользователей места. Информация о возможном начале крупного строительства (покупке участка, наличии и/или инициировании инвестиционного проекта, его презентация, объявление результатов конкурсов) — 68,7 % от всех триггерных ситуаций этого типа; первые открытые действия начала строительства (подготовка строительной площадки, снос, демонтаж имеющихся на территории объектов) — 15,6 %, сам процесс строительства (шум, сверхинтенсивное использование внутриквартальных проездов и дорог) — 10,9 %, результаты строительства в виде новых объектов, неявного назначения — 7,8 %.

Больше трети институциональных триггеров также связано со сферой строительства и ее управлением. Это процедуры и практики перезонирования участков под застройку, выдачи с нарушениями разрешений на строительство.

Триггерным потенциалом обладают действия нормативного характера, инициируемые органами власти разного уровня, включая публичные запреты и отказы, изменения в нормативных документах. Стоит отметить, что на собственно нормативные триггеры приходится только чуть более 4% конфликтов. Возможно, это связано со слабой легитимацией конфликтов.

1 Ряд триггеров, возникая, могут затрагивать несколько сфер экономической, социокультурной жизни города, управления.

Триггерные ситуации ценностного характера встречаются значительно реже, чем инвестиционные и институциональные, однако им свойственен наиболее высокий резонанс в СМИ. В среднем на один ценностный конфликт приходится 35 публикаций, тогда как на инвестиционный и нормативный — 26 публикаций. Высокая резонансность таких конфликтов, предположительно, объясняется тем, что они являются для наблюдателей «лакмусовой бумагой» общественных настроений, демонстрируют расстановку сил в борьбе за утверждение конкурирующих ценностей в городской среде. Чаше общественную реакцию вызывают события, где, по мнению информантов, актуализируются гражданские ценности (право на свободу высказывания, свободу творчества, на участие в принятии решений и т.п.), реже — религиозные и этнические. Логика мобилизации здесь строится по иным схемам. Во-первых, адресаты-реципиенты формируются не по признаку локализации на территории города, а кооптируются из общегородских групп интересов и сопричастности [Willmott 1986]; высока вероятность раскола и противостояния в отношении предмета конфликта внутри городского сообщества и сетевой поддержки конфликтных групп резидентами других городов, разделяющими те или иные ценности и миры, а также поддержание их устойчивости, в том числе через возобновление конфликта или символической памяти о конфликте.

207

Конфликт вокруг запрета оперы «Тангейзер» в Новосибирском оперном театре стал одним из самых резонансных в истории российских городских конфликтов. Он упоминался в СМИ более 25 тысяч раз. Подавляющая часть публикаций пришлась не на местные, а на федеральные СМИ. По количеству публикаций в федеральных СМИ «Тангейзер» превзошел конфликт вокруг шихана Куштау и сопоставим с конфликтом вокруг строительства мусорного полигона близ станции Шиес. Интерес к нему сохранился спустя годы — только в 2022 году он упоминался в основном в материалах федеральных СМИ более 500 раз [K5].

Особняком стоят триггеры — чрезвычайные ситуации, к которым можно отнести гибель детей, затопление территорий, заболевания, а также резонансные события криминального характера (6,3 % от общего числа).

Триггеры в социальной сети

Социальные сети — пространство, с позиций конфликтогенерирования наиболее перспективное, поскольку слабо цензурируется, контент легко приобретает «вирусность» и тиражируется. Источником «раздражения» и реакцией на него способны стать публикации и комментарии как на персональной странице пользователя, так и в социальных медиа с миллионами подписчиков.

Основной инструмент взаимодействия в социальных сетях — пост, размещенный пользователем в блоге, микроблоге или форуме — публичном сообществе, с целью получения публицитного капитала. Постом-триггером становится сообщение, размещенное в социальных сетях и вызвавшее высокий интерес аудитории (индекс ERpost)¹. Оно потенциально способствует запуску действий, реакций или событий в онлайн- и офлайн-среде. Пост в сети может одновременно быть реакцией на триггер и обладать триггерным потенциалом, вызывая реакцию в сетевом сообществе.

Тип паблика и количество его подписчиков определяют границы триггерного воздействия, а оно, в свою очередь, — границы предполагаемого конфликта. В ходе исследования из 191 конфликта, зафиксированного системой мониторинга Scan-interfax, были отобраны 25, где в качестве каналов коммуникации участниками конфликта использовались три типа групп одновременно: собственная группа (часто закрытая), локальная/районная и городская/региональная (открытые) группы. Первые два типа пабликов могут инициироваться акторами конфликта, формировать сообщества на основе собственной группы в социальной сети (внутренняя вовлеченность); третий тип группы обладает характеристиками СМИ (количество подписчиков в них более 3000). Из выделенных 25 конфликтов с помощью системы аналитики Popsters были выявлены 77 публикаций/сообщений-постов с наиболее высоким коэффициентом вовлеченности (ERpost) из представленных во всех трех типах групп. Они получили самые высокие охваты аудитории (число реакций на контент, совершенных одним среднестатистическим подписчиком) и стали триггером городского конфликта. Уровень вовлеченности из общей совокупности постов-триггеров определяется следующими показателями: высокий — индекс не менее 13 (что соответствует не менее 100 тыс. просмотров, не менее 1000 реакций: лайков, комментариев, репостов), средний (индекс от 13 и не менее 5: от 20 тыс. до 100 тыс. просмотров, не менее 300 реакций), показатели ниже 5 — низкий уровень вовлеченности. Анализ содержания отобранных постов-триггеров позволил разделить их на четыре основных типа (см. табл. 3).

Первый тип триггера — сообщения, призывающие к активным реальным действиям с выходом офлайн, или же репортаж о реальных происшествиях (19 постов). Так, пост о массовой проверке документов прихожан в конфликте против строительства мечети набрал

1 Индекс сервиса статистики и аналитики контента сообществ социальных сетей (Popsters) показывает, насколько активно аудитория взаимодействует с контентом аккаунта, и рассчитывается по формуле $ERpost = (\text{лайки} + \text{репосты} + \text{комментарии} + [\text{дизлайки для YouTube}]) / \text{кол-во подписчиков}$.

106 тыс. просмотров. Данные о высоких охватах аудитории сообщений таких типов имеют острый триггерирующий эффект, провоцирующий или эскалирующий конфликт, что и было зафиксировано в большинстве исследуемых случаев. Однако в общем массиве данных выделены 4 поста-триггера, обладающие потенциальным деэскалирующим эффектом, смягчающие конфликт: информация о действиях жителей, например, расчистке территории. Но вовлеченность пользователей здесь в два раза ниже. Самый популярный пост о вывозе мусора из лесопарка набрал 46 000 просмотров.

Таблица 3. Типы постов-триггеров в социальных сетях
Types of Social Media Trigger Posts

Тип поста-триггера	Призыв к действиям/ репортаж с места событий	Поиск решений/ выражение мнений	Публикации документов, решений, медиаматериалов	Высказывания лидеров общественного мнения, их визиты или намерения	Иное
Содержание сообщения	Призыв и информация о событии: митинге, пикете, акции протеста, забастовке, голодовке, призыв к открытому конфликту, вывоз мусора	Тесты, опросы, сбор подписей, подготовка и размещение обращений, мотивационных текстов в поддержку или против	Фотографии, документы: иски, приговоры, экспертизы, решения, тендеры, аукционы, бланки, инструкции и т. д.	Цитата из публичной речи, высказывание на совещании, собрании, в СМИ	Промежуточные этапы по достижению целей конфликтующих
Кол-во постов	19 (24,7%)	11 (14,3%)	25 (32,5%)	13 (16,8%)	9 (11,7%)

Примеры эскалирующего и деэскалирующего постов-триггеров второго типа — сбор подписей против сноса дома известного рок-музыканта 1980-х годов Янки Дягилевой, инициированный сложившимся в сетях активным сообществом, и итоги переговоров мэрии с инициативной группой по превращению ее дома «под снос» в музей. Они также собрали непропорциональное число реакций: сообщение о музее собрало 7251 просмотр, а пост о сборе подписей против сноса — 242 502 просмотра.

Самый популярный тип постов-триггеров (третий тип) — публикация документов, медиаматериалов для придания гласности, опубликование решений чиновников, результатов приговоров, экспертизы, документации на закупки (25 постов). Нейтральное обсуждение возможности временного транзита грузового транспорта через один из микрорайонов был остро эскалирован решением губернатора об отказе в установлении границ охранной зоны (328 090 просмотров).

Четвертый тип поста-триггера: онлайн- и офлайн-активность лидеров общественного мнения. Обращение депутата на основе мнения жителей к губернатору по вопросу строительства мусорного полигона набрало 206 000 реакций. Количество публикаций такого типа, преодолевших 100 тыс. просмотров, — 6 из 13.

Встречаются случаи, когда потенциально конфликтная ситуация и пост о ситуации меняются местами. Пост до события становится популярным после случившегося, и само его наличие формирует или обостряет ситуацию, превращая ее в триггер. Такие посты часто встречаются на персональных страницах политиков, лидеров общественного мнения, чиновников. Например, заявление о недопустимости точечной застройки становится популярным, когда новый объект такого типа вводится в эксплуатацию с присутствием на торжественных мероприятиях чиновника, ранее осуждавшего проекты такого типа.

Общий анализ показал, что отдельная публичная группа физического лица или сформированного в социальных сетях сообщества даже при условии отсутствия статуса зарегистрированного СМИ, но при высоких охватах аудитории способна влиять на ход течения конфликта и его исход. А пост-триггер в условиях конфликта — менять систему информирования, мобилизации, поддержания структуры сетевой группы в конфликте.

Влияние типа триггера на исход конфликта

В отличие от триггерной ситуации, исход публичного конфликта нечасто попадает в фокус внимания СМИ. Исчерпавшая себя кризисность ситуации далеко не всегда интересна медиа. Часть

конфликтов сохраняет открытый характер, и исходы отсутствуют. Поэтому для анализа были отобраны только завершившиеся 154 конфликта, в отношении которых исходы удалось реконструировать.

Вопреки расхожим представлениям, что в публичных конфликтах горожане почти всегда проигрывают, на полное или частичное удовлетворение требований протестующих приходится более 30% всех исходов конфликтов. И именно конфликты, вызванные реакцией жителей на инвестиционный проект, оказываются для горожан особенно результативными (см. табл. 4).

Инвестиционные триггеры стимулировали возникновение более половины тех конфликтов, где требования протестующих были удовлетворены, хотя в случаях с исходом «проблема не решена, затухание конфликта» их доля почти не отличается от другой значимой группы триггеров — институциональных. А вот шансов добиться своих целей в конфликтах с ценностными триггерами у инициаторов конфликта почти нет.

Таблица 4. Исходы завершившихся городских конфликтов
Outcomes of completed urban conflicts

211

Исход конфликта:	Инвестиционный	Институциональный	Ценностный	Нормативный	Всего
Требования инициаторов удовлетворены	27	18	3	0	48 (31%)
Проблема не решена, затухание конфликта	30	34	11	2	77 (50%)
Нейтрализация с помощью административных мер	3	3	7	0	13 (8,5%)
Проблема не решена, силовое решение	4	1	3	0	8 (5,2%)
Проблема урегулирована за счет взаимных уступок	1	0	2	0	3 (2%)

Проблема решена путем переговоров	3	2	0	0	5 (3,3%)
Всего	68 (44%)	58 (37,7%)	26 (16,8%)	2 (1,5%)	154

Анализ случаев показывает, что частные инвесторы (большая часть инвестиций — частные) гораздо более гибкие в выполнении требований протестующих, чем органы власти, особенно если не опираются на безусловную поддержку последних. Они могут изменять границы обсуждаемой повестки, брать больше обязательств на ее периферии и гораздо быстрее проходить бюрократические процедуры. Однако такой тип переговоров часто остается за пределами публичного информационного поля. Вероятно, остановить процесс инвестирования проще, чем запустить процесс преодоления ценностных противоречий или трансформации управленческой культуры и структур.

212

Думается, что причина этого кроется в сформировавшейся культуре и качестве разрешения или урегулирования конфликтов. Это показывает разбор ситуаций, в которых «требования адресантов были удовлетворены». Замечена тенденция: вероятность отмены проекта (негативная цель — ориентация на избегание нежелательных будущих состояний) инвесторами выбирается чаще, чем его изменение и доработка с учетом интересов горожан (позитивная цель — достижение осознанно желательных будущих состояний). Типовой сценарий большинства случаев: протестующие требуют принципиальной отмены реализации проекта в защищаемом месте, и их требования удовлетворяются. В результате в большинстве случаев проекты либо не были реализованы вообще, либо (что реже) была предпринята попытка их реализации в другом месте.

Всего в двух проектах принципиальные требования протестующих были учтены, однако в обоих случаях они не были направлены на отмену всего проекта, а выдвигались некоторые условия, при которых его реализация допустима. Еще два инвестиционных конфликта решены за счет переговоров или взаимных уступок.

Резонансный конфликт вокруг сноса Дома спорта и клуба «Отдых» на улице Богдана Хмельницкого и строительства на его месте высотного жилого комплекса отчасти удалось дезэскалировать за счет ряда уступок со стороны застройщика. Он согласился понизить этажность домов, привести их цветовую гамму в относительное соответствие с архитектурным обликом места, а также пообещал профинансировать строительство муниципального спортивного комплекса взамен снесенного [К6].

На исход конфликта влияет и масштаб инвестиций. Выделение крупных бюджетных средств увеличивает перспективы использования силовых стратегий адресантами в конфликтах. Но если проект реализуется поэтапно, и протест сфокусирован на противостоянии его отдельному фрагменту (этапу) — это повышает вероятность внесения изменений в проект.

Самый низкий процент положительных для протестующих исходов свойственен ценностным режимам формирования триггера в конфликтах с негативными целями: только один закончился полным удовлетворением требований протестующих — отмена строительства мечети в микрорайоне Родники, против которой массово выступили местные жители. Один случай — требования удовлетворены частично: бюст Сталина установили не на общественной, а на частной территории отделения партии КППФ.

Почему у протестующих мало шансов на успех в «ценностных» конфликтах? Мы предполагаем, что конфликты с ценностно нагруженной повесткой обладают высоким потенциалом политизации. Поэтому органы власти предпринимают активные и однозначные действия по их нейтрализации. Одновременно у них низкие перспективы и потенциал разрешения, поскольку конфликтующим свойственно ужесточение позиций.

213

Стоит отметить, что высокая резонируемость части медийной аудитории ценностным триггерам позволяет конфликту быстро выйти за пределы не только города, но и региона. Поэтому такие потенциально триггерирующие проекты требуют особых компетенций при конфликтологическом сопровождении.

Анализ динамики случаев показал, что переговорные практики согласования интересов горожан и инициаторов изменений перспективны на предконфликтных этапах, в ходе работы по преодолению триггеров-рисков. Манифестирующий триггер существенно ужесточает позицию адресатов, фокусирует ее на одном аспекте проблемы и резко понижает доверие к адресанту. Дольше всего «окно возможностей» сохраняется для участия в регулировании ситуации судебными органами государственной власти, однако в этом случае согласование интересов сторон уходит на задний план, фокусируя стороны на определении выигравшего/проигравшего.

Заключение

Наше исследование показало, что реакция на триггер во многом определяет и характер развертывания конфликта. Характер и режимы формирования триггеров, триггерных ситуаций позволяют прогнозировать логику развития городского конфликта, отчасти оценить вероятность того или иного исхода. Сама логика и драма-

тургия триггерирующей ситуации наглядно демонстрирует значимость первых действий в конфликте. Они определяют его дальнейший сценарий, уровень резонанса и потенциал вовлечения в конфликт новых групп акторов. Чем чаще в конфликте возникает эскалирующий триггер, тем меньше вероятность установления эквивалентности, шансов перейти от критики к компромиссам — акторы уже сделали в него эмоциональные и материальные инвестиции.

Содержание исходов показывает, что на публичном уровне доминируют стратегии уступок, отмены проекта или силовых решений, но крайне редко используются открытые коммуникации между сторонами, направленные на поиск совместного решения, что тормозит легитимацию таких практик и формирование культуры конфликторазрешения и регулирования в городской среде.

В городских конфликтах российских мегаполисов преобладает «игра с нулевой суммой», в которой в лучшем случае победитель получает все, а в худшем — никто не получает ничего. Часто выигрывает тот, кто способен показать больший триггерирующий потенциал — значительную силу «голоса» или другие ресурсы, способные заставить оппонента отступить, испугавшись эскалации и новых рисков.

Но работают ли такие конфликты на развитие городов? Ведь отказавшийся от проекта инвестор не приносит налоговые деньги в городской бюджет, а перенос проекта увеличивает риски новых городских конфликтов, что наблюдается сегодня в Новосибирске в сфере выбора места и строительства новых мусорных полигонов. В долгосрочной перспективе регулярные срывы инвестиционных проектов вредят деловой репутации города, что не может не сказаться на его развитии.

Конфликт является неизбежным аспектом развития и изменений в городских условиях, но важный вопрос заключается в том, как и куда разворачивается его вектор: деструктивно через насилие или более конструктивно через те или иные формы участия и дебаты. По мнению Л. Тевено и Л. Болтански, профилактика насилия в конфликтах такого типа — внимание к общему для участников конфликта определению соответствующих ситуации объектов, степени их уместности и релевантности [Болтански и др. 2000: 68]. Только через нормативно закрепленные и прозрачные процедуры согласования интересов, посредничество референтных для субъектов фигур, процессуально и содержательно ясное арбитражное «сцена» трансформируется в «спор». В противном случае группы будут бросать вызов легитимности, авторитету и дееспособности городских органов власти, что в некоторых случаях может привести к насилию, озаглаживает собой разрыв локального общественного

договора и по мере ослабления общественной вовлеченности может негативно влиять на качество городских пространств, инфраструктуру [Graham 2009]. Будучи часто по своей природе асимметричным, урегулирование городского конфликта требует внимания к поддержанию и воспроизводству сформировавшихся локальных социальных порядков [Флигстин 2022], сетей и связей, разрушение которых резко увеличивает вероятность насилия.

Список информантов и кейсов¹

И1. Кейс: Вырубка леса на ул. Сиреневой, 2013–2018; жительница микрорайона «Шлюз», участница пикета в защиту «Шлюзовского леса».

И2. Кейс: Лесопарк имени Синягина, 2018–2020; один из лидеров локального оборонительного сообщества, организатор митинга в защиту Лесопарка им. Синягина.

И3. Кейс: Застройка поймы реки Каменки на улице Лежена; координатор городского общественного движения.

К1. Кейс: Строительство бизнес-центра на территории лицея «Надежда Сибири», 2018–2020.

К2. Кейс: Задолженность компании «Дискус» перед городским бюджетом, 2016–2022.

К3. Кейс: Жители улицы Малыгина против горящей свалки, 2022.

К4. Кейс: Вырубка елей у здания Западно-Сибирской железной дороги, 2013.

К5. Кейс: Православные активисты против оперы «Тангейзер», 2015.

К6. Кейс: Снос Дома спорта и клуба «Отдых», 2016.

215

Библиография / References

Бедерсон В., Шевцова И. (2021) Застройщики, партия власти и немного конкуренции в российских миллионниках: типология городских режимов в 2010-е гг. *Журнал исследований социальной политики*, 19(2): 285–300.

— Bederson V., Shevtsova I. (2021) Builders, the ruling party and some competition in Russian millionaires: a typology of urban regimes in the 2010s, *The Journal of Social Policy Studies*, 19(2): 85–300. — in Russ.

Блинкин М. Я., Воробьев А. Н. (2018) Городское движение и планировка городов, *Городские исследования и практики*, 3(2): 17–26.

¹ На основе данных зарегистрированной «Геоинформационной базы данных конфликтов Новосибирской агломерации «Конфликты NSK», свидетельство на программу для ЭВМ № 2021622760 от 02.12.21, URL: <https://conflictsnsk.ru/>

— Blinkin M.Ya., Vorobyov A. N. (2019) Urban traffic and city planning, *Urban Research and Practice*, 3(2): 7-26. — in Russ.

Болтански Л., Тевено Л. (2000) Социология критической способности, *Журнал социологии и социальной антропологии*, (3) 3: 66-83.

— Boltanski L., Théveno L. (2000) Sociology of Critical Ability, *Journal of Sociology and Social Anthropology*. (3) 3: 66-83. — in Russ.

Болтански Л., Тевено Л. (2013) *Критика и обоснование справедливости: очерки социологии городов* / пер. с франц. О. В. Ковенева; под науч. ред. Н. Е. Копосова. М.: Новое литературное обозрение: 576.

— Boltanski L., Theveno L. (2013) *Criticism and justification of justice: essays on the sociology of cities* / transl. from French O. V. Koveneva under scientific. ed. N. E. Kopoosova. Moscow: New Literary Review. — in Russ.

Клеман К. (ред.) (2013) *Городские движения России в 2009–2012 годах: на пути к политическому*, М.: Новое литературное обозрение: 544 с.

— Clement K. (ed.) (2013) *Urban movements in Russia in 2009–2012: on the way to the political*. Moscow: New Literary Review. — in Russ.

Дейк Т. Ван (2013) *Дискурс и власть: репрезентация доминирования в языке и коммуникации* / пер. с англ. Е. А. Кожемякина, Е. В. Переверзева, А. М. Амадова. М.: Книжный дом «Либроком»: 344.

— Dyck T. Van (2013) *Discourse and power: representation of dominance in language and communication* / transl. from English. E. A. Kozhemyakina, E. V. Pereverzeva, A. M. Amatova. Moscow: Knizhny dom “Librokom”. — in Russ.

Еременко Ю. А., Жаворонкова З. А. (2021) Эмоциональные триггеры внимания и запоминаемости визуального политического контента, *Вопросы политологии*, 1 (65): 130-139.

— Eremenko Yu. A., Zhavoronkova Z. A. (2021) Emotional triggers of attention and remember of visual political content, *Issues of political science*, 1 (65): 130-139. — in Russ.

Желнина А. А., Семенов А. В., Тыканова Е. В. (2022) Методология изучения городских конфликтов: уровни масштабирования, *Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены*, 5: 49-71.

— Zhelnina A. A., Semenov A. V., Tykanova E. V. (2022) The Methodology for Studying Urban Conflicts: Levels of Scaling, *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes Journal*, 5: 49-71. — in Russ.

Желнина А. А., Тыканова Е. В. (2021) «Игроки» на «аренах»: анализ взаимодействий в городских локальных конфликтах (случай Санкт-Петербурга и Москвы), *Журнал исследований социальной политики*, 19(2): 205-222.

— Zhelnina A. A., Tykanova E. V. (2021) “Players” in “Arenas”: A Study of Interactions in Local Urban Conflicts (A Case Study of Saint Petersburg and Moscow), *The Journal of Social Policy Studies*, 19(2): 205-222. — in Russ.

Паченков О., Воронкова Л. (2021) «Новый городской активизм» и «публичная политика» в России (на примере Санкт-Петербурга), *Журнал исследований социальной политики*, 19(2): 253-268.

- Pachenkov O., Voronkova L. (2021) "New Urban Activism" and "Public Policy" in Russia (case of Saint Petersburg), *The Journal of Social Policy Studies*, 19(2): 253-268. — in Russ.
- Руженцева Н. Б., Кошкарлова Н. Н., Чудинов А. П. Триггеры в дискурсе власти и их отражение в СМИ, *Язык и культура*, (50): 99-114.
- Ruzhentseva N. B., Koshkarova N. N., Chudinov A. P. (2020) Triggers in the discourse of power and their reflection in the media, *Language and Culture*, (50): 99-114. — in Russ.
- Скалабан И. А. (2021) Инструменты анализа сообществ в городских конфликтах (на примере г. Новосибирска), *Caucasian Science Bridge*, 4 (14): 138-142.
- Skalaban I. A. (2021) Community analysis tools in urban conflicts (on the example of Novosibirsk), *Caucasian Science Bridge*, 4 (4): 138-142. — in Russ.
- Скалабан И. А., Сергеева З. Н., Лобанов Ю. С. (2022) Защищающиеся. Оборонительные функции сообществ в городских конфликтах (на материалах г. Новосибирска), *Мир России*, 31 (4): 33-56.
- Scalaban I. A., Sergeeva Z. N., Lobanov Yu. S. (2022) The Defendants. The Defensive Functions of Communities in Urban Conflict (Based on a Case Study in Novosibirsk), *Mir Rossii*, 31 (4): 33-56. — in Russ.
- Скалабан И. А., Сергеева З. Н., Лобанов Ю. С., Волченко С. Ю. (2022) Курок конфликта. Триггер: опыт концептуализации и категоризации, *Society and Security Insights*, 5 (3): 66-86.
- Skalaban I. A., Sergeeva Z. N., Lobanov Yu. S., Volchenko S. Yu. (2022) The Trigger of Conflict. Trigger: Experience of Conceptualization and Categorization, *Society and Security Insights*, 5 (3): 66-86. — in Russ.
- Флигстин Н., Макадам Д. (2022) Теория полей, *Экономическая социология*, 23 (1): 60-92.
- Fligstin N., McAdam D. (2022) Field theory, *Economic sociology*, 23 (1): 60-92. — in Russ.
- Хархордин О. В. (2007) Прагматический поворот: социология Л. Болтански и Л. Тевено, *Социологические исследования*, 1: 32-42.
- Kharkhordin O. V. (2007) Pragmatic turn: sociology of L. Boltanski and L. Thevenot, *Sociological research*, 1: 32-42. — in Russ.
- Юмашев А. В. (2018) Триггерная концепция стресса: роль стресса в этиологии и патогенезе психосоматических нарушений, *АНИ: педагогика и психология*, 23(2): 441-445.
- Yumashev A. V. (2018) Trigger concept of stress: the role of stress in the etiology and pathogenesis of psychosomatic events, *API: Pedagogy and Psychology*, 2(23): 441-445. — in Russ.
- Bhavnani R., Reul M. (2019) *The Morphology of Urban Conflict. Global Challenges: New Grammars of War: Conflict and Violence in the 21st Century Issue*, Geneva Graduate Institute, 5. URL: <https://globalchallenges.ch/issue/5/the-morphology-of-urban-conflict/>
- Boltanski L. (2009) *De la critique. Précis de sociologie de l'émancipation*, Paris.
- Boysen G. A., Wells A. M., Dawson K. J. (2016) Instructors' Use of Trigger Warnings and Behavior Warnings in Abnormal Psychology, *Teaching of Psychology*, 43(4): 334-339.

Cooley C. H. (1897) Genius, Fame and the Comparison of Races, *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 9: 317-358.

Herbert S. (2017) *Conflict analysis: Topic guide*. Birmingham. UK: GSDRC, University of Birmingham, URL: <https://gsdrc.org/wp-content/uploads/2017/05/ConflictAnalysis.pdf>

Jasper J. M. (2021) Linking Arenas: Structuring Concepts in the Study of Politics and Protest, *Social Movement Studies*, 20(2): 243-57.

Mossberger K., Stoker G. (2001) The Evolution of Urban Regime Theory: The Challenge of Conceptualization, *Urban Affairs Review*, 36 (6): 810-835.

O'Neill B. S., Cotton J. L. (2017) Putting the Horse Before the Cart: Understanding the Influence of Trigger Events on Justice Perceptions and Work Attitudes, *Journal of Managerial Issues*, 29 (4): 343-364.

Park R. E. (1915) The City: Suggestions for the Investigation of Human Behavior in the City Environment, *American Journal of Sociology*, 20(5): 577-612.

Ropers N. (2004) *Transforming Ethnopolitical Conflict: the Berghof Handbook*, Berlin: VS Verlag für Sozialwissenschaften Wiesbaden: 466.

Schmid Alex P. (2000) *Thesaurus and glossary of early warning and conflict prevention terms*, Forum on Early Warning & Early Response: 134.

Thévenot L., Jacobs A. (2014) Enlarging Conceptions of Testing Moments and Critical Theory: Economies of Worth, On Critique, and Sociology of Engagements, *The Spirit of Luc Boltanski. Essays on the "Pragmatic Sociology of Critique"*, Simon S., Turne B. (eds.), London: Anthem Press: 245-261.

Willmott P. (1986) *Social Networks, Informal Care and Public Policy*, London: Policy Studies Institute, 1986: 134.

Woods R. (1914) The Neighborhood in Social Reconstruction, *American Sociological Society*, (19): 577-591.

Рекомендация для цитирования:

Скалабан И. А., Лобанов Ю. С., Сергеева З. Н., Волченко С. Ю. (2023) «Уровень опасений зашкаливает!»: как изменения становятся триггерами городских конфликтов. Кейс г. Новосибирска. *Социология власти*, 35 (1): 190-218.

For citations:

Skalaban I. A., Lobanov Yu. S., Sergeeva Z. N., Volchenko S. Yu. (2023) 'The Level of Fears Is off the Scale!': Triggers of Urban Conflicts in the Context of Municipal Management (Novosibirsk Case Study). *Sociology of Power*, 35 (1): 190-218.

Поступила в редакцию: 18.01.2023; принята в печать: 27.02.2023

Received: 18.01.2023; Accepted for publication: 27.02.2023

Особенности формирования гибридных рисков в российской публичной сфере²

doi: 10.22394/2074-0492-2023-1-219-241

Резюме:

Исследования в современной общественной науке нередко обращаются к проблеме гибридизации политики: от серой зоны между авторитаризмом и демократией, до роли новых медиа и неформальных практик в восстановлении мира в постконфликтных обществах. Научный вклад данной статьи обусловлен рассмотрением проблемы риск-рефлексии в публичной сфере с точки зрения различных акторов: государства, общественных движений и граждан. Опираясь на теории рефлексивной модернизации У. Бека и космополитики, автор развивает концепцию гибридизации рисков, в рамках которой выделяются различные модели гибридизации рисков в публичной сфере и политике: диффузия, доминирование, слом иерархии и каузация. На материалах исследований эпидемии COVID-19 в ходе проведенного анализа практик российского государства и особенностей массового сознания автор показывает, как процесс гибридизации риска соотносился со снижением согласованности институтов государственной власти и трансформацией политического отчуждения в российском обществе. Связь между моделями гибридизации рисков и формированием когнитивных картин мира рассмотрена через практики фреймирования общественных движений и протестных кампаний, что иллюстрируется на примерах отдельных общественных движений и публичных требований части массовых акций 2019-2020 гг. в России. Анализ эффектов гибридизации дается в контексте проблемы государственного управления рисками через рассмотрение делиберативной и авторитарной моделей для управления восприятием рисков. По итогам анализа делается вывод о высоких издержках поддержания согласованности восприятия рис-

219

1 Никифоров Александр Андреевич — кандидат политологических наук, доцент кафедры этнополитологии СПбГУ. Научные интересы: проблемы политической нестабильности и государственной состоятельности, революций и социальных движений. E-mail: nikiforov@politpro.ru

2 Статья подготовлена при поддержке Российского научного фонда, проект No 22-78-10049 «Государство и гражданин в условиях новой цифровой реальности».

The article was prepared with the support of the Russian Science Foundation, project No. 22-78-10049 "State and Citizen in the New Digital Reality".

ков в модели управляющего (авторитарного) знания по мере усложнения общественной жизни и распространения цифровых медиа, выступающих как мультипликатор риск-рефлексии.

Ключевые слова: общество риска, риск, размышление о риске, гибридизация, знание, космополитика, эпидемия, COVID, цифровизация

Alexander A. Nikiforov¹

Saint-Petersburg State University, Russia

Specificities of Hybrid Risk Formation in the Russian Public Sphere

Abstract:

Contemporary research in social science often turns to the problem of the hybridization of politics: analyzing the “gray zone” between authoritarianism and democracy; defining the role of new media, and understanding informal practices in restoring peace in post-conflict societies. The contribution of the present article is based on an investigation of the concept of risk hybridization to explore the reflection on risk in the public sphere for the state, social movements, and citizens. The sociology of U. Beck with the theory of reflexive modernization — as well as the concept of cosmopolitics — are used to explore different effects of risk hybridization models (diffusion, dominance, breakdown of hierarchy and causation) for the public sphere and politics. The author used materials on the COVID-19 epidemic — practices of the Russian state and the change of mass consciousness — to analyze interrelations between the process of risk hybridization and decrease in the coherence of state institutions and the transformation of political alienation in Russian society. The relationship between risk hybridization models and the formation of collective cognitive maps is considered through the practice of framing social movements and protest campaigns. Said nexus is illustrated by the Russian cases of social movements and specific public claims of mass protests actions in 2019-2020. The state governance perspective is used as an framework for a discussion of the effects of risk hybridization on limitations of deliberative and authoritarian models for managing of risk, as well as its perception by social groups. In the conclusion, the author highlights the high cost of maintaining the consistency of reflection on risk in the model of managing (authoritarian) knowledge. Moreover, the author discusses the rising complexity of social reality and the spread of digital media that multiplies reflection on risk.

Keywords: risk society, risk, reflection on risk, hybridization, knowledge, cosmopolitics, epidemic, COVID, digitalization

1 Alexander A. Nikiforov — candidate of science in political science, associate professor of the faculty of political science of Saint-Petersburg State University. Research interests: political instability and state capacity issues, revolution and social movement study. E-mail: nikiforov@politpro.ru

Введение

Вопрос о гибридизации политики и экономики в политической науке достаточно прочно связан с проблемой пограничных случаев, возникающих на пересечении авторитарного и демократического правлений. Речь идет об адаптации политий через размывание их устойчивых — часто нормативных — оснований за счет гибкой комбинации различных управленческих практик. Дискуссии вокруг экономической теории рентоориентированного поведения [Tullock 1967; Бьюкенен 2015; Аджемоглу, Робинсон 2015], концепции неопатримониализма [Roth 1968; Eisenstadt 1973; Фисун 2010] и гибридных режимов в теории демократизации [Levitsky, Way 2002; Diamond 2002; Меркель, Круассан 2002] рассматривают проблему формирования политического правления, при которой политический режим воспроизводится через противоречивый баланс практик неформального доминирования и современной архитектуры политических институтов. В частности, эта проблема связывается с неустойчивыми разграничениями между политикой и экономикой, поскольку институты права при «капитализме родственников и друзей» или «неовотчинного правления» не создают устойчивой автономии экономической деятельности, потенциально актуализируя вопросы о праве собственности или административной ренты по результатам конфликтов внутри правящего класса [Kenyon, Naoi 2010].

221

В этом отношении можно отметить несколько направлений осмысления политики. С одной стороны, речь идет об ограниченности применения модели либерального порядка, что демонстрирует в том числе и «гибридный поворот» в изучении практик установления мира в постконфликтных обществах [Mac Ginty 2011]. С другой стороны, усложнение общественных отношений и размывание их границ (например, при цифровой трансформации) переводит фокус внимания на изучение квазиинституциональных средств в политике (провокаций, акций против политических противников, фабрикаций ложных обвинений, физических расправ и пр.) [Fieschi, Heywood 2004; Bordinon, Ceccarini 2015], включая их использование на уровне международных отношений в случае исследований гибридной войны [Galeotti 2019].

Исследования цифровых медиа анализируют гибридизацию как характерную особенность современной политики в целом, включая демократические страны. Ложные новости, феномены постправды и новой цифровой дипломатии рассматриваются как новые обстоятельства, которые изменяют сложившиеся отношения граждан, медиа и политики. В качестве следствия отмечается разрушение иерархии в процессах формирования гражданских норм, что размывает основу формирования конвенционального знания о политике [Iannelli 2015; Chadwick 2017; Giusti, Piras 2020].

В этом отношении гибридность публичной сферы может рассматриваться как общая проблематика анализа демократических и авторитарных политических режимов. Это находит отражение в изучении использования социальных медиа при цифровом авторитаризме [Dragu, Luru 2021], равно как и во внимании к феномену политических скандалов, которые рассматриваются как преимущественно атрибут плюрализма в публичной и политической сферах [Tumber, Waisbord 2019].

Для анализа публичной сферы представляется крайне важным определение способов взаимодействия с неопределенностью, когда формулируются границы вызовов/рисков, влияющие на конвенциональное знание о социальном мире.

Речь идет о риск-рефлексии публичных и политических акторов, что является одной из составляющих политического процесса. Если в плюралистической модели политики риск-рефлексия, скорее, имеет характер публичного соперничества (contention) между акторами с последующим согласованием взглядов, то неплюралистические политики в большей степени могут стремиться контролировать/сдерживать риск.

222

В этом смысле целью настоящего исследования является определение связи риск-рефлексии в публичной сфере с политическим процессом через модели гибридизации рисков. Особенности данных моделей иллюстрируются в ходе анализа эпидемии COVID-19, а также деятельности отдельных общественных движений и публичных требований массовых акций 2019–2020 гг. по проблематике гражданских свобод, трудовых прав и экологии в России.

Используемый подход опирается на результаты рассмотрения автором проблемы риск-рефлексии, изложенные в более ранней публикации [Никифоров 2022].

Гибридизация риска: концептуальные основания

В своей классической работе У. Бек, рассуждая о проблеме незнания как научной ограниченности в обществе риска, выводит интересную нить размышления, согласно которой распространение знания и обнаружение наукой рисков лишь усиливают их влияние, поскольку теперь «онаучивание» касается не столько природы и человека, сколько принципов знания, технологий и свойственных этому ошибок. Наука оказывается все более обращена на себя, что направляет ее критику на противоречия между дисциплинами и подходами, что, в свою очередь, ведет к тому, что риски «взламывают традиционные, внутрипрофессиональные, внутридисциплинарные возможности обработки ошибок», заставляя формировать новые отношения между наукой, политикой и обществом [Бек 2001: 241–243].

По мысли социолога, это усугубляется тем, что риск становится «двигателем самополитизации модерна» из-за раздвоения гражданина, который больше не может через институты демократии контролировать изъятые из регулирования процессы в науке и экономической жизни, протекающие автономно и без его ведома [Бек 2001: 278-283].

Таким образом, вошедшее в современную социологию понятие рефлексивной модернизации описывает противоречивые процессы в виде умножения числа публичных агентов и, с другой стороны, роста потребности в оценке рисков из-за увеличивающейся неопределенности.

Если рассмотреть это на уровне агента знания и в категориях пространства-времени, то рефлексивность неразрывно связана с неопределенностью как осознанием возникшего разрыва между принципами действительного настоящего и их изменением в будущем. Это предполагает динамический процесс, в котором происходит множественное отражение некоторой области знания от своих мыслимых вариантов (вероятностей), что соответствует поиску новых способов согласования действительности для сохранения ее целостности (например, обеспечение социальной стабильности общества). Здесь ключевое значение приобретает взаимодействие актора с неопределенностью-риском (фиксация, оценка, ранжирование, управление и пр.), особенно когда мы говорим об установлении нормативных рамок. В этом смысле нововременная модель государства может быть представлена в роли сознания, отчужденного от человека в интересах понимания и управления обществом с позиции общественного блага. Тогда лежащая в основе «общества риска» триада — нелокализуемость, неисчислимость и некомпенсируемость риска — для политических и публичных акторов должна быть преодолена через позиционирование в системе пространственных и временных координат: указаны формальные признаки угрозы, легальные полномочия, сроки и порядок управления.

223

В первую очередь речь идет о государстве, чья инфраструктурная власть служит обеспечению рациональности понимания и достижения общего интереса. Здесь следует обратить внимание на ту часть понятия правительственности М. Фуко, которое связано со стратегиями формирования знаний об объектах регулирования [Фуко 2003], что в условиях рефлексивности означает постоянное стремление преодолевать неопределенность области управления.

Рассмотрение политического управления через пространственное измерение знания подводит нас к концепции космополитики, предложенной И. Стингерс и Б. Латуром как способ определения и представления отношений по поводу вещей, в которых они выделены как установленный предмет ведения или проблема [Latour 2007]. Если космополитика есть способ картирования связи про-

странства знания с (политическим) управлением, то соответствующие институциональные фабрики являются агентами разметки, нормирования и легитимации этого картирования в качестве области государственного администрирования. Через дисциплинирующие практики эти карты областей администрирования обеспечивают в широком смысле выстраивание системы сил. Их приложение к предметам беспокойства (общественным повесткам требований) создает аналог гравитации в политическом поле.

Риск-рефлексия со стороны государства чаще тяготеет к циклу поиска аналогий или подражанию из-за ригидных нормативных рамок деятельности, организационной памяти инстанций и соответствующих фреймов, которые обеспечивают стереотипию при идентификации и оценке нового.

В России, как отмечает С. Кордонский, управление неразрывно связано с изъятием ресурсов (ренты) с территорий и экономического рынка для сохранения целостности, обеспечения безопасности, социальной стабильности и защиты от различных угроз. В рамках такого подхода понятие угрозы становится основополагающим началом для организации государственных ведомств и служб, которое связывает их функции с классификаторами вызовов, чья онтология и структура ранжирования может быть более чем спорной. Следствием подобного процесса становится то, что «природа государства и сложившийся организационный механизм генерирования и нейтрализации угроз имеют самоподдерживающийся и самовоспроизводящийся характер» [Кордонский 2013: 73].

Создаваемые таким образом реестры рисков приобретают обоснования в виде особого «научного подхода», когда не вполне прозрачные экспертные обоснования ранжируют номенклатуру угроз, что становится отправной точкой для последующего их превращения в поле администрирования [Hagmann, Cavelty 2012: 91]. В этом отношении внешние источники знания о проблеме, влияющие на повестку и переориентацию ресурсов, могут включать не классическое академическое знание, а любые острые сигналы (от публичных инцидентов до совместных компаний статусных акторов), которые интерпретируются как возможная необходимость корректировки машинерии нормативных полей или расширения классификатора угроз.

В публичной сфере существует большое разнообразие акторов и достаточно низкий порог участия в формировании общественной повестки. Это определяет динамизм риск-рефлексии, поскольку границы рисков и их понимание могут постоянно оспариваться участниками, сталкивающимися с вызовами со стороны воспринимаемой действительности. В этом отношении оспариваются как раз принятые ранее области риска, когда происходит попытка изменить их границы, иерархию, каузацию и пр.

Соответственно, речь идет о гибридизации рисков, когда происходит качественное изменение области знаний о риске и подходов к управлению им. Если раскрывать предлагаемое понятие, то оно обозначает динамический процесс, при котором восприятие и интерпретация риска выходит за его конвенциональные границы и ведет к изменению космополитики: от создания новой космограммы риска-угрозы до способа управления им.

Гибридизация рисков в связке с политическими акторами оказывается еще более сложной, поскольку в таком случае они должны включать способ атрибуции причин риска, изменение модели управления им, влияние риск-рефлексии на космографию угроз в целом, что в истории нередко может быть обнаружено в политической идеологии и массовом сознании [Голубев 2019].

С целью создания аналитического описания этих процессов для политических акторов предлагаются модели гибридизации риска в публичной и политической сферах (см. табл. 1). Здесь необходимо отметить, что гибридизация не может рассматриваться как негативное явление само по себе, поскольку она неразрывно связана с идеей изменения и развития. Аналогичным образом приведенные далее в исследовании примеры не могут на этом основании оцениваться как негативный вызов.

225

Таблица 1. Модели гибридизации рисков
Table 1. Hybridization risk models

Модель	Параметр риска	Нормализованный риск	Гибридный риск	Эффект и пример
Диффузия	Отношение к области знания	Известная ограниченная область	Риск объединяет несколько (нетипичных) областей	Неопределенность. Проблема выброса парниковых газов
Доминирование	Восприятие значимости риска	Не трансформирует долгосрочную повестку рисков	Риск становится новым и устойчивым предметом беспокойства, способным подчинять себе другие	Проблематизация. Глобальная борьба с международным терроризмом после 9/11

Слом иерархии	Ответственность за управление риском	Процедурное управление (ОГВ с соответствующим предметом ведения)	Ручное управление (ОГВ высшего уровня)	Трансформация лидерства. Исключительное ЧП, катастрофа или аналогичное событие
Каузация	Причины возникновения риска	Имеет логику объяснения, характерную для схожих рисков	Логика исключительного объяснения или эссенциализм, не соответствующий сложности риска; нарушение принципа фальсифицируемости при объяснении природы риска	Идеология. Теория еврейского заговора

В случае диффузии гибридизация происходит посредством распространения риска на другие области знания из-за его нетипичного проявления. Если рассмотреть начальный этап эпидемии COVID-19, то можно отметить высокую неопределенность относительно путей заражения вирусом и способов лечения, что делало его в глазах обывателя нелокализуемым и опасным, расширяя подверженные угрозе области.

Модель доминирования может быть тесно связана с диффузией, но в этом случае гибридизация определяется воздействием события на массовое сознание. В этом случае связанная с риском ситуация может трактоваться как исключительное событие, новая точка отсчета в картине мира. Этому нередко соответствует цепочка политических действий, относящихся к политической нестабильности: бунты, восстания, революции. В космограмме рисков этому соответствует изменение в системе «сил тяготения», когда появляется новый «сверхтяжелый объект» (воспринятый риск), перераспределяющий отношения масс в свою пользу.

Другая особенность гибридизации (слом иерархии) в политическом поле связана с нарушением принципа иерархии ответственно-

сти за управление риском. В этом случае управление риском обычным способом становится невозможным, поскольку его характер, нередко из-за эффекта доминирования события в общественном мнении, требует ответных экстренных мер. Изменение иерархии ответственности за управление риском может создавать эффект политизации, когда вопрос из неполитической области превращается в предмет политических отношений на самом высоком уровне государственного управления (например, речь может идти о последствиях чрезвычайных происшествий).

Модель каузации следует рассматривать как наиболее сложную и даже спорную в плане применения в анализе. Причина этого заключается в том, что возникающий способ объяснения возникновения риска весьма схож с научным. Расхождение с научным способом интерпретации можно обнаружить на нескольких уровнях. Во-первых, наблюдается асимметрия между уровнем сложности объясняемой действительности, к которой относится обнаруженный риск, и, с другой стороны, простотой объяснения его причин или следствий. Это демонстрируют нередкие примеры детерминирования политических изменений в стране заговором или иностранным вмешательством. Во-вторых, особенностью модели каузации может быть попытка выстроить на основе риска или его причин онтологию, когда риск определяется как особая сущность, при этом утверждения о причинах или следствиях риска даются некритически, например, не отвечают принципу фальсифицируемости К. Поппера. Проблематичность данной модели гибридизации состоит еще и в том, что она не эксплицитна и может быть частью плюрализма научного знания. Развитие науки не было свободно от принятия подобных концепций, ныне признанных ненаучными: теория прирожденного преступника, расовая теория, евгеника и др. Ключевым здесь является включение подобного способа объяснения причин или следствий риска в принципы управляющего знания на уровне политических или государственных структур, поскольку тогда гибридный риск может оказаться моделью для обоснования и планирования репрессий.

227

Можно отметить, что приведенные модели могут быть связаны между собой в случае, например, чрезвычайных событий, когда риск становится доминирующей повесткой, которая используется силами конкурентных политических коалиций, формирующими обоснование для политических действий.

Данный взгляд не лишен слабых сторон. Во-первых, гибридизация всегда относительна, поскольку зависима от установленной точки отсчета в виде нормализованного знания и объяснения окружающего мира. Во-вторых, этот процесс связан с запаздыванием

согласования и нормализации картины мира или ее частей при риск-рефлексии (прошлая норма vs новые связи).

С другой стороны, нововременная область политического в принципе существует посредством постоянной гибридизации рисков, что предполагает формулирование новых консенсусов и изменение предметов ведения правовых институтов. В таком случае возникает вопрос о критерии изменения, когда можно зафиксировать произошедшую гибридизацию риска. Представляется, что это относится к случаю, когда мы наблюдаем достаточно масштабные изменения на уровне обоснования деятельности институтов или акторов. При этом мы можем анализировать данный процесс и в случае, если нам необходимо определить траектории возможных изменений, обоснование которых по понятным причинам будет носить вероятностный характер.

В завершении теоретической части можно проиллюстрировать гибридизацию риска на примере возникновения в социально-экономической политике России проблемы моногородов после массовых протестов в г. Пикалево Ленинградской области в 2009 году.

228

В рамках последствий мирового экономического кризиса в России у частных экономических субъектов возникли финансовые проблемы, что привело к увольнениям на предприятиях с последующими акциями протеста и, частности, к перекрытию федеральной трассы А144. После визита В. Путина в эпицентр событий в г. Пикалево были проведены экстренные совещания, по итогам которых были выплачены компенсации уволенным и сокращенным сотрудникам.

Определение моногорода как пространства риска можно связать с разработкой Министерством регионального развития РФ документа «Основные направления поддержки монопрофильных городов», в котором были установлены критерии соотнесения с этим риском населенных пунктов, которые поделили на депрессивные и прогрессивные [Федоринова, Терентьева, Письменная 2009]. Для управления новым социально-экономическим риском была разработана ФЦП с выделением субсидий под комплексные инвестиционные планы диверсификации экономики соответствующих населенных пунктов.

В данном случае можно говорить о совмещении моделей гибридизация риска (доминирование этой темы в СМИ, политизация проблемы через освещение требований протестующих и ручного управления ситуацией президентом на месте) с институциональным эффектом в виде выделения моногородов в объект специального контроля и финансирования. Последнее в некоторой степени повторило советскую модель управления, когда решение проблемы особой важности предполагало переподчинение ее управленческим

структурам более высокого ранга (например, создание ведомственных учебных заведений, ЗАТО).

При этом стоит отметить, что гибридизации риска моногородов не являлась обязательной, поскольку речь могла идти о повышении эффективности практик правоприменения, связанных с порядком судопроизводства, процедурой банкротства, введения внешнего управления, выполнения норм трудового законодательства и исполнения социальных гарантий.

Дальнейший анализ гибридизации рисков будет построен на примере интерпретации и управления риском во время эпидемии COVID-19 и, с другой стороны, на практиках российских общественных движений, которые продемонстрировали в своих требованиях достаточно явные примеры гибридизации рисков.

Гибридизация и управление риском COVID-19 в России

Пандемия коронавируса стала глобальным чрезвычайным событием, которое потребовало на уровне институтов государств создать новые правовые рамки существования граждан на продолжительное время, поставив правительства перед необходимостью найти баланс между проведением жестких дисциплинарных противоэпидемических мер и сохранением базовой сложности общественных отношений, достигнутой на текущем этапе экономического развития.

Анализ управления риском COVID-19 в России демонстрирует, что возникновение новой угрозы жизни и здоровью граждан во многом сформировало гибридный способ управления данным риском. В первую очередь речь идет о специфике регулирования эпидемии, изменившей композицию правового поля, что выразилось в смещении его основания после введения ограничения конституционных прав и свобод (право свободы передвижения), приостановлении действия отдельных норм законов. Здесь можно говорить о разной степени реализации моделей гибридизации: доминирования (центральность эпидемической угрозы в медийной повестке); диффузии (влияние риска на различные аспекты общественной жизни); слома иерархии (новая нормативная база, роль Роспотребнадзора). Как отмечают юристы, установление гибкого правового режима «повышенной готовности» размыло ранее сформированные рамки режимов чрезвычайной ситуации (ФЗ № 68) и чрезвычайного положения (ФКЗ № 3). В результате гибридный правовой режим создал удобный способ для управления и наложения на граждан ограничений без необходимости обеспечения жестких и ресурсозатратных правовых рамок режима чрезвычайного положения [Черногор, Залоило 2020].

При этом можно отметить попытку управлять риском как с точки зрения его предотвращения (введение «режима самоизоляции» как эвфемизм карантина), так и с точки зрения контроля интерпретации риска в публичном дискурсе посредством запрета на распространение недостоверной информации (постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 417).

Во вторую очередь, как отмечают исследователи [Селиверстов и др. 2021], на фоне процессов централизации государства с уменьшением политической автономии субъектов Федерации и ростом фактора бюджетного федерализма эпидемия резко расширила социальную ответственность регионов. Был создан новый вариант автономии, но в области управления возросшими издержками на базе имевшихся (нередко ограниченных) ресурсов, что сформировало в ряде регионов различные противоэпидемические режимы (например, Москва, Санкт-Петербург, Чеченская Республика). Исследование регионального медийного дискурса эпидемии и динамики заболеваемости демонстрирует достаточно противоречивую картину: существовала московская повестка эпидемии, ретранслированная некоторыми регионами, и региональная, в которой отказ от противоэпидемического дискурса и ослабление ограничений часто не соответствовали динамике заболевших [Первушин 2022]. Также можно отметить противоречия между наложенными ограничениями и проведением массовых мероприятий (например, проведение праздника выпускников в Санкт-Петербурге). После отмены базовых ограничений Роспотребнадзором в ряде регионов хотя и были расформированы оперативные штабы и сняты COVID-ограничения, но при этом сохранились запреты на проведение массовых мероприятий. В частности, необходимость соблюдения санитарных мер продолжала служить обоснованием запрета на проведение митингов в ряде регионов (например, в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Омской областях).

Восприятие эпидемии коронавируса в России в основных чертах повторило специфику ряда европейских стран и США, когда лавинообразный характер заражений способствовал как общественному алармизму (модели диффузии и доминирования), так и росту конспирологических объяснений (модель каузации), отрицанию и даже противодействию санитарным мероприятиям со стороны граждан и ряда организованных политических акторов.

С одной стороны, пандемия естественным образом гибридизировала публичный дискурс, создав, как отмечают исследователи, свой словарь, который стал «тематической доминантой, объединившей медицинский, политический, экономический, рекламный, медийный, сетевой и обиходно-разговорный дискурсы» [Северская 2020: 890]. С другой — гибридизация риска стала следствием реакции

на инфодемию части населения, не разделявшего представления о принципах устройства социальной реальности.

В одном случае происходила гибридизация через объяснимое публичное наделение вируса акторностью («коварный» вирус «наступает», не «сдается» и пр.) [Карасик и др. 2020]. В другом случае произошло рассогласование в интерпретации эпидемии, что выразилось в популяризации трактовок, объясняющих распространение вируса планом глобального управления или желанием фармацевтических компаний обеспечить свои финансовые интересы.

Данные опроса ВЦИОМ фиксируют значимую долю граждан (до 54%), поддерживающих интерпретации теорий деструктивных заговоров [Теории заговора — и что люди о них думают? 2020]. При этом можно отметить значимую долю граждан, критически относившихся к санитарно-эпидемическим мероприятиям (21%) [Коронавирус и вакцинация... 2022a] и массовой вакцинации (40%) [Коронавирус и вакцинация... 2022b], что сформировало значимый сегмент «ковидоскептиков» или «ковид-диссидентов». Анализ таких групповых представлений связывает причины подобных взглядов с «паникой агентности» (способ компенсации чувства утраты своей субъектности) и социально-историческим пессимизмом (воспринимаемый упадок окружающего общества и мира) [Кирзюк 2021]. Цифровые медиа часто служат формированию подобных сообществ и при этом могут выступать механизмами анонимной психологической поддержки и формирования общего мировоззрения участников через гибридное собирание окружающей действительности посредством конспирологии.

231

В случае пандемии можно рассматривать возникновение подобных сообществ как реализацию потребности в изоляции от неопределенности окружающего мира, как минимум временно. На уровне же риск-рефлексии в обществе в целом это свидетельствует о нарушении синхронизации представлений о риске между административными структурами и общественными группами. Здесь стоит отметить, что этот разрыв актуализирован противоречивой публичной повесткой, когда общий взгляд на эпидемию не был сразу сформирован на уровне экспертного и медицинского сообщества. COVID-скептицизм был характерен для ряда негосударственных СМИ и при этом эксплуатировался некоторыми депутатами в ходе избирательной кампании в Государственную Думу. Как и в случае многих зарубежных стран, в России вопрос вакцинации сформировал основания для размежевания на уровне политических партий, в частности, исследователи отмечают особенно негативно настроенную к вакцинации в тот период партию КПРФ [Винокуров 2021].

Гибридизация риска в повестке общественных движений

В отличие от гибридизации риска на уровне групп общественного мнения, когда это становится чаще способом психологической адаптации, общественные движения представляют ту форму взаимодействия, в которой общая интерпретативная рамка реальности является основой мобилизации для достижения коллективных целей. В этом случае на первый план выходят процессы фреймирования как коллективные интерпретативные ориентации участников движения относительно моральных ценностей, конкретных проблем и способов управления ими [Snow et al. 1986]. Это определяет степень и характер расхождения с конвенциональным знанием, которое нормируется административным аппаратом государства, легитимируется общественным консенсусом и пр.

Для последующего анализа были выбраны общественные движения, внутри которых процессы фреймирования демонстрируют гибридизацию риска на уровне публичной повестки требований. Критериями выбора стало оспаривание либо явное противоречие между публичной риторикой движения и базовой политической онтологией, поддерживаемой государственными структурами.

Одной особенностью гибридизации риска как угрозы или опасности в протестных практиках является фрейм персонального контроля, когда предполагается, что президент России является особой фигурой, способной разрешить возникшую проблему. В отдельных случаях, получивших освещение в СМИ (например, обращение строителей космодрома «Восточный» через надписи на крышах), форма коммуникации схожа со способом подачи сигнала бедствия. Такая модель гибридизации, предполагающая диффузию и в завершённом виде слом иерархии, назначает президента основным адресатом коллективных обращений вместо ответственных и полномочных органов. В целом это характерно не менее¹ чем для 3–8% неполитических акций, связанных чаще всего с недовольством в вопросах социального обеспечения, реформирования системы образования или здравоохранения, трудовых отношений, ЖКХ, экологии. Приведённые цифры означают, что не менее чем в 3% соответствующих акций президент выступал ключевым адресатом обращений, а в не менее чем 8% случаях обращение к президенту фигурировало как отдельно, так

1 Здесь и далее необходимо принять во внимание, что данные отражают лишь минимальные значения, зафиксированные в ходе учебно-исследовательского проекта мониторинга массовых акций, тогда как в действительности подобных требований могло быть больше.

и наравне с прочими адресатами (правительством, региональными органами власти и др.), чьих полномочий касались требования¹.

Данную особенность легко можно связать с влиянием патерналистской политической культуры и прагматикой выстраивания публичного статуса президента в региональной политике. Однако на фоне сложившейся повестки высоких социальных обязательств регионов и разграничения полномочий в системе органов власти воспроизводство данной модели гибридизации формирует внутренне противоречивые и потенциально неустойчивые интерпретативные ориентации.

В некотором смысле политические протестные кампании против российского политического режима зеркальным образом отражают упомянутую модель гибридизации риска через редукционистский фрейм угрозы, который связан почти исключительно с президентом России. Подобный способ гибридизации на основе всех четырех моделей имеет широкое распространение, связанное с дискурсом в рамках революционных движений, президентских электоральных кампаний, антикоррупционных движений внутри гибридных политических режимов. В России иллюстрацией этого является антикоррупционная протестная кампания последних лет против президента В. Путина, которая демонстрирует пример гибридизации, когда объяснение социально-экономических проблем и ограничений гражданских прав часто сводится к фигуре главы государства. Восприятие президента В. Путина в качестве ключевого источника общественно-политических проблем России (или доминирующей угрозы/риска) в требованиях участников было характерно не менее чем для 8% политических акций². Если учитывать только многочисленные акции, то доля акций с подобными требованиями была существенно выше.

В этом случае нужно отметить, что применение модели каузации актуально преимущественно для низового протестного дискурса. Необходимо отметить, что упомянутая модель гибридизации с интерпретацией президента в качестве основной угрозы пересекается с положениями ранее упомянутых теорий персоналистских авторитарных [Хантингтон, Пшеворски и др.] и неопатримониальных персоналистских режимов [Рот, Эванс, Фисун и др.], которые

- 1 Подсчет автора по данным учебно-исследовательского проекта мониторинга массовых акций за 2019–2020 гг. по релевантным лозунгам и требованиям акций, размер выборки составил 1114 акций неполитического характера.
- 2 Подсчет автора по данным учебно-исследовательского проекта мониторинга массовых акций за 2019–2020 гг. по релевантным лозунгам и требованиям акций (объяснение недостатков развития страны через фигуру президента, требования отставки и пр.), размер выборки составил 760 акций по тематике гражданских свобод, политических права и требований.

обосновывают доминирующую роль политических руководителей в установлении данных политических режимов.

Пример следующих движений демонстрирует гораздо более явно специфические особенности гибридизации риска-угрозы через модель каузации. В обоих случаях угроза связывается с утратой суверенитета Российской Федерацией или СССР.

Для политического объединения «Национально-освободительное движение» гибридизация происходит через фрейм угрозы суверенитету России, который является ключевой интерпретацией, что во многом определяет политический синкретизм его повестки, сочетающей на основе конспирологии дискурсы антиколониализма, этатизма, антикоммунизма, вождизма. Речь идет об интерпретации социально-политической действительности через принцип колониальной зависимости России, которая навязывается Соединенными Штатами посредством прямого внешнего управления политическими институтами [Часто задаваемые вопросы...].

В случае разнородных неформальных движений за восстановление СССР гибридизация связана с лежащим в ее основе фреймом нелегального характера российской государственности, выполнение законов которой рассматривается как угроза. Признание последователями принципа юридической ничтожности факта распада СССР и объявление российской власти «оккупационным режимом» стало объяснительным основанием для формирования внутри сообщества историко-правового нигилизма, ретретизма и распространения конспирологии. В таком варианте повестка движения оказывается несоизмерима с основами существования государственных структур России: участники движения отрицают полномочия представителей органов правопорядка и судов, статус законов РФ и даже удостоверяющие личность документы и пр.

В современной России экологические вопросы стали отдельной публичной повесткой, которая поднималась общественными движениями в рамках проблем городского развития, проектов капитального строительства и ЖКХ. При этом протестные кампании вокруг экологических угроз дают примеры их различной гибридизации. Рассмотрим нередкую модель диффузии, когда восприятие угрозы выходит за свои границы, распространяясь на вопросы истории, культуры, политики, затрагивая региональные/местные идентичности.

Наиболее характерным для такой гибридизации является фрейм тотальной угрозы групповому существованию, характерный для конфликтов при возведении объектов капитального строительства (предприятия, полигоны захоронения отходов и пр.). Хотя для экологических протестов в разных странах мира характерен дискурс смертельной угрозы, однако в российской специфике он нередко дополняется риторикой геноцида. Речь идет о дискурсе, в котором граждане из-за вос-

приятия реализуемых проектов рассматривают себя в роли заложников или мишеней (лозунги: «Нет геноциду», «Хватит нас травить!», «Нет заводам смерти», «Мы не тараканы, чтобы нас травили» и пр.).

Подобная гибридизация была характерна не менее чем для 7% акций протеста¹. Если учитывать только экологические акции, то доля подобной риторики в заданных хронологических рамках была не менее 9%.

Примечательно, что после начала мусорной реформы гибридизация рисков в дискурсе недавних региональных экологических протестов связана с актуализацией проблемы центра и периферии («Нет московскому мусору»), региональной идентичности («Поморье — не помойка», «Защитим Русский Север» и пр.). Это содержательно конструирует риторику протеста таким образом, что она приобретает антиколониальные черты, когда символами метрополии становится хищническая по отношению к территории деятельность частных или государственных компаний.

Управление рисками и государственное управление: государство и граждане

Гибридизация рисков в публичной сфере различными акторами предполагает на уровне государственного управления определение баланса между использованием модели согласования знания о риске, как в случае делиберативных практик демократизации по Ю. Хабермасу, и применением директивного стиля администрирования, когда контроль восприятия, определения и управления риском строится на использовании общего управляющего знания.

Советская политическая модель, идеология и научное знание были ориентированы на контроль рисков через их понимание в рамках системной закрытости, что предполагало оперирование проблемами в рамках нормативности диалектического материализма и устоявшейся таксономии. Распад СССР и окончание системы «государственной истины» создали запрос на альтернативные концепции управления рисками. Представляется, что последние десятилетия актуализировали со стороны политического руководства страны запрос на повышение международной самостоятельности и статуса России, чему соответствовал рост популярности дискурса суверенизации («продовольственный», «промышленный», «цифровой» суверенитет). Возникающая в таких условиях потреб-

235

1 Подсчет автора по данным учебно-исследовательского проекта мониторинга массовых акций за 2019–2020 гг. по релевантным лозунгам и требованиям акций, размер выборки составил 458 акций по городской проблематике и экологии и правам животных.

ность в управляющем рисками знании тяготеет к опоре на новую иерархию ценностей культурно-цивилизационной и политической автономии, которая лежит, скорее, вне советской, классической европейской правовой и даже научной традиции.

По этой причине возникает вопрос о перспективах использования новой версии управляющего знания на уровне государственных институтов для управления рисками. В иерархической модели это предполагает необходимость синхронизации космограмм угроз между разными уровнями участников публичной сферы для их контроля рисков и снижения неопределенности. В связи с этим можно отметить неизбежность столкновения такой модели с рядом фундаментальных проблем.

С одной стороны, речь идет об усложнении социальной действительности за счет социально-экономического развития, что благодаря цифровой трансформации повышает рефлексивность публичных акторов. С другой стороны, синхронизация восприятия рисков натывается на неизбежное расхождение представлений о содержании риска между участниками публичной сферы. Этот процесс рассогласования и потери общего представления можно обозначить регрессионной спиралью. Данное понятие изначально относится к области тестирования программных продуктов и обозначает рост издержек на проверку работоспособности функциональности информационной системы по мере ее усложнения. В случае государственного управления риском это создает как проблему роста затрат на его администрирование, так и сложность удержания общего содержания интерпретативной рамки, когда ее нужно адаптировать к возрастающей сложности общественных отношений (новым областям, неполитической сфере). Последнее связано с проблемой формулирования общего знания таким образом, чтобы оно могло применяться к новым объектам реальности и общественным отношениям без потери общего смысла и связанности.

В противном случае включенные в процессы локальной сложности акторы могут оказаться невосприимчивы к общей концепции знания о риске, что в конечном итоге будет предполагать перспективу публичного оспаривания подобного способа управления.

С одной стороны, пример биополитики «нулевой терпимости» в КНР в ходе эпидемии COVID-19 продемонстрировал способность государственных структур длительное время управлять риском при сохранении высокого уровня сложности современной жизни общества (например, через внедрение ИТ-технологий и роботизации для обеспечения жизни граждан при периодической изоляции). С другой — данный пример показал невозможность бесконечной синхронизации государственных и общественных представлений о риске, что заставило отказаться от мер и идеологии антиковидных ограничений (политики «нулевой терпимости») в 2022 году.

В условиях неспособности государств преодолеть регрессионную спираль знания, если не рассматривать теоретические возможности достижения синхронизации государственных и гражданских представлений об угрозах через глубокую цифровизацию с использованием сильного искусственного интеллекта, управление риском может опираться практически исключительно на автономию и фрагментацию риск-рефлексий. В этом случае гибридизация угроз для публичных акторов должна создавать противоречия, которые будут развиваться в логике классической интегративной теории конфликта Л. Козера [Coser 2001]. Следуя классике социологии конфликта, для сохранения социального мира несогласные локальные группы должны существовать изолированно для предотвращения их объединения и последующего доминирования.

Выводы

Таким образом, анализ гибридизации рисков в публичной сфере является перспективным способом изучения общественного согласия и легитимации политических институтов через оценку глубины и характера рассогласования взглядов на природу и границы угроз.

237

На примере COVID-19 в России ситуация неопределенности обеспечила гибридизацию восприятия угрозы у значительной группы граждан через рост конспирологических трактовок, создав диссонанс с нормативной позицией государственных структур. Политика последних также приобрела гибридный характер на уровне правового режима и модели управления в ущерб системности при интерпретации и управлении риском.

Выделенные модели гибридизации рисков могут быть применены для анализа политического управления, основанного на доминировании и принципах иерархии, что может помочь ответить на вопрос о перспективной траектории трансформации политического режима, особенностей его управленческих практик.

Рассмотренные примеры отдельных общественных движений и акций протеста в области гражданских прав, трудовых отношений и экологии иллюстрируют, как различные модели гибридизации риска формируют разрывы в интерпретации общего социального мира. Это находит отражение в сохранении и укоренении политического отчуждения граждан, а также в противоречивом стремлении государственного аппарата как к контролю над управлением рисками, так и к использованию для этого гибридных методов (расширение логики применения антиэкстремистского законодательства, *ad hoc* изменение принципов иерархии административной ответственности при вмешательстве в ситуацию).

Рост уровня сложности общественной жизни и цифровизация могут рассматриваться как катализаторы риск-рефлексии, что в свою очередь может расширять возможности для формирования гибридных рисков.

Перспективы трансформации государственного управления с точки зрения создания унитарных интерпретативных концепций угроз вызывают серьезные сомнения, поскольку сталкиваются не только с ростом затрат и требований к качеству администрирования, но и с ограничением возможности согласования восприятия риска для политических акторов и граждан в современных обществах. В широком смысле это ставит перед исследователями вопрос о способах сохранения общего понимания социального мира и реализации принципов плюрализма в процессе риск-рефлексии.

Библиография / References

Аджемоглу Д., Робинсон Д. (2015) *Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты*, М.: АСТ.

— Acemoglu D., Robinson J. A. (2015) *Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty*, Moscow: AST. — in Russ.

Бек У. (2001) *Общество риска. На пути к другому модерну*, М.: Прогресс-Традиция.

— Beck U. *Risk society. Towards a new modernity*, Moscow: Progress-Traditsiya. — in Russ.

Бьюкенен Д. (2015) Границы свободы. Между анархией и Левиафаном. *Муниципальная экономика*, 2: 2-10.

— Buchanan D. (2015) The limits of liberty. Between anarchy and Leviathan. *Municipal Economy*, 2: 2-10. — in Russ.

Винокуров А. (2021) Пандемические разногласия. *Коммерсантъ*, 30 июля (<https://www.kommersant.ru/doc/4920415>).

— Vinokurov A. (2021) Pandemic controversy. *Kommersant*, July 30. — in Russ.

Голубев А. В. (2019) *«Если мир обрушится на нашу республику»: Советское общество и внешняя угроза в 1922–1941 годах*, 2-е изд. Москва, Берлин: ООО «Директ-Медиа».

— Golubev A. V. (2019) *“If the world hit our republic”: Soviet society and the external threat in 1922–1941*, 2nd ed. Moscow, Berlin: “Direct-Media” LLC. — in Russ.

Карасик В. (2020) Эпидемия в зеркале медийного дискурса: факты, оценки, позиции. *Политическая лингвистика*, 2(80): 25–34.

— Karasik V. (2020) The epidemic in the mirror of media discourse: facts, assessments, positions. *Political Linguistics*, 2(80): 25–34. — in Russ.

Кирзюк А. А. (2021) «У меня нет страха»: ковид-диссиденты в поисках агентности и правды. *Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены*, 2: 484–509.

- Kirzyuk A. A. (2021) "I have no fear": covid-dissidents in search of agency and truth. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*, 2: 484-509. — in Russ.
- Кордонский С. (2013) Классификация и ранжирование угроз. *Отечественные записки*, 2(53): 52-73.
- Kordonsky S. (2013) Classification and ranking of threats. *Otechestvennye zapiski*, 2(53): 52-73. — in Russ.
- Коронавирус и вакцинация. Отношение к эпидемии и практика вакцинирования* (2022a). ФОМ, 13 апреля (<https://fom.ru/Zdorove-i-sport/14715>).
- *Coronavirus and vaccination. Attitudes towards the epidemic and vaccination practices* (2022a). FOM, April 13 (<https://fom.ru/Zdorove-i-sport/14715>). — in Russ.
- Коронавирус и вакцинация. Считается ли вакцинация необходимой мерой в борьбе с пандемией* (2022b). ФОМ, 15 сентября (<https://fom.ru/Zdorove-i-sport/14780>).
- *Coronavirus and vaccination. Is vaccination considered a necessary measure in the fight against the pandemic* (2022b). FOM, September 15 (<https://fom.ru/Zdorove-i-sport/14780>). — in Russ.
- Меркель В., Круассан А. (2002) Формальные и неформальные институты в дефектных демократиях (II). *Полис. Политические исследования*, 2: 20-30.
- Merkel W., Croissant A. Formal and informal institutions in defective democracies (II). *Polis. Political Studies*, 2: 20-30. — in Russ.
- Никифоров А. А. (2022) Онтологическое и политическое измерения риск-рефлексии: общество риска и цифровая трансформация. *Политическая экспертиза: ПОЛИТЭК*, 18 (4): 489-503.
- Nikiforov A. A. (2022) Ontological and political dimensions of reflection on risk: risk society and digitalization. *Political Expertise: POLITEKS*, 18 (4): 489-503. — in Russ.
- Первушин Н. С. (2022) Медиафера в период пандемии COVID-19: региональные и дискурсивные различия в установлении повестки дня. *Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены*, 3 (169): 277-300.
- Pervushin N. S. (2022) Media sphere during the COVID-19 pandemic: regional and discursive differences in setting the agenda. *Monitoring public opinion: economic and social change*, 3 (169): 277-300. — in Russ.
- Северская О. И. (2020) Ковидиоты на карантинкулах: коронавирусный словарь как диагностическое поле актуальных дискурсивных практик. *Коммуникативные исследования*, 7 (4): 887-906.
- Severskaya O. I. (2020) Covidiots on a holiday: coronavirus dictionary as a diagnostic field of current discursive practices. *Communication Studies*, 7(4): 887-906. — in Russ.
- Селиверстов В. Е., Кравченко В. А., Клисторин В. И., Юсупова А. Т. (2021) Российские регионы и федеральный центр в противостоянии глобальным угрозам: год борьбы с пандемией коронавируса. *Регион: экономика и социология*, 1 (109): 3-46.
- Seliverstov V. E., Kravchenko V. A., Klistorin V. I., Yusupova A. T. (2021) Russian regions and the federal center in confronting global threats: a year of the coronavirus pandemic control. *Region: Economics and Sociology*, 1 (109): 3-46. — in Russ.

Теории заговора — и что люди о них думают? (2020) ВЦИОМ, 29 июля (<https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/teorii-zagovora-i-chto-lyudi-o-nikh-dumayut>).

— *Conspiracy theories — and what do people think about them?* (2020) VTsIOM, July 29 (<https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/teorii-zagovora-i-chto-lyudi-o-nikh-dumayut>). — in Russ.

Федоринова Ю., Терентьева А., Письменная Е. (2009) Государство не будет спасать депрессивные моногорода. *Ведомости*, 29 сентября (<https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2009/09/29/gosudarstvo-ne-budet-spasat-depressivnye-monogoroda>).

— Fedorinova Y., Terentyeva A., Pismennaya E. (2009) The state will not rescue depressed single-industry towns. *Vedomosti*, September 29 (<https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2009/09/29/gosudarstvo-ne-budet-spasat-depressivnye-monogoroda>). — in Russ.

Фисун А. А. (2010) К переосмыслению постсоветской политики: неопатримониальная интерпретация. *Политическая концептология*, 4: 158-187.

— Fisun A. A. (2010) Rethinking Post-Soviet Politics: Neopatrimonial Interpretation. *Political Conceptology*, 4: 158-187. — in Russ.

Фуко М. (2003) Правительственность (идея государственного интереса и ее генезис). *Логос*, 4-5: 4-22.

— Foucault M. (2003) Governmentality (the idea of public interest and its genesis). *Logos*. 4-5: 4-22. — in Russ.

Часто задаваемые вопросы. — Национально-Освободительное Движение (НОД) (<https://nodrf.ru/vopros-otvet>)

— FAQ. — National Liberation Movement (NOD) (<https://nodrf.ru/vopros-answer>). — in Russ.

Черногор Н. Н., Залоило М. В. (2020) Метаморфозы права и вызовы юридической науке в условиях пандемии коронавируса. *Журнал российского права*, 7: 5-26.

— Chernogor N. N., Zaloilo M. V. (2020) Metamorphoses of law and challenges to legal science in the context of the coronavirus pandemic. *Journal of Russian Law*, 7: 5-26. — in Russ.

Bordignon F., Ceccarini L. (2015) The Five-Star Movement: A hybrid actor in the net of state institutions. *Journal of Modern Italian Studies*, 20 (4): 454-473.

Chadwick A. (2017) *The hybrid media system: Politics and power*, Oxford: Oxford University Press.

Coser L. A. (2001) *The functions of social conflict*, London: Routledge.

Diamond L. (2002) Elections without democracy: Thinking about hybrid regimes. *Journal of democracy*, 13 (2): 21-35.

Dragu T., Lupu Y. (2021) Digital authoritarianism and the future of human rights. *International Organization*, 75 (4): 991-1017.

Eisenstadt S. N. (1973) *Traditional patrimonialism and modern neopatrimonialism*, Beverly Hills: Sage Publications.

Fieschi C., Heywood P. (2004) Trust, cynicism and populist anti-politics. *Journal of political ideologies*, 9(3): 289-309.

Galeotti M. (2019) *Russian political war: moving beyond the hybrid*, London and New York: Routledge.

Giusti S., Piras E. (2020) *Democracy and fake news: information manipulation and post-truth politics*, London and New York: Routledge.

Hagmann J., Cavelti M. D. (2012) National risk registers: Security scientism and the propagation of permanent insecurity. *Security Dialogue*, 43 (1): 79-96.

Iannelli L. (2015) *Hybrid politics: Media and participation*, London: SAGE Publications.

Kenyon T., Naoi M. (2010) Policy uncertainty in hybrid regimes: evidence from firm-level surveys. *Comparative Political Studies*, 43 (4): 486-510.

Latour B. (2007) Turning around politics: A note on Gerard de Vries' paper. *Social studies of science*, 37 (5): 811-820.

Levitsky S., Way L. A. (2002) Elections without democracy: The rise of competitive authoritarianism. *Journal of democracy*, 13 (2): 51-65.

Mac Ginty R. (2011) *International peacebuilding and local resistance: Hybrid forms of peace*, New York: Palgrave Macmillan.

Roth G. (1968) Personal rulership, patrimonialism, and empire-building in the new states. *World politics*, 20 (2): 194-206.

Snow D. A., Rochford Jr. E. B., Worden S. K., Benford R. D. (1986) Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation. *American Sociological Review*, 51 (4): 464-481.

241

Tullock G. (1967) The welfare costs of tariffs, monopolies, and theft. *Economic inquiry*, 5 (3): 224-232.

Tumber H., Waisbord S. (2019) Media and scandal. H. Tumber, S. Waisbord (eds.) *The Routledge Companion to Media and Scandal*, London and New York: Routledge: 10-21.

Рекомендация для цитирования:

Никифоров А. А. (2023) Особенности формирования гибридных рисков в российской публичной сфере. *Социология власти*, 35 (1): 219-241.

For citations:

Nikiforov A. A. (2023) Specificities of Hybrid Risk Formation in the Russian Public Sphere. *Sociology of Power*, 35 (1): 219-241.

Поступила в редакцию: 30.01.2022; принята в печать: 19.03.2022

Received: 30.01.2022; Accepted for publication: 19.03.2022

Рецензии

ФЕДОР В. НИКОЛАИ¹

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
Ниžний Новгород, Россия

ORCID: 0000-0002-8876-9441

Деконструкция образа врага: по ту сторону «реалистического» и функционального подходов

Рецензия на книгу: «Враг номер
один» в символической политике
кинематографий СССР и США
периода холодной войны / Под ред.
О. В. Рябова. М.: Аспект Пресс, 2023²

242

doi: 10.22394/2074-0492-2023-1-242-249

«История войны — это во многом и история ее репрезентации» [Eberwein 2010: 52], — отмечает один из самых известных исследователей военного кинематографа Р. Эбервейн. Этот тезис в равной степени касается мировых войн, холодной войны и локальных конфликтов. Понятие репрезентации во многом снимает напряжение между распространенным в современной исторической публицистике противопоставлением

1 Федор Владимирович Николаи — доктор философских наук, старший научный сотрудник Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского; профессор кафедры всеобщей истории Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина. E-mail: fvnik@list.ru

Feodor Nikolai — PhD, Senior Research Officer, Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod; Professor, Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University (Minin University). E-mail: fvnik@list.ru

2 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда, проект № 22-18-00311.

Acknowledgments: The article was prepared with the financial support of a grant from the Russian Science Foundation, project No. 22-18-00311.

(«нашей») памяти и («их») пропаганды, переносит акцент на структурные механизмы взаимосвязи эстетического и политического, ставит под вопрос бинарные оппозиции «своего» и «чужого». Впрочем, ограниченность дискуссий о репрезентации стала очевидна уже с конца 1980-х гг. [Friedlander 1992], когда развернулось обсуждение проблематики опыта, памяти и идентичности — понятий, маркирующих вовлеченность исследователей в формирование публичной сферы.

В современном контексте осмысления конфликта между Россией и Украиной эта проблема — выбор нейтрального языка репрезентации или признание вовлеченности исследователей — требует, на наш взгляд, более пристального внимания и анализа. Хорошим поводом для такого разговора может стать изданная под редакцией О. В. Рябова монография «Враг номер один», которая посвящена кинематографу холодной войны и стремительному воскрешению позаимствованных из прошлого антагонистических оппозиций в современном мире. Основной вопрос, возникающий после ее прочтения, — насколько продуктивным можно считать сегодня нейтральный анализ семиотических и политических инструментов формирования образа врага, которые могут одинаково успешно функционировать в рамках самых разных политических режимов? Могут ли академические исследования занять в отношении разворачивающегося конфликта нейтральную позицию, или они неизбежно воспроизводят шмиттовское («реалистическое») понимание политики как противопоставление «друзей» и «врагов»?

243

Прежде чем попытаться ответить на эти вопросы, обозначим позиции авторов книги, которые существенно различаются между собой. Преобладающим является функциональный подход, показывающий равную заинтересованность в мобилизации общественного мнения и схожие приемы в создании образа «врага номер один» в американском и советском кинематографе [«Враг номер один»: 102]. Авторы книги подробно показывают работу позитивной и негативной легитимации. Первая предполагает выстраивание диспозитива достоинств действующей власти, вторая противопоставляет эти достоинства их отсутствию у «врагов». «При помощи перечисленных способов легитимации в фильмах создавался образ советской власти как верной идеалам революции, справедливой, эффективной, сильной, способной защитить страну от внешних и внутренних угроз, национальной, наследующей лучшим традициям отечественной культуры. Во-вторых, показывалось, что враг представляет серьезнейшую опасность для советских людей, от которой может защитить только действующая власть» [«Враг номер один»: 167]. С этой точки зрения различия в советском и американском кинематографе холодной войны также носили именно функциональный характер: «Советские репрезентации врага строились на идее “двух Америк”, основанной на классовом принципе; они дополнялись образами “хороших амери-

канцев”, которые, будучи союзниками в борьбе с “реакционной Америкой”, демонстрировали симпатию к Советскому Союзу. Однако в советском кино более одномерным был образ “своих”. Хотя оттепельные фильмы показали сложный внутренний мир советского человека, в тех картинах, которые были посвящены конфронтации холодной войны, положительный герой, представляющий власть и государственные институты, был достаточно предсказуем. В кинематографе же США аналогичные персонажи порой были небезупречны. Далеко не всегда Голливуд идеализировал власть и ее институты. Например, некоторые картины показывают цинизм спецслужб США, которые вовлекают гражданских лиц без их ведома в опасные операции, ссылаясь на неизбежность потерь в период войны, пусть и холодной (“Дипкурьер”, “На север через северо-запад”)) [«Враг номер один»: 197].

Вторая стратегия, преобладающая в главе «Дискуссии о природе холодной войны» А. И. Кубышкина, построена на шмиттовском противопоставлении «друга» и «врага» как основы топологии политического. При этом позиция «своих» декларируется оправданной и объективной, а «чужих» — предельно идеологизированной и иррациональной: «Коллективный Запад во главе с США, соответственно, выстраивал свою стратегию на основе антисоветизма, антикоммунизма и иррациональной русофобии» [«Враг номер один»: 42]. Здесь исследователь выступает на стороне власти, формально декларируя «беспристрастный научный анализ одного из самых противоречивых и захватывающих периодов современной мировой истории» [«Враг номер один»: 41]. Показательно также, что хотя общие хронологические рамки исследования ограничиваются 1946–1963 гг., А. И. Кубышкин предлагает периодизацию образа врага в кинематографе, включающую 2000-е гг., когда происходит «Возвращение Запада к инструментарию идеологии и политической риторики времен холодной войны (стратегическое сдерживание) на основе критики возрождения “имперского характера” внешней политики современной России» [«Враг номер один»: 43]. Ответственность за современное противостояние перекладывается на «врагов», что служит легитимации «своих», которые теперь уже четко соединяются с действующей российской властью. Конструирование позитивной и негативной легитимации из объекта исследования становится непосредственной идеологической функцией текста.

Любопытно, что обе позиции — функционалистская (деполитизированная) и «реалистическая» (шмиттовская) — легко уживаются и бесконфликтно сосуществуют в книге. Нестыковка между ними не вызывает у авторов рефлексии или какого-то антагонизма. Риском предположить, что эта бесконфликтность связана не только с прагматикой конструирования линейного нарратива, но и со специфической темпоральной политикой, нацеленной на соотнесение прошлого и настоящего без учета будущего. Игнорируется вопрос

о том, к чему может привести продолжающееся противостояние, хотя угроза «ядерной зимы» (и различные версии ее репрезентации в кинематографе) была важной частью дискуссий периода холодной войны и во многом повлияла на стремление к разрядке начала 1970-х — второй половины 1980-х гг.

Отметим еще один важный момент, соединяющий обе позиции: интерес к эмоциям, оказывающим огромное влияние на память и идентичность самых разных социальных групп. Конструируемые в рамках холодной войны тексты и образы врага представляют собой эмотивы — не констатирующие описания, но меняющие восприятие событий системы, которые требуют дальнейшего раскрытия эмоциональной риторики. С этой точки зрения символическую политику можно охарактеризовать как борьбу не столько за умы, сколько за сердца [«Враг номер один»: 22]. И кинематограф, соединяющий образы и тексты, оказывается фабрикой эмоций, которые вряд ли корректно рассматривать без учета их социально-политического измерения. Здесь «развлечение становится пропагандой, а пропаганда — развлечением» [Nobergman 2011: 18]. Эта проблематика достаточно подробно анализируется в главах, написанных О. В. Рябовым, Д. Г. Смирновым и О. С. Давыдовой, которые представляются наиболее интересными в рецензируемой книге.

245

Однако ряд моментов существенно ограничивают такой анализ. Во-первых, выбор слишком узких хронологических рамок исследования: «Мы ограничиваемся периодом 1946–1963 гг., поскольку он наиболее показателен в контексте исследуемой в монографии проблемы: именно для этого периода характерен бинаризм кинематографической картины международных отношений» [«Враг номер один»: 9]. Такой выбор служит оправданию рассматриваемой авторами оппозиции, тогда как расширение хронологии могло бы ее проблематизировать. Как минимум возник бы вопрос о причинах трансформации жанров «шпионских боевиков» и детективов: почему голливудская франшиза об «Агенте 007» или «Рэмбо» (где во 2-й и 3-й частях герой С. Сталлоне воюет против советских солдат) смогла пережить холодную войну и захватить мировые рынки, включая симпатии российских зрителей, тогда как советские фильмы и их наследники проиграли в этой конкуренции? Ограничение хронологии выглядит вдвойне странно и потому, что у многих авторов рецензируемой книги есть статьи, посвященные образу врага и трансформации кинематографа в 1970–80-е гг. [Колесникова 2007; Юдин 2022]. На наш взгляд, сравнение этих сюжетов в рамках диахронического подхода было бы более продуктивным, чем просто конструирование бинарных оппозиций.

Во-вторых, существенно ограниченным выглядит акцент авторов на визуальной политике «сверху» и государственном идеологическом заказе. Различия визуальной оптики разных режиссеров и специфика

восприятия их фильмов широкой аудиторией оказываются еле просматриваемым фоном. Собрать и сравнить между собой отклики в прессе, воспоминаниях и эгодокументах, конечно же, очень непросто. Но без такого анализа неизбежна существенная редукция выводов исследования: «“Три составные части” советской системы ценностей, доминировавшие в течение всего исследуемого периода, претерпевая лишь незначительные изменения, могут быть обозначены как “коммунизм”, “советская Родина” и “мир”» [«Враг номер один»: 46]. «Жители СССР и США должны были свыкнуться с мыслью о том, что они потенциально являются либо соучастниками массовых убийств, либо мишенью смертоносной атаки противоположной стороны» [«Враг номер один»: 7]. Все население СССР выступает здесь недифференцированной и гомогенной массой; игнорируются и существующие попытки как-то классифицировать формирующиеся практики просмотра, и принципиальные различия нарративов сталинского и оттепельного кино [Голубев 2022; Талавер 2013]. При этом отказ рассматривать трансформации кинематографа после начала войны во Вьетнаме в 1964 году служит именно оправданию бинарного противопоставления советского и американского кинематографа, нивелируя специфику позиций многих известных режиссеров и многочисленных поклонников их творчества.

246

В-третьих, книга явно рассчитана на профессиональную (достаточно узкую) аудиторию. Избыточные примеры и многократное повторение основных выводов вряд ли заинтересуют широкую публику. Кроме того, акцент на идеологический (символический) уровень кинематографа холодной войны отодвигает на задний план его эстетическое и аффективное измерения. Сводить знаменитый фильм А. Хичкока «На север через северо-запад» (1959) только к шпионской сюжетной линии не очень продуктивно. Причем авторы книги в других своих работах признают важность аналитики аффекта и «акинематографичного» в противовес давлению нормативности репрезентации [Давыдова 2018; Давыдова 2022], но в книге эта линия теоретического анализа фактически не представлена.

Наконец, специфика жанров кинематографа холодной войны минимально обсуждается авторами. Тогда как компаративное сравнение образов врага вряд ли возможно без анализа функций антагонистов в рамках структуры детектива, боевика или нуара [Куренной 2009]. Конечно, пожелания рецензентов чаще всего выходят за рамки объема одной монографии, и их далеко не просто реализовать. Тем более жаль, что и в теоретическом, и в хронологическом плане авторы отказались включить в книгу часть своих уже изданных текстов ради того, чтобы сохранить бинарную схему противопоставления советского и американского кино, нивелирующую все эти вопросы.

Повторим, что, на наш взгляд, такая редукция является следствием не просто прагматики выстраивания нарратива или специфиче-

ского понимания выживания в схлопывающейся сегодня в России публичной сфере. Она во многом обусловлена еще как минимум двумя факторами. Во-первых, сохраняющимся восприятием гуманитарных исследований как системы нормативного воспроизводства символического канона и крупных теорий (прежде всего структуралистского толка). Постструктурализм и деконструкция с их рефлексией о собственных ограничениях и «слепых зонах», признание неизбежной вовлеченности и собственной ответственности за происходящее в публичной сфере получили крайне слабое распространение в эмпирических визуальных исследованиях в России. То же самое можно сказать о признании агонистической природы публичной сферы — неизбежности конкуренции, несогласия и споров в пике мифологизируемой бесконфликтной «полифонии» в российских исследованиях культуры. Во-вторых, в гуманитарных исследованиях по-прежнему работает презентистский режим, подчиняющий этическую верность по отношению к прошлому и устремленность в будущее (которое может и должно существенно отличаться от настоящего) текущим прагматическим интересам. В этом смысле и советская фантастика в духе братьев Стругацких, и тексты Ф. Дика (как и их экранизации, начиная со «Сталкера» А. Тарковского и заканчивая «Бегущим по лезвию» Р. Скотта) с их поисками альтернативных моделей разговора о будущем оказываются за рамками внимания авторов, как и более общие вопросы формирования консьюмеризма или культурной политики периода «оттепели» в СССР [Липовецкий, Михайлова 2021]. И отказ от этой проблематики будущего в современных гуманитарных исследованиях становится одной из важных причин редукции широкого спектра политических разногласий и культурных идей периода холодной войны к бинарным репрезентациям внешнеполитического врага.

247

В этом контексте книгу «Враг номер один» хотелось бы рассматривать как первый шаг в проблематизации позиции академического сообщества по поводу конструирования искусственных оппозиций, призванных не только объяснить, но и частично оправдать сложившуюся гегемонию и стратегии ее репрезентации. Деконструкция подобных оппозиций и рефлексивное (ответственное) отношение к собственной вовлеченности исследователя в процессы их легитимации представляются предельно актуальными в контексте современного кризиса. Такая рефлексия, на наш взгляд, остро требуется и в исследованиях международных отношений, и в новейшей истории в целом, поскольку геополитические факторы и искусственно сконструированные оппозиции здесь заняли место советских идеологических клише. Возвращаясь к исследованиям кинематографа, вслед за известнейшим марксистским теоретиком Ф. Джеймисоном отметим, что ностальгическое кино и поверхностный анализ про-

шлого, отказываясь от серьезной историзации и признания социальных противоречий, скрывают социальные различия в интересах (транс)национальных элит. Напомним также, что, в отличие от российской литературы, в англоязычных визуальных исследованиях широко распространен деконструктивистский анализ взаимосвязи эстетических стратегий репрезентации в военном кино с интересами военно-промышленного комплекса [Robin 2001; Dick 2016; Allison 2018]. Холодная война рассматривается при этом не просто как геополитическое противостояние СССР и США, но как сложные сети социальных, культурных и материальных отношений, в рамках которых позиции местных сообществ некорректно сводить к роли марионеток ведущих мировых держав. Деконструкция не только объясняет появление бинарных оппозиций и работающих на сохранение статус-кво стратегий репрезентации, но и пытается изменить их — оставить в прошлом, обозначить разрыв между ними и желательным для самых разных сообществ будущим.

Библиография / References

248

«Враг номер один» в символической политике кинематографий СССР и США периода холодной войны / Под ред. О. В. Рябова. М.: Аспект Пресс, 2023.

— “Enemy number one” in symbolic politics of the USSR and the USA cinema during the Cold War / Ed by O. Riabov. Moscow: Aspect Press, 2023. — in Russ.

Голубев А. (2022) *Вещная жизнь: материальность позднего социализма*, М.: Новое литературное обозрение.

— Golubev A. V. (2022) *The Things of Life: Materiality in Late Soviet Russia*, Moscow: Novoe Lirerturnoe Obozrenie. — in Russ.

Давыдова О. С. (2018) *Аналитика аффекта в кино и фотографии*. Дисс... к.филос.н. СПб.

— Davydova O. S. (2018) *Analytics of affect in cinema and photography*. PhD diss. Saint Petersburg. — in Russ.

Давыдова О. (2022) Кино, которое не показывает. *Логос*, 5 (150): 271-286.

— Davydova O. (2022) The cinema that does not represent. *Logos*, 5 (150): 271-286. — in Russ.

Колесникова А. Г. (2007) Образ врага периода холодной войны в советском игровом кино 1960–1970-х гг. *Отечественная история*, 5: 162-168.

— Kolesnikova A. G. (2007) The image of enemy in Soviet movies during the Cold War, 1960s–1970s. *Russian History*, 5: 162-168. — in Russ.

Куренной В. (2009) *Философия фильма: упражнения в анализе*, М.: Новое литературное обозрение, 2009.

— Kurennoy V. A. *Philosophy of Film: exercises in analysis*, Moscow: Novoe Lirerturnoe Obozrenie. — in Russ.

Липовецкий М., Михайлова Т. (2021) Больше, чем ностальгия (поздний социализм в телесериалах 2010-х годов). *Новое литературное обозрение*, 3 (169): 127-147.

— Lipovetsky M., Mikhailova T. (2021) More than Nostalgia: Late Socialism in TV Series of the 2010s. *New Literary Observer*, 3 (169): 127-147. — in Russ.

Талавер А. (2013) *Память о Великой Отечественной войне в постсоветском кинематографе. Этапы осмысления прошлого (от 1990-х к 2000-м)*. М.: Издательский дом Высшей школы экономики.

— Talaver A. (2013) *Memory of the Great Patriotic War in post-Soviet cinema. Stages of understanding the past (from the 1990s to the 2000s)*. Moscow: Publishing House of the Higher School of Economics. — in Russ.

Юдин К. А. (2022) «Осенний марафон» советской кинополитики (вторая половина 1970-х — середина 1980-х гг.). *Диалог со временем*, 81: 344-358.

— Yudin K. (2022) “Autumn marathon” of Soviet cinema politics in the second half of the 1970s — mid-1980s. *Dialog so Vremenem*, 81: 344-358. — in Russ.

Allison T. (2018) *Destructive Sublime: World War II in American Film and Media*, New Brunswick, L.: Rutgers University Press. 250 p.

Dick B. F. (2016) *The Screen Is Red: Hollywood, Communism, and the Cold War*, Jackson: University Press of Mississippi. 282 p.

Eberwein R. (2010) *The Hollywood War Film*, Chichester: Malden Wiley-Blackwell.

Hoberman J. (2011) *An Army of Phantoms: American Movies and the Making of the Cold War*, N.Y., L.: The New Press. 383 p.

Friedlander S. (ed.) (1992) *Probing the Limits of Representation: Nazism and the “Final Solution”*, Cambridge, L.: Harvard University Press. 416 p.

Robin R. T. (2001) *The Making of the Cold War Enemy: Culture and Politics in the Military-Intellectual Complex*, Princeton: Princeton University Press, 2001. 296 p.

249

Рекомендация для цитирования:

Николаи Ф. В. (2023) Деконструкция образа врага: по ту сторону «реалистического» и функционального подходов. Рецензия на книгу: «Враг номер один» в символической политике кинематографий СССР и США периода холодной войны / Под ред. О. В. Рябова. М.: Аспект Пресс, 2023. *Социология власти*, 35 (1): 242-249.

For citations:

Nikolai F. V. (2022) Deconstruction of the Enemy Image: Beyond the “Realistic” and Functional Approaches. Book Review: “Enemy Number One” in Symbolic Politics of the USSR and the USA Cinema During the Cold War / Ed by O. Riabov. Moscow: Aspect Press, 2023. *Sociology of Power*, 35 (1): 242-249.

Поступила в редакцию: 02.02.2023; принята в печать: 20.02.2023

Received: 02.02.2023; Accepted for publication: 20.02.2023

Авторы

Александр Олегович Архипов — студент бакалавриата философии НИУ ВШЭ. Научные интересы: социальная философия, genocide studies. E-mail: aoarkhipov_1@edu.hse.ru

Нина Ароновна Багдасарова — кандидат психологических наук, профессор кафедры психологии Американского университета в Центральной Азии (Бишкек, Кыргызстан). Научные интересы: политика многообразия, проблемы равенства, психология образования. E-mail: bagdasarova_n@auca.kg; nina.bagdasarova@gmail.com

Светлана Юрьевна Волченко — старший преподаватель кафедры Социальной работы и социальной антропологии Новосибирского государственного технического университета. Научные интересы: социальные технологии, гендерные конфликты, городские конфликты, межсекторное партнерство, социальная экономика. E-mail: yurkova@corp.nstu.ru

Ольга Александровна Гулевич — доктор психологических наук, профессор департамента психологии, зав. НУЛ политико-психологических исследований, НИУ «Высшая школа экономики». E-mail: ogulevich@hse.ru

Андрей Игоревич Жданов — стажер-исследователь Центра изучения стабильности и рисков НИУ ВШЭ, аспирант РЭУ им Г. В. Плеханова. Научные интересы: режимные трансформации, революции, политическая нестабильность, теория революций, демократический транзит. E-mail: andreizhdanov998@gmail.com

Гульнара Кубанычбековна Ибраева — кандидат социологических наук, основатель Исследовательской компании PIL Research Company, Кыргызстан. Научные интересы: социокультурное разнообразие, миграционные исследования, гендерные и исследования гражданства. E-mail: ibraeva@gmail.com

Евгений Владимирович Карчагин — доктор философских наук, заведующий кафедрой философии, социологии и психологии ВолгГТУ. Область научных интересов: теоретические и прикладные исследования справедливости, социальные исследования города. E-mail: evkarchagin@gmail.com

Андрей Витальевич Коротаяев — профессор, доктор исторических наук, директор Центра изучения стабильности и рисков НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник, Институт Африки РАН. Научные интересы: социология революций, политические конфликты, причины восстаний, математическое моделирование, прогнозирование. E-mail: akorotayev@gmail.com

Арсений Дмитриевич Куманьков — кандидат философских наук, исследователь департамента Политики, Принстонский университет. Научные интересы: этика войны и мира, глобальная справедливость, история политической мысли. E-mail: adkumankov@gmail.com

Юрий Сергеевич Лобанов — кандидат философских наук, пресс-секретарь Музея Новосибирска. Научные интересы: общественное участие, социальные конфликты и конвенции, городские изменения, городские конфликты, городские сообщества, городские сети и коммуникации, теория и практика медиакоммуникаций. Email: lobanov-y@mail.ru

251

Владимир Сергеевич Малахов — доктор политических наук, профессор, Институт общественных наук РАНХиГС. Москва, Россия. Научные интересы: этничность и национализм, культурное разнообразие, миграционные исследования, исследования гражданства. E-mail: malakhov-vs@tanepa.ru

Александр Андреевич Никифоров — кандидат политологических наук, доцент кафедры этнополитологии СПбГУ. Научные интересы: проблемы политической нестабильности и государственной состоятельности, революций и социальных движений. E-mail: nikiforov@politpro.ru

Федор Владимирович Николаи — доктор философских наук, старший научный сотрудник Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского; профессор кафедры всеобщей истории Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина. E-mail: fvnik@list.ru

Саодат Кузиевна Олимова — кандидат философских наук, директор Научно-исследовательского центра «Шарк» (ORIENS), Душанбе, Республика Таджикистан. Научные интересы: миграционные исследования, ислам, конфликты, социальные институты и организация обществ Центральной Азии. E-mail: s_olimova@mail.ru

Евгений Николаевич Осин — кандидат психологических наук, доцент департамента психологии, НИУ «Высшая школа экономики». E-mail: evgeny.n.osin@gmail.com

Николай Петрович Проценко — переводчик литературы по социальным и гуманитарным дисциплинам, член ассоциации профессиональных переводчиков IAPTI (Нови Сад, Сербия). Научные интересы: мир-системный анализ, историческая макросоциология, теория элит, социальные конфликты, капитализм, классовый анализ, рациональность. E-mail: protzman1979@gmail.com

Зоя Николаевна Сергеева — доцент, кандидат социологических наук, начальник управления информационной политики Новосибирского государственного технического университета, исполнительный директор эндаумент-фонда НГТУ. Научные интересы: социология коммуникаций, электоральный PR, интегрированные маркетинговые коммуникации. E-mail: z.sergeeva@corp.nstu.ru

252

Ирина Анатольевна Скалабан — доцент, доктор социологических наук, научный руководитель Лаборатории городских исследований Института социальных технологий Новосибирского государственного технического университета. Научные интересы: общественное участие, социальные конфликты и конвенции, городские изменения, городские конфликты, городские сообщества, конфликтная мобилизация, оборонительные сообщества. E-mail: skalaban_i@mail.ru

Дарья Николаевна Чаганова — аспирантка 2-го курса по направлению обучения «Философия, этика и религиоведение» НИУ ВШЭ (Москва). Научные интересы: философия войны, европейская политическая философия Средних веков и Нового времени, социология и философия пространства. E-mail: d-chaganova@mail.ru

Authors

Alexander O. Arkhipov — philosophy undergraduate student at HSE University. Research interests: social philosophy, genocide studies. E-mail: aoarkhipov_1@edu.hse.ru

Nina A. Bagdasarova — PhD in Psychology, Professor of the Department of Psychology at the American University of Central Asia (Bishkek, Kyrgyzstan). Research interests: Diversity politics, equality issues, educational psychology. E-mail: bagdasarova_n@auca.kg; nina.bagdasarova@gmail.com

Daria N. Chaganova — postgraduate student of the programme “Philosophy, ethics, religious studies” at HSE University (Moscow). Research interests: philosophy of war, European political philosophy of Middle Ages and early Modern era; sociology and philosophy of space. E-mail: d-chaganova@mail.ru

253

Olga A. Gulevich — Doctor of Sciences, professor at the department of psychology, head of Politics & Psychology Research Laboratory, HSE University

Gulnara K. Ibrayeva — PhD in Sociology, Founder of PIL Research Company, Kyrgyzstan. Research Interests: Sociocultural Diversity, Migration Studies, Gender and Citizenship Studies. E-mail: ibraeva@gmail.com

Evgeny V. Karchagin — Doctor of Philosophy Sciences, Head of the Department of Philosophy, Sociology and Psychology, VolgGTU. Research interests: theoretical and applied studies of justice, social studies of the city. E-mail: evkarchagin@gmail.com

Andrey V. Korotaev — Professor, Doctor of Historical Sciences, Director of the Centre for Stability and Risk Analysis, HSE University, Chief Researcher, Institute for African Studies RAS. Research interests: sociology of revolutions, political conflicts, causes of uprisings, mathematical modeling, forecasting. E-mail: akorotayev@gmail.com

Arseniy D. Kumankov — PhD in philosophy, research scholar, Politics Department, Princeton University. Research interests: ethics of war and peace, global justice, history of political theory. E-mail: adkumankov@gmail.com

Yury S. Lobanov — Candidate of Philosophical Sciences, Press secretary of the Museum of Novosibirsk. Research interests: public participation, social conflicts and conventions, urban change, urban conflicts, urban communities, urban networks and communications, theory and practice of media communications. Email: lobanov-y@mail.ru

Vladimir S. Malakhov — Dr. of Sciences (Political Science), professor, School for Advanced Studies in the Humanities, Institute for Social Sciences RANEPa. Moscow, Russia. Research interests: ethnicity and nationalism, cultural diversity, migration studies, citizenship studies. e-mail vmalachov@yandex.ru

Alexander A. Nikiforov — candidate of science in political science, associate professor of the faculty of political science of Saint-Petersburg State University. Research interests: political instability and state capacity issues, revolution and social movement study. E-mail: nikiforov@politpro.ru

Feodor Nikolai — PhD, Senior Research Officer, Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod; Professor, Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University (Minin University). E-mail: fvnik@list.ru

Saodat K. Olimova — Candidate of Philosophy, Director of the Research Center “SHARK” (ORIENS), Dushanbe, Republic of Tajikistan. Research interests: migration studies, Islam, conflicts, social institutions and organization of societies in Central Asia. E-mail: s_olimova@mail.ru

Evgeny N. Osin — Candidate of Sciences, associate professor at the department of psychology, HSE University

Nikolay Protsenko — translator of studies in social sciences and humanities, a member of the IAPTI association of professional translators (Novi Sad, Serbia). Scientific interests: world-system analysis, historical macrosociology, theory of elites, social conflicts, capitalism, class analysis, rationality. E-mail: protzman1979@gmail.com

Zoya N. Sergeeva — Associate Professor, Candidate of Sociological Sciences, Head of the Information Policy Department of the Novosibirsk State Technical University, Executive Director of the NSTU Endowment Fund. Research interests: sociology of communications, electoral PR, integrated marketing communications. E-mail: z.sergeeva@corp.nstu.ru

Irina A. Skalaban — Associate Professor, Doctor of Sociology, Scientific Supervisor of the Urban Research Laboratory, Institute of Social Technologies, Novosibirsk State Technical University. Research interests: public

participation, social conflicts and conventions, urban change, urban conflicts, urban communities, conflict mobilization, defensive communities. Email: skalaban_i@mail.ru urban

Svetlana Yu. Volchenko — Senior Lecturer, Department of Social Work and Social Anthropology, Institute of Social Technologies, Novosibirsk State Technical University. Research interests: social technologies, gender conflicts, urban conflicts, intersectoral partnership, social economy. E-mail: yurkova@corp.nstu.ru

Andrew I. Zhdanov — Intern Researcher at the Centre for Stability and Risk Analysis, HSE University, Postgraduate Student of the Plekhanov Russian University of Economics. Research interests: regime transformations, revolutions, political instability, theory of revolutions, democratic transition. E-mail: andreizhdanov998@gmail.com

СОЦИОЛОГИЯ

ВЛАСТИ

Том 35. № 1 (2023)

«СОЦИОЛОГИЯ КОНФЛИКТОВ»

Учредитель

Российская Академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ

ISSN 2074-0492

e-ISSN 2413-144X

119571, г. Москва, просп. Вернадского, д. 82

Редакция журнала «Социология власти»

<http://socofofpower.ranepa.ru/>

E-mail: soc.of.power@gmail.com

Подписано в печать 03.04.2023

Формат 70×100/16

Тираж 500 экз.

1-ый завод (1-60 экз.)

Отпечатано в типографии РАНХиГС

119571, Москва, пр-т Вернадского, 82-84

Коммерческий отдел: тел. (495) 433-25-10, (495) 433-25-02